

Дмитрий Михайлович Балашов Похвала Сергию



Аннотация

Дмитрий Балашов известен как автор серии романов «Государи московские». В книге «Похвала Сергию» писатель продолжает главную тему своего творчества — рассказ о создании Московской Руси. Героем этого романа является ростовчанин Варфоломей Кириллович, в монашестве Сергей Радонежский. Волею судеб он стал центром того мощного духовного движения, которое привело Владимирскую Русь на Куликово поле и создало на развалинах Киевской Руси новое государство — Русь Московскую.

Дмитрий Михайлович Балашов Похвала Сергию

ПРЕДВАРЕНИЕ АВТОРА

Книга эта несколько неожиданна для меня самого. В задуманную серию «Государей московских» она как бы даже и не вмещается. Приходится отступить от хронологического — от княжения ко княжению — прослеживания событий; приходится, вместо очередного московского князя, брать главным героем повествования инок, сына разорившейся, «оскудевшей», как говорилось встарь, семьи ростовских бояр. Но дело в том, что события зримые совершаются не сами собою, а всегда и везде под воздействием невидимых внешне, духовных («идеологических», как сказали бы мы) устремлений, и ростовчанин Варфоломей Кириллович, в монашестве Сергей, оказался волею судеб центральной фигурой того мощного духовного движения, которое привело Владимирскую Русь на Куликово поле и создало новое государство, Русь Московскую, на развалинах разорванной, захваченной татарами и Литвой, давно померкшей золотой Киевской Руси. И, оглядываясь теперь на то, чем мы были и как и когда появились на свет, неизбежно являются взору сперва — весь великий и трагический четырнадцатый век, потом, как острие копья или как гребень волны — Куликово поле, и затем среди тьмочисленных лиц тогдашних деятелей высветляется, словно слепительная точка на острие копья, одно лицо, или, вернее сказать, лик, один человек — Сергей Радонежский.

Еще и то надо сказать, что жизнь Сергия-Варфоломея не укладывается ни в одну из княжеских биографий, ибо в пору его сознательной жизни, в пору, когда он начинал уже влиять на судьбы страны, княжили подряд три московских «государя»: Симеон Иванович Гордый,

Иван Иванович, его брат, и Дмитрий Иванович Донской. По всем этим причинам я и предпочел написать сперва о Сергии отдельно (в основном об его юности и начале подвижничества), разумея, что фигура его необходима для понимания всех последующих событий эпохи, и, значит, книга о нем все-таки должна входить как обязательное звено в серию «Государей московских».

Необычный сюжет требует необычной формы. Пусть же читатели мои не посетуют на элементы древних жанров, использованные мною в заглавии, прологе и в самом художественном повествовании, а также сугубое и даже излишнее, как может показаться при первом взгляде, внимание к церковной идеологии, без чего, однако, книга эта попросту не могла бы состояться.

ПРОЛОГ

Трудно приступить к книге, но к этой книге трудно особенно. И не о том моя печаль, что не знаю многого, не знаю служб и обрядов так, как знали люди того времени, да и вообще не знаю! Не учили нас этому, и чужое это для нас. До того чужое, словно с другой земли, от непонятного языка и народа неведомого. Как преодолеть расстояние лет и разноту учености теперешней и тогдашней? Как, в самом деле, понять, просто понять все это: и монастырское уединение, и пост, и воздержание плотское, и горную радость в постах и воздержании обретаемую? И светлоту, паче всего светлоту, не унылость, не скорбь, а светлоту несказанную иноческого жития?

Как тоску, как истязание, как угнетение телесное мы бы еще и поняли, но как понять радость совершенную, светлую радость тела и духа, отшельниками жизни сей достигаемую? Как понять парение мысли, и — нет, не мысли даже, а чего-то высшего мысли, что струилось окрест, на прочих, на простых людей (таких, наверно, каковы и мы сейчас) и согревало, и укрепляло, и подымало душевные силы всех этих прочих, «простецов», на подвиги и на труд ежедневный, на то, чтобы жить творя и не разувериться в жизни сей.

Как же мне постигнуть тебя, Сергий, отче! Дай, Господи, обрести силы для задуманного днесь труда! Это не предисловие, это молитва. Дай, Боже Господи, мне, человеку неверующей эпохи, описать человека верующего! Дай, Господи, мне, грешному и земному, описать человека неземного и безгрешного. Дай, Боже, совершиться чуду! Ибо это подлинное чудо: суметь описать человека, столь и во всем и по всему высшего, чем я сам, человека, на такой высоте стоящего, что и поглядеть на него раз — уже закружится голова. Дай мне, Господи, поверить, а ведь я не верю, ничему не верю, что было с ним чудесного и чем был он сам. Не верю, но знаю, что был он, и был такой, и даже лучший, чем тот, что описан в «Житиях», ибо даже и в житиях не видно его дел духовных, его непрестанных дум, не видно света, исходящего от него, а лишь то, что освещал он светом своим. Видны плоды произросшие, и не видно, не дано увидеть творения плодов. Дай, Боже Господи, свершить невозможное! Дай прикоснуться благодати, дай прикоснуться хотя бы края одежды его! Ибо в нем — Свет, в нем — Вера, в нем и из него — моя Родина.

ЧАСТЬ I

Глава 1

Варфоломей Кириллович (в иночестве Сергий) родился в Ростове, в боярской семье, с годами сильно обедневшей и перебравшейся в конце концов в пределы Московского княжества, в городок Радонеж.

О датах жизни Сергия-Варфоломея ученые спорят до сих пор.

Мы знаем год, месяц и число его смерти. Торжественная и скорбная эта дата — лета 1392-го, сентября в 25 день — отмечена не только в житии, но и в государственных, летописных сводах. Времени рождения Сергия первый биограф и младший современник его, Епифаний Премудрый, однако, не называет, сообщая только, что родился святой «... в княжение

великое тверского великого князя Дмитрия Михайловича, при архиепископе преосвященном Петре, митрополите всея Руси, егда рать Ахмылова была». Не верить этому подробному свидетельству у нас нет оснований. Кстати, такие вот привязки — при ком, в пору какого события — помнятся лучше, чем собственно годы. Князь же Дмитрий Грозные Очи вокняжился в 1322 году (и убит в Орде в 1325 г.), святой Петр умер в 1326 году, но Ахмылова рать это 1322 год.

«Жития» сообщают и другие даты жизни Сергия, а именно, что прожил он 78 лет; что постригся 23 лет от роду, после старшего брата, Стефана; что Стефан вскоре поступил в столичный Богоявленский монастырь, где познакомился с будущим митрополитом Алексием, с которым вместе они пели на клиросе; (с 1340 года Алексий назначен наместником митрополита Феогноста); что Сергей, наконец, постриг у себя в монастыре своего племянника, сына Стефанова, коему было всего десять — двенадцать лет от роду. (Зная, что рукоположен в священники и игумены монастыря Сергей был в 1353 году, можно утверждать, что совершилось это не ранее 1354 года.) Нетрудно увидеть, что все эти данные противоречат друг другу, ибо от Ахмыловой рати до 1392 года прошло не 78, а 70 лет, и что ежели Стефан поступил в монастырь Богоявления в 1340 году (год назначения Алексия наместником, после чего Алексий, полагают исследователи, должен был обязательно переехать во Владимир), а монахом Стефан стал по крайней мере за год до того, то сыну Стефанову в 1354 году не могло быть менее пятнадцати — шестнадцати лет.

Вот эти-то противоречия и смущают исследователей. Голубинский, например, считает годом рождения Сергия 1314-й. Другие дату рождения святого относят к 1318-му, к 1319-му или к 1320-му годам. (Последняя дата нынче возобладала, как самая истинная.) Почему же точное указание «Жития» на Ахмылову рать и вокняжение Дмитрия Грозные Очи не принимаются во внимание?

Смущает всех пресловутое утверждение, что в год смерти Сергию было 78 лет. (Кстати, неясно, принадлежит это указание Епифанию или позднейшему биографу святого, Пахомию Сербу?) Голубинский ничтоже сумняшеся так и расчел: $1392 - 78 = 1314$. Но что вернее? Память о страшной Ахмыловой рати, когда был спален дотла город Ярославль и та же участь угрожала Ростову, и ясное указание, что то было при княжении Дмитрия, или эта математическая выкладка от числа лет, сообщенного... кем? Ошибиться мог даже и сам Сергей: в старости часто путают свои годы, тем более — прочие. Стефан Кириллович мог и прибавить лет покойному младшему брату, чтобы хоть тем пояснить как-нибудь главенство его над собою, некогда вылившееся в ссору братьев, едва не ставшую роковой для судьбы Троицкой обители... Допустим, что Епифаний сам высчитывал, и составлял, и ошибался, — ошибся же он в определении патриаршества Каллиста! Но то — Царьград. Относительно княжения Дмитрия уже ошибиться было бы трудно, и вот почему: в 1314-м и вплоть до 1318 года княжил Михаил Тверской. Великий святой, замученный в Орде и посмертно канонизированный князь, чтимый всюду, даже и на Москве, и вот уж тут ошибиться было бы никак нельзя! Но нет, не при Михаиле святом, а при его сыне, Дмитрие! Так отпадает 1314 год. И опять же: «тогда Ахмылова рать была». Это уж точно, это изустная нерасторжимая связь памяти — именно тогда! Тревога, растерянность, возможное бегство, ужас едва не свершившегося разоренья града Ростова и — роды. Именно тогда! А это — 1322 год.

Но Сергей постригся двадцати трех лет и монашествовал пятьдесят пять... А почему пятьдесят пять? Да очень просто: $78 - 23 = 55$. А ежели эти две цифры — 23 и 55 — опять же взяты простым математическим расчетом?

В некоторых житиях, разысканных историком Тихомировым, есть свидетельства, что Сергей постригся двадцати лет, а прожил 70, а не 78.

Наконец, нельзя ли допустить и простой ошибки писца (может быть, и самого Пахомия Сербана!), который слова «семидесяти», написанные буквами (б и), принял за 78-ми, ибо буква «и» под титулом и означает восемь?

Будем же больше верить предметной силе памяти, чем отвлеченному числу, появившемуся, повторим, неясно как и разноречащему с фактологическими указаниями очевидцев. Почему же, однако, даже отказываясь от 1314 года и сдвигая дату рождения Сергия к более позднему времени, ученые все же избегают называть 1322 год, год Ахмыловой рати?

Всех, по-видимому, останавливает тут вторая «опорная» дата — 1340 год, год начала наместничества Алексия, год, после коего, по утверждению историков, он уже не мог бы познакомиться со Стефаном.

Однако вот перед нами исчерпывающее исследование С. Б. Веселовского:

«Землевладение митрополичьего дома». Автор устанавливает, что земли митрополитам русским были даны в основном во время правления Феогноста и Алексия, и что земли располагались как раз под Москвой. (Главный массив Селецкая волость, управлять которой из Владимира было бы затруднительно.) Знаем мы также, что, уже став митрополитом, Алексий все равно проживал то в Москве, то в Переяславле. Знаем и то, что в последние годы своей жизни Калита строит каменный храм в Богоявленском монастыре, а в самом Кремле воздвигает как бы подворье того же Богоявленского монастыря. Нетрудно понять, что то и другое делалось не просто так и не в память преждебывшего пребывания Алексия, а имело смысл именно потому, что, и став наместником, и будучи митрополитом, Алексий по-прежнему продолжал большую часть времени находиться в Москве. А находясь в Москве, Алексию естественно было жить в «своем» монастыре Богоявления и... петь в хоре на своем обычном месте! (В церковных хорах не зазорно было петь в ту пору и великим князьям, тем паче — церковным иерархам. Нелишне напомнить, что благочестивый Алексий также любил петь в церковном хоре, будучи тем не менее патриархом всея Руси!) И, значит, этот предел, 1340 год, отпадает сам собою. И знакомство Стефана с Алексием могло состояться позже. Да и легче было всесильному наместнику митрополита рекомендовать Стефана в игумены Богоявленского монастыря и в духовники великого князя!

Примем же за истину еще одну описательную дату жития, а именно то, что Сергей постриг своего племянника в возрасте 10 — 12 лет, то есть что Стефан пошел в монахи после 1342 года, а Варфоломей — на двадцать третьем году и постригся в лето 1345-е, каковую дату надо считать одновременно и датой основания Троице-Сергиевой лавры. И все становится на свои места.

Отпадает необходимость нагромождать в единый, 1340 год массу событий (смерть родителей и уход в монастырь обоих братьев, что, кстати, противоречит самому житию!), отпадают и многие другие натяжки и недоумения...

Почему я пишу об этом, да еще не в послесловии, а в самом начале своей книги? Для жизни духа, для «высокой» биографии Сергея эта разница в несколько лет действительно не важна. Но для нас, земных, и для земной канвы событий далекого прошлого это все-таки нужно установить, ибо прах, к коему подходит и поныне долгая вереница верующих, чтобы через стекло прикоснуться к мощам святого, — прах этот был живым, земным человеком, и жил он среди нас, прочих, среди земных и грешных людей, и пишем мы здесь не небывшее, а бывшее, и должно, и приходит нам выяснять всю эту мелкоту земного, ныне уже далекого от нас бытия.

Итак, четырнадцатый век, 1322 год. Позади по крайней мере двукратное разорение Ростовской земли в московско-тверских бранях; гибель Михаила Ярославича Тверского в Орде; глады и моровые поветрия; краткое и весьма тяжкое для русской земли княжение Юрия Московского... И вот Ростов. Большой каменный собор (слегка перестроенный, он и поныне стоит в Ростове, на площади перед Кремлем, удивляя и поднеся статью и размахом архитектурного замысла), древний собор, воздвигнутый еще до татарского разорения, в годы наивысшего величия ростовской земли, когда она еще дерзала стать во главе Руси Владимирской. Но — не сбылось. Не створилось.

Капризный извив событий отбросил древний град со столбовой дороги истории, и уже началось медленное угасание Ростова, но все еще многолюден и славен ученостью, и велик древний город, и все еще каменное узорочье (позже сбитое) обвивает лентой стены собора: и львы, и грифоны, и крылатые херувимы, и перевить каменной рези, и узорчатые паникадила и хоросы украшают собор; и краснокирпичный дворец князя Константина (ныне исчезнувший без следа) супротив собора, невдали от озерной шири, все еще вздымается островерхими чешуйчатыми кровлями; и храмы, и монастыри, и море бревенчатых хором в резьбе и росписи;

и шум, и кишение толпы, и крики зазывал в рядах торговых...

Так вот, в 1322 году, или, вернее, в самом конце 1321-го, незадолго до Ахмыловой рати, в ростовском соборе, во время литургии, произошло событие (позже занесенное в «Жития» как чудо), значительно повлиявшее на будущую судьбу еще не рожденного отрока Варфоломея. С него, с этого события, мы и начнем наш рассказ.

Глава 2

Однако, чтобы объяснить и саму ту «Ахмылову рать», как и злоключения родителей будущего Сергия, боярина Кирилла и его жены Марии, должны мы отступить назад во времени, и намного отступить, поболее, чем за столетие, в преждебывшую судьбу Ростовской земли, судьбу, которая как-то все не сстаивалась да не сстаивалась, да так и не состоялась совсем.

А град Ростов Великий был, между тем, древнейшим градом Залесья, всей этой огромной, холмистой, утонувшей в лесах и еще очень и очень необжитой «украины», которую позже назовут Залесской или Суздальской Русью, а еще спустя — Владимирским великим княжеством. Но еще не было ни Владимира, ни Суздаля, и не хлынули еще с юга новые насельники, распахавшие Ополе и наставившие городов по крутоярм рек, а Ростов Великий уже стоял — как Киев, как Полоцк, как Новгород, — и был прозван «великим» не просто так, не красного слова ради и не из пустой выхвалы, великим и был. И епископия учредилась ростовская, и была она старейшей и паче других уважаемой в Залесской земле, и храмы воздвигнулись, и мудрость книжная процвела, и православная вера в жестокой борьбе с языческим идолослужением паче всего воссияла именно здесь. (Сказывают и донине, как идол языческого бога Велеса, сотворенный из камня многоцветного, уходил, в грозе и буре, от дворца Константинова на окраину города, в Велесов конец. Великая гроза зажгла град и капище древнего бога, он же сам вышел из капища и пошел по берегу. Пылали и рушились хоромы окрест, а озеро кипело у его ног, выбрасывая на берег снулую рыбу.) И как некогда в мать городов русских, в Киев, стремились ученые люди, взыскующие света книжной мудрости, так ныне в Ростов ехали и шли книгочеи, жаждавшие света знаний... Но как-то так пошло потом, что возник и усилился хлебный Суздаль, а там и Владимир на Клязьме, основанный Владимиром Мономахом во имя свое, и сей град, младший пригород Ростову, скоро обогнал родителя своего, и уже и стол великокняжеский перешел туда, и стала меркнуть слава древнейшего города...

Старший сын князя Всеволода Большое Гнездо, Константин, восхотел воротить Ростову главенство в земле Владимирской. Сел тут на княжение, не подчинясь воле родителя своего, а в 1216 году, в грозной сече на Липице наголову разбив соединенные рати младших братьев, вернул отторгнутый у него по прихоти престарелого отца великий стол.

И что бы тут не процветать вновь Ростову? Увы! Всего через два года Константин умер не успев ни укрепить отчину, ни сломить волю доброхотов брата Юрия, ни вырастить юных наследников своих, коих оставил почти детьми, заповедав им ходить в воле дяди и своего ворога, Юрия... Так и вновь не состроилась судьба града Ростова.

Был Константин высок, породист, храбр и талантлив к рати, и многомыслен. О библиотеке его, огромной, поражающей воображение, в тысячу книг! — поминали, слагали легенды по всей Руси еще долгие годы спустя, даже и после Батыева погрома...

Теперь, когда прошли века и угасли былые страсти, спросили все же: почему Константин не исполнил воли родительской, не сел на столе во Владимире, и тем обрек свой род на медленное угасание, почему он так упорно держался Ростова, главенствующая судьба коего была уже позади, в невозвратном, хотя и славном далеке далеком прошедших лет? Не соблазнило ли князя-книгочея обаяние древней культуры, не книжною ли мечтою вдохновился он, философ и воин, упорно цепляясь за ветшающий ростовский стол?

Уходящая культура, даже и потеряв жизненную силу свою, еще долго хранит очарование былой красоты, пленяет тайной прошлого величия своего, словно гаснущий свет солнца, что в последний, предсмертный миг горячим багрецом зажигает рудовые бревна костров, делает огненными бока гнедых коней и пронзительно-зеленой траву на склонах... Но солнце закатит за оком, и все земное потонет в сумраке ночи, и очарование гаснущей культуры прейдет, как

вечерний солнечный свет, раздробясь в скрытые под наносной землею мертвые черепки, навсегда лишённые духа живого.

Старший сын Константина, Василько, доблестно и бесцельно погиб в споре с Ордой, защищая безнадежное дело дяди Юрия. (Бесцельно, потому что даже родовой город Василька, Ростов, предпочел без боя сдаться победителю.) Схваченный татарами у Шеренского леса Василько, из гордости, не восхотел поклониться Батюю, и был повешен за ребро, тут и погиб, смертную чашу испив. А был он красив, храбр, хлебосолен, ясен и грозен взором, и женат был, казалось, счастливо: на дочери всеильного тогда Михаила Черниговского (позже убитого в Орде и причтенного к лику святых ради мученической кончины своей). Василько и сына успел оставить по себе, и сыну оставил Ростов, по счастью не разоренный татарами.

Почто бы и тут, даже и уступив граду Владимиру, даже и после Батыева нахождения, не подняться Ростовской земле? Лежала она — тот удел, что заповедал и передал детям князь Константин, — на Волге, от Углича до Ярославля, и, переплеснувши в Заволжье, далеко уходила на Север, к самому Белоозеру (и град тот древний также принадлежал Ростову), в места глухие, необжитые, богатые зверем, рыбой и всяким иным обилием. Было куда расти, было где и укрыться от иных гостей непрошенных, было куда ходить дружинам, было где и пахать нивы, сеять хлеб, ставить села, рубить города.

Да ведь именно туда, к северу, шагнула Русь, прежде чем, укрепившись в череде веков, обратным всплеском излиться в татарские степи! Но ни князья, ни бояре ростовские не нашли в себе сил для многотрудного и долгого деяния — освоения новых земель на Севере. (Так же, как не нашли в себе сил для защиты града Ростова от нахождения Батыева.) Дети Константина поделили отцову отчину на три части. Васильку достался Ростов с Белоозером, Всеволоду — Ярославль, младшему, Владимиру, — Углич. Углич позднее, за бездетностью своего князя, воротился в волость Ростовскую. Иная судьба постигла Ярославль. Тут тоже, на детях Всеволода, прекратилось мужское потомство, и Ярославский удел должен был воротиться Ростову. Оставалась там властная вдова Всеволода, Марина, дочь Олега Святославича Курского, княгиня древних кровей, гордая родословием и прежнею славой, с трехлетнею внучкой на руках, Марией, Машей. И Машину ли судьбу, судьбу ли земли решая, — а паче всего вопреки ближайшей ростовской родне, отыскала Марина Ольговна стороннего жениха для подросшей Маши, смоленского князька, Федора Ростиславича Черного, молодого красавца и честолюбца, отодвинутого братьями на маленький Можайский удел. Ему и досталась девочка-жена с городом Ярославлем в придачу.

О чем думала, на что надеялась престарелая Марина? Позже (слишком поздно уже!) пыталась отделаться она от смоленского зятя, затворив перед ним ворота Ярославля и объявив князем сына Маши и Федора, отрока Михаила... Тщетно! За плечами Федора Черного уже стояла неодолимая помощь Орды. Прожив несколько лет в Сарае, он успел очаровать дочь самого хана ордынского, Менгу-Тимура, и женился на ней, как осторожно сообщает предание: «после смерти первой жены»

— Маши. Кончилось тем, чем и должно было окончиться. Федор, как кукушонок в чужом гнезде, уморив сына-соперника и приведя татарскую жену, начал свой, новый род ярославских князей, навек оторвав богатый Ярославль от обширного Ростовского княжения...

Ростовский дом, до смерти своей в 1217 году, вела вдова Василька, Мария Михайловна, дочь замученного черниговского князя. Изящная, подсушенная временем, «вожеватая», с древнею родословной, еще более породистая, чем Марина Ольговна, гордая мученическим ореолом отца (а был Михаил при жизни и лих, и нравен, и тяжек зело!). Все силы потратила она, чтобы поддерживать внешнее благолепие и блеск ростовского княжеского дома.

А сын, Борис Василькович, мягкий, изящный и слабый духом, навек испуганный убийством деда в Орде, на то только и годился, чтобы радушно и хлебосольно принимать знатных гостей. Второй сын, Глеб, был посажен на Белоозере. Оба умерли, не свершив ничего значительного и оставив внуков-двоюродников:

Дмитрия с Константином, Борисовичей и Михаила Глебовича.

Дмитрий ездил по городу на сером коне, леденя глазами встречных смердов, и ждал своего часа. Порода сказала и тут, в безумной и хрупкой гордости, в презрении к горожанам, к «черной кости», в бессилии, прикрываемом высокомерием, в трусости, когда доходило до настоящего дела...

Умерла Мария Михайловна, и братья тут же рассорились. Дмитрий Борисович в 1279 году поотнимал у Михаила Глебовича села «со грехом и неправдой великою», а в 1281 году пришел черед и Константину бежать и жаловаться на старшего брата великому князю Дмитрию. Разномыслие, как видно, разъедало и боярство ростовское. Некому было прекратить свары своих князей, некому властно призвать к единому, «соборному» делу...

В 1285 году умер, не оставя потомства, углицкий князь Роман. Углич воротился в Ростовскую волость. И что же? Дмитрий Борисович тотчас затеял дележ волости по жребию (!) с родным братом Константином, и — по жребию потерял Ростов, а потом долго и трудно возвращал его себе. Словно бы сам хлопотал о скорейшем умалении древнего ростовского дома!

В этих дележах, переделах и спорах, во взаимной грызне да в метаниях между двумя сыновьями Александра Невского, тягавшимися о великом столе, прошла-прокатила впустую вся его жизнь. Старший внук Василька, он умер в 1294 году, не оставя даже и сына.

Константин пережил его на тринадцать лет, проявив все пороки своего старшего брата. Сев за стол, он тотчас рассорился с владыкой и тоже продолжал метаться, заигрывать с Ордой, Москвою и Тверью, постоянно попадая впросак. Он умер в 1307 году, оставив сына Василия, а Василий Константинович скончался в 1316-м, в свою очередь оставя двух сыновей, Федора и Константина, вскоре поделивших даже и город Ростов на две части... Так шло умаление Ростовской земли.

Видимо, была в древней крови черниговских и курских Рюриковичей какая-то отравка, что-то, помешавшее им жить и держаться друг за друга.

Дети Даниила Московского ссорились до ярости и отъездов в Тверь, а отчины не делили, наоборот, деятельно приращивали совокупные земли Москвы.

На споры в своей семье силы уходят те же! Если бы Дмитрий Борисович вместо того, чтобы, «со грехом и неправдою», отнимать села у брата, занялся освоением северных палестин (куда шли и шли насельники из Ростовской волости!), подчинил себе ту же Вологодчину, ту же Вагу с Кокшеньгой, опередив и потеснив новгородцев (а люди шли именно туда, и даже появлялись там, на Ваге и на Кокшеньге, «ростовские» волости!), неизвестно еще, куда и как поворотило бы судьбу Ростовской земли!

Но так вот всегда и наступает упадок. Со слабости. С потери предприимчивости. Со ссор между своими. С распада, ослабления кровных связей, когда в единой доселе семье начинаются свары, дележ накопленного предками вместо новых приращений, взаимное нелюбие вместо взаимопомощи...

И вот свои становятся дальше, чем чужие, и уже оборотистые дельцы из иных земель облепляют позабывшего о подданных своих князя, уже братья вручают родовое добро черт знает кому, лишь бы не досталось своим.

Единство — семьи, сообщества, племени, — вот то, что держит и съединяет и пасет языки и народы. Единство древних монгол позволило им с ничтожными силами покорить едва не весь мир. И не потому была спасена Европа, что ее закрыла собой «издыхающая Россия», или горы Карпатские, или мужество горцев, а потому, что двоюродные братья Батыя насмерть рассорились с ним и увели свои тумены назад, в монгольскую степь. И не варвары с громом опрокинули Римскую империю, а сами последние римляне в дикой междоусобной борьбе вырезали друг друга. Подобно тому и Византия погибла в спорах и раздорах своих базилиевсов, не оставивших сил для обороны от внешнего врага.

Да что там Византия и римляне! Сравни, в простой крестьянской семье, как дружно, помощью, строят дом своему родичу, пахут поле или секут лес, и как, в иную пору, озлобленные родичи делят половины и четверти того дома, судятся за колодец и три яблони в

саду, растрачивая при этом талант и силы, коих хватило бы с избытком на возведение заново не одной, а трех подобных же усадеб!

Сами себя! Всегда сами себя! Народ, единый в массе своей, неодолим.

Или уж навалит вражьей силы тысячу на одного, да и тогда единый в себе народ найдет силы выстоять и устоять. Не в таком ли числе: «един с тысячью и два с тьмою», схватывались древние хунны с Китаем, и — побеждали!

Уважают ли, чтят ли дети отца и мать своих? Дружно ли собираются родичи на помощь своему кровнику? Продолжают ли потомки дело отцов?

Продолжают, помогают, держат — тогда жив народ и все сущее в нем. А с малого, с развала семьи, распадается и племя, породившее эту семью и людей этих...

Глава 3

Виноват ли был боярин Кирилл, что в тщетном стремлении поддержать ростовскую княжескую династию он рушился вместе с нею? Что, упрямо спасая Константина Борисовича, не считал имения своего, что, приняв буквально на руки Василия Константиновича, он видел от того один лишь раззор и неблагодарность. Не слушая своего боярина, Василий Константинович переметнулся было от Михайлы Тверского к Юрию Московскому, и приведенные Юрием послы ордынские, Казанчий с Сабанчием, жестоко пограбили Ростов, а с Ростовом заодно и загородное имение Кирилла.

Василий Константинович умер на двадцать пятом году жизни от морской болезни, запутав донельзя свои и Кирилловы дела, и тут на ростовский стол сел углецкий двоюродник, Юрий Александрович, пятнадцатилетний мальчик, и именно при нем в 1318 году явился «посол лют именем Кочка», ограбил Ростов, разорил и ободрал Успенскую церковь, пожег монастыри и окрестные села, спалив дотла усадьбу Кирилла, из которой татары подчистую вывезли все добро и скот, оставив одно погорелое место.

Мы сейчас почти не понимаем, что значили богатство и богатый человек в те века, ибо о богатстве судим по условиям дня нынешнего, когда деньги приходят в виде зарплаты или лежат на книжке, то есть поддержаны и обеспечены могущественным аппаратом государства, устройством, начала и концы коего неизвестны для нас, так, будто уже оно и само по себе существует. В лучшем случае мы представляем богатство по условиям дворянской жизни XIX столетия, той, с картами, псовой охотой и проматыванием имений... И великая истина, что богатство создается трудом и что чем больше человек работает, тем он богаче, и наоборот, чем он больше имеет богатства, добра, «собины», тем больше обязан работать, чтобы его сохранить, — великая эта истина, верная, в глубинной сути своей, несмотря на все иллюзорные ее искажения, для всех времен и народов, почти недоступна уже нашему сознанию. К слову сказать, получив от Екатерины указ «о вольности дворянства», то есть о праве жить, не служа в армии, а значит, не работая, дворяне наши, несмотря на отчаянные усилия лучших своих представителей, за полвека прожили, промотали и утеряти все нажитое их предками за шесть предшествующих столетий, и реформа 1861 года, по сути, покончила с дворянством, разрушив саму систему поместий, «земель со крестьяны»... Ну, а как купеческие сынки умели за считанные годы спускать миллионные отцовские состояния, мы знаем из литературы того же XIX века достаточно хорошо.

В те же, далекие от нас века, когда всеохватывающей бюрократической государственной системы еще вообще не существовало, в те века отнюдь не просто было быть богатым и удерживать, и передавать детям богатства свои.

Боярин Кирилл был «нарочит», великий муж в Ростовской земле. Но что это значило? В чем состояло оно, это богатство? В родовых именьях (напомним, без крепостного права!), в оружии, стадах, портах и прочей «рухляди», в дружине, наконец. Но за стадами нужен уход, оружие имеет силу только в руках ратников, а ратных, дружину, нужно кормить, и кормить хорошо. Чем значительнее был боярин, тем большее число зависимых от него людей кормилось

от его стола. И выгнать, уменьшить число их было подчас просто невозможно. А служба князю? Она заключалась в делах посольских (а ездили за свой кошт!), в военной помощи (а приводили своих ратных, и оборудовали их сами!), в управлении — ну, тут, на «кормлении», то есть управлении какой-то областью, можно было получить причитающиеся по закону «кормы», которые опять же шли на содержание дружины, слуг, посельских, ключников, и прочая, и прочая. А ежели земля была разорена, взять с нее что-то было отчаянно трудно (крестьянин не был крепостным, напомним еще раз! И волен был уйти на все четыре стороны), а дружину, всех данщиков, вирников и прочих — корми! И ежели князь разорен, то одарить боярина за ту же поездку в Орду совместно с князем он не может. А поездки в Орду — сущее разорение! Там каждому татарину дай по приносу, да и стоимость тогдашних переездов, нам даже не представить себе: целый поезд людей, коней, дружины, возы с припасом, лопотью, серебром, серебром, серебром — не то не доедешь и до места... А ездить со князем своим надобно все равно. Не откажешься, ежели ты «муж нарочит» и один из ближайших бояр своего господина...

Малолетних князей ростовских Кирилл жалел. Понимал и отводил глаза, видя жалкую улыбку, с коей Федор Васильевич, вместо серебра и добра, награждал своего слугу все новыми обещаниями в грядущем не забыть... Князь был нищ. Куда уплыли сокровища, собиравшиеся столь упорно предками, он не знал и сам хорошенько. Задерживались дани Орде. Дело шло к тому, что московский князь вот-вот наложит руку на Ростов, без бою-драки-кроволития, а просто так вот: возьмет и съест. И боярин Кирилл нищал вместе со своими князьями. Нищал еще страшнее, ибо князь, даже разоренный дотла, все одно имеет право на княжеские «кормы» и дани со своего княжества, а разорившийся боярин, теряя добро и земли, теряет все, и может решительно опуститься по социальной лестнице до служилых дворян, до городских «детей боярских», до холопов даже, и даже до крестьян. И путь этот, безоглядный путь вниз, боярину Кириллу, как виделось ясней и яснее, был уже как бы предопределен судьбой.

Глава 4

Юрий Александрович, очередной князь-малолеток, наделавший новой беды Кириллу, умер в лето 1320-е, на восемнадцатом году жизни, освободив стол для малолетних детей Василия Константиновича... И вот город, сделавшийся столпом учености Владимирской Руси, погибал. Погибал без бою и славы, в которах князей и боярских несогласиях, в наездах послов, в оскудении, причины коего

— увы! — гнездились прежде всего в самих князьях ростовских, что «мальчали и исшаивали», когда рядом слагались княжества и росли, бурля и перераспределяясь, глубинные силы новой Руси.

За сварами и ссорами не разглядели, не учуяли князья, да и бояре ростовские, того, грозного, что творилось на Руси и в Орде в эту пору.

Сыновья Невского, Дмитрий с Андреем, заливали землю кровью, но спор шел не о малом. Великое княжение, а с ним вся северная Русь, лежали на чаше весов и должны были достаться победителю. Дети Невского властно простирали руки к Великому Новгороду, налагали длань на целые княжества, приобретали, захватывали, но не делили! Ростовские князья ссорились по-мелкому и не увидели, как с принятием мусульманства Узбеком, с победою «бесермен», страшно закачались русско-ордынские весы. Не поняли трагической сути падения Михаила Тверского. Не учуяли, что дело шло к Куликову полю — к Куликову полю дело шло! Этого не увидели, не поняли в Ростове, хотя тут-то и должны бы были и обязаны были понять прежде прочих!

И потому, век приспособляясь, даже и приспособиться не смогли к тому новому, что начало напозать на Русь с воцареньем Узбековым.

Кирилл был в числе немногих, понимавших, — потому и настаивал, чтобы Ростов держался Твери и великого князя Михаила, — но что он один мог?!

Прочим, казалось, пример Федора Черного, — едва не захватившего, вместе с Ярославлем, Смоленское и Переяславское княжества, — навечно вскружил головы. Из всех сил подружиться, покумиться с Ордой! Вопреки своему же народу! Милостью хана усидеть на столе! И не узрели, что даже у покойного Федора Черного не получилось, да и получиться не

могло, ибо вне морали нет и не может быть успешной политики на Руси! И не видели, не ведали, что Орда уже не та совсем, и союз с ханом, премудро устроенный некогда Александром Невским, перестал быть возможен теперь, когда победили воинствующие бесермены, объявившие Русь «райей», податным бесправным скотом, обреченным на позор и уничтожение. И начались «послы»...

А было допрежь того так: сидел в каждом городе баскак татарский, без войска и особых прав, и надзирал за князем — исправно ли тот вносит дань татарскую, не злоумышляет ли чего? А князь дарил баскака подарками, а мог и нажаловаться на него в Орду. И баскак предпочитал не ссориться с князем, на иное закрывал глаза сам, на другое закрывал ему глаза князь дареными соболями... А тут не стало баскаков, начались «послы».

Посол приходил лишь раз, он был чужой князю и был заинтересован в одном — взять! Взять так, чтобы другим не досталось. Жаловаться не будут, а и будут

— попусту: «райя», скот! И поступать можно как со скотом. И каждый посол свирепствовал, как мог, и наживался, как мог. Летопись сохранила нам от тех лет, с 1314 года начиная, целый мортиролог ограбленных и сожженных городов, сожженных не ратным нахождением, а послами! В лучшем случае обходились без огня, а так: приходил в 1321 году из Орды в Кашин посол, «татарин Таянчар с жидовином должником, и много тягости учинил Кашину». А Кашин был город немалый, второй по значению в тверской земле, и учинить ему многую тягость, значило — разграбить дочиста.

И так уж получалось, что сильные князья умели, задаривая хана, отделаться от послов, и потому разорялись послами грады поменьше и княжества послабее. А те, кто умел ладить с Ордою, как Юрий Московский, еще и сводили руками послов счета с соперниками своими.

И явно, не без чужого наущения посол Ахмыл, в 1322 году пришедший из Орды с московским князем Иваном Данилычем, взял и сжег Ярославль, после чего готовил такую же участь Ростовской земле и граду Ростову Город спасло прошлое, опять прошлое! Спасли нити традиций, которые рвутся далеко не сразу и не вдруг даже и в величайших катаклизмах истории.

Райя райей, а старинные связи было порушить не просто и татарскому послу.

Русская церковь все еще внушала опасливое уважение ордынцам. Давно ли православные епископы в Сарае председательствовали на ханских советах?!

Некогда, еще при Менгу-Тимуре, один из царевичей-чингизидов, придя на Русь, крестился под именем Петра и основал монастырь в Ростовской земле.

Этот «ордынский царевич Петр» был посмертно канонизирован, не без дальнего загляду: была надежда (несбывшаяся) на скорое обращение всей Орды в православие. И жил в Ростове правнук святого царевича Петра, Игнатий, уговоривший владыку Ростовского, Прохора, встретить Ахмыла крестным ходом, поднеся ему «тешь царскую»: кречетов, соколов, шубы и прочие дары. Да тут еще сын Ахмылов заболел глазами на Ярославле, и владыке ростовскому удалось его исцелить. И Ахмыл, послушавши Игнатия, — как он сам сказал:

«цареву кость, татарское племя», — укротил нрав, остановил грабежи ростовской волости и не тронул, не стал жечь самого города...

Это-то и была та самая «Ахмылова рать», память о которой связалась с рождением отрока Варфоломея.

Глава 5

И вот первое, во что я, человек двадцатого века, смущаюсь поверить: чудо, бывшее еще до рождения Сергия. Когда в церкви, во время литургии, троекратно послышался детский крик из материнской утробы, крик ребенка, еще не рожденного, будущего Варфоломея, в иночестве Сергия, по месту исхода его прозванного Радонежским.

Крик является с дыханием, младенец же в утробе матери еще не дышит, следовательно, не может и закричать. В это-то противоречие и утыкается мой слабый ум. Было? Не было? Но ведь

было! Ибо не легенда, сочиненная позже, а настойчиво повторяемый, во всю жизнь Сергия, рассказ. Событие, доставившее много беспокойства и родителям его, заботно, не раз и не два и у разных людей выпрашивавших — к чему такое? И что означает, и о чем повествует, не к худу ли? И каков будет этот ребенок, какой судьбой наградит его Господь?

И вот я стремлюсь найти «научное», то есть современное объяснение... о, суета сует! Да разве научное объяснение что-нибудь изменит в его жизни, в том, что было, о чем говорили и во что верили люди той поры... Да и вообще, что значит «было»? Был крик, троекратный детский крик из утробы беременной, возможно, на последнем месяцу, боярыни, крик в церкви во время литургии, и бабам, обступившим ее после службы, отвечено было со стеснением и опусканием очей, что младенца нигде не прячет, что он еще там, во чреве... А я буду сейчас добиваться — мог ли нерожденный прокричать? Да разве в этом дело? И — дадим уж себе волю и на это, дадим волю на «объяснение», ибо без того не можем, не умеем помыслить иначе. Мог же быть любой произвольный «чревный» крик у женщины на сносях, в полной народу церкви, да на последнем месяцу, да после двух-трехчасового стояния, да, возможно, в духоте, в полуобморочном состоянии, возможно, в состоянии полубредовом, экстатическом, когда самой уже кажется, что то кричит ребенок во чреве... Ну, хоть так объясним! Хотя — зачем? Зачем нам всегда эти научные объяснения или опровержения чудес? Верим же мы без объяснений и без опыта, и не понимая того совершенно, в чудеса современной механической цивилизации, и довольно нам, что кто-то там видел, кто-то понял и объяснил. Лишь бы сами сделали, сами люди. Ну, а тогда, прежде, верили природе. И непонятное, неясное уму называли чудом. Страшусь сказать, но выскажу все же и такое предположение: а что, ежели наш механический век не все понял, не все постиг, а вдруг да не все тайны бесконечной и бесконечно изменчивой вселенной ясны нам, нашему сегодняшнему сознанию? Сколько в самом деле высокого духовного мужества и высокого стояния ума потребовалось англичанину Вильяму Шекспиру (человеку самого начала современной технической цивилизации!) для того, чтобы разорвать этот порочный круг мысли: «Если неизвестно нам и нами не объяснено, значит, не существует», — разорвать и бросить в лицо гордым современникам, и в лица грядущим, еще более гордым, и в ограниченности гордыни своей еще более спесивым потомкам бросить вещие слова истинного прозрения: «И в небе и в земле сокрыто больше, чем снится нашей мудрости».

(В старом, более известном переводе это звучит так: «Есть многое на свете, друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам».) Так вот, не будем все же добиваться, чтобы современная медицина объясняла все чудеса средних веков. Она будет стараться объяснить их, как объясняем мы ход истории в каждый век по-своему, и в каждый век по-разному! Но как история все-таки была... Не важно, из гордости, мужской ли обиды или по «экономическим соображениям», но, скажем, древние греки отправились-таки под Трою, и сложили там свои головы, и пели потом героические песни-сказания о великой войне с Приамом, и песни эти были записаны, и дошли до нас, и вся запутанность Гомеровского вопроса не отменяет наличия «Илиады» и «Одиссеи»... Так вот, то, что было, — было, и был троекратный младенческий крик в церкви, во время литургии, в Ростовском соборе, в первой четверти великого четырнадцатого столетия...

Беременная Мария стояла в притворе. Когда за проскомидией (приготовлением святых даров в алтаре), после пения «трисвятого» («Святой Боже, святой крепкий, святой бессмертный помилуй нас!») хотели начать четь Евангелие, ребенок внезапно завопил в утробе. Она охватила живот руками, стояла ни жива ни мертва. Вторично, уже когда начали петь херувимскую песнь: «Иже херувимы...» — младенец вновь внезапно заверещал на всю церковь. И в третий раз возопил, когда иерей возгласил: «Вонмем святая святым».

Тут уж заволновались и все окружающие. Женщины и мужчины стояли тогда в храмах, не смешиваясь, на левой и правой сторонах собора, и потому толпа вокруг Марии была сплошь своя, бабья, настырная и любопытная, и любопытно-бесцеремонная.

Но надо объяснить тут, что же такое литургия? Литургия, или обедня, это главное, основное, ежедневное богослужение православной церкви.

По евангельской легенде в ночь накануне того дня, когда его, по доносу Иуды, схватила стража, чтобы увести на казнь, Иисус, уже прозревавший свой скорый конец, сидя с учениками за поздней трапезой, в задумчивости разломил хлеб, крошив его в чашу с вином, и, обратясь к ученикам, промолвил:

— Примите, ядите! Сие есть тело мое и кровь моя Нового завета!

Тускло чадили масляные плошки. Двенадцать скитальцев во главе со своим наставником, они ели в задней комнате бедного пригородного дома. Ели не потому, что исполняли обряд, а потому, что были голодны и усталы.

Грозно пошумливал невдали, укладываясь спать, великий и гордый город. «О, Иерусалим, — как-то воскликнул Христос. — Ты, побивающий камнями пророков своих!» Испеченный на полу грубый хлеб, да дешевое кислое красное вино, разбавленное водою, да горсть оливок, — о мясе козленка им не приходилось и мечтать! — вот и вся трапеза. И их было мало, так мало в этом чужом и враждебном, гордящемся храмом своим, торговом и шумном городе! Их было только двенадцать человек. Дух отчаяния, дух скорого отречения от учителя своего витал над ними. В этот миг Иуда встал, окутав лицо плащом.

— Что делаешь, делай скорей! — с суровой горечью произнес наставник.

Ему уже оставалась только часть ночи: моление о чаше в Гефсиманском саду.

Так ли бестрепетно уведал он о предназначении своем? Так ли спокойно отпустил от себя Иуду? Но сделать уже ничего больше было нельзя. Вскоре, когда сад наполнился стражей, шумом и лязгом оружия, он сам остановил ученика своего, взявшегося было за меч. Отрубленное ухо раба первосвященникова — вот и вся кровь, пролитая за него в Гефсиманском саду.

Да, они, ученики, были готовы умереть, сражаясь. Но не это было важно теперь. Важно было — важнейшее. И в этом, важнейшем, они были еще не тверды. «До того, как пропоет петух, ты трижды отречешься от меня», сказал он Петру, и — не ошибся. В свалке, в толпе, когда ему при желании можно было бы и скрыться, он не пожелал бежать. Иуда подошел и облобызал Христа. Это был условный знак убийцам: «поцелуй Иуды». Учителя схватили.

Жертва, кровавая добровольная жертва за други своя, была принесена.

Позднее, припоминая и сопоставляя, постигли уцелевшие ученики грозный смысл Иисусовых слов, сказанных над преломленным хлебом, и поняли, что то был завет на грядущее. Хлеб и вино — тело и кровь. И крест, и мука крестная. Жертва, которую смертный постоянно приносит на алтарь человечества, высшая жертва Создателя Созданию своему. И, собираясь тайно на общие трапезы, стали они с тех пор преломлять хлеб и крошить в багряное вино, смешанное с водою. Дабы не забыть. И укрепиться духом. И не пострашить пред смертною мукою, когда придет роковой час. И во время трапезы знали: не хлеб и вино, а тело и кровь Господа своего вкушают они, чудесно пресуществленные из вина и хлеба, приносимые каждый раз заново и заново на алтарь человечества. И не прекратится жертва, и не оскудеет любовь того, кто смертною мукою указал путь заблудшим чадам своим. И каждый раз, чудесно преображаясь в таинстве евхаристии «Евхаристия — таинство пресуществления хлеба и вина в истинное тело и кровь Христа. Это основная цель церковной литургии.», хлеб превращается в тело, а вино — в кровь Господнюю.

Ученые мужи укажут тут, пожалуй, на элементы древней магии приобщения, свойственные многочисленным языческим культам, а именно поедание частицы бога (тотема, тотемного животного) с целью получения (перенесения) его свойств на самого себя. Нелишне будет напомнить о принципиальном для древнего человека различии двух магических действий, а именно: обрядового поедания врага, трансформировавшегося в черные дьявольские культы с людоедством, ритуальными убийствами и проч., — и поедания своего бога (хозяина, покровителя), который добровольно отдает себя, свое тело, дабы укрепить своих подопечных, или даже перейти в них, обретя в них новую жизнь. Таким образом, эти два действия, для современного человека вроде бы и схожие, имеют принципиально два противоположных смысла: борьбы-уничтожения, с насильственным подчинением чужой силы, и союза-присоединения, с передачей силы последователям своим.

Можно бы проследить названные обряды исторически, найти тьму примеров, когда первоначальный кровавый культ (часто с человеческими жертвоприношениями) с течением

веков смягчался; подлинная кровавая жертва заменялась предметом или веществом, только символизирующим ее в обряде...

И тут-то мы и подойдем к таинству «преображения» хлеба и вина в тело и кровь Господнюю. Все это и многое другое можно бы, повторяю, высказать здесь, как и про связь (в значительной мере, по противоположности) христианского культа с древнееврейским. Почему Христос в проскомидии и получает название агнца (по аналогии с еврейским пасхальным жертвоприношением: закланием и поеданием ягненка), и многое еще можно бы вспомнить тут, хотя можно и не вспоминать вовсе. Дело в том, что ритуал, культ, никогда и нигде не является рациональным изобретением ученых или жрецов, а всегда и всюду возникает в результате горячей веры-переживания и уверенности в исключительности, для себя, и истинности, в высшем смысле, всякого данного ритуала.

Скажем так: обряды не создаются, а складываются, возникают. И для того, чтобы сложилось, возникло таинство евхаристии, нужна была горячая вера, во-первых, в исключительность, важность самого акта добровольной жертвы Иисуса Христа для духовного спасения своих последователей-христиан; нужна была экстатическая вера в то, что пресуществление в самом деле происходит, и недаром история отмечала множество случаев, когда верующие видели действительно на престоле, в причастной чаше, вместо хлеба — агнца, или даже младенца Христа. То есть для них даже и зрительно, и по ощущению, происходило превращение хлеба и вина в тело и кровь Христову. Легко понять поэтому, какое экстатическое состояние могло охватывать верующих во время таинства пресуществления, в те, уже далекие от нас века, когда вера была живой и грозной, когда религия обнимала и пронизывала всю жизнь, когда за принципы, имеющие для нас не больше значения, чем древняя мифология, люди бестрепетно отдавали жизнь, шли на костер и муку, доводя себя в воображении своем до такого состояния, что на ногах и руках у иных сами собою появлялись вполне реальные кровавые язвы — стигматы, — следы гвоздей, коими был некогда прибит Спаситель ко кресту.

Да, впрочем, что говорить? Поставим вопрос иначе, не в плоскости исторических научных исследований, а в другой. Не является ли, во все века истории, для человека высшею ступенью подвига, высшим состоянием, до коего он может подняться в героизме своем, подвиг и состояние жертвенности? И в этом смысле не будут ли вечны и на все века справедливы слова о том, что «никто же большей жертвы не имеет, аще отдавый душу за други своя»? Что, скажем уж до конца, — без этого высокого чувства, без этой готовности отдать себя за других человеческое общество попросту не может существовать, что когда тот или иной человеческий коллектив пронизают идеи своекорыстия, эгоизма, жестокости и насилия, человеческое общество, побежденное ими, скоро гибнет, как бы устроено и могущественно оно ни было. И, — в этом смысле, по крайней мере, — мы можем говорить даже и теперь, и с точки зрения нашего атеистического и материалистического воспитания, что жертвенный подвиг Христа, в пору крушения античного мира, спас человечество от гибели, указав новые идеалы новой жертвенности, новой самоотдачи «за други своя», взамен утраченных античных, и тем самым позволил потерявшему цель и смысл существования обществу вновь обрести для себя и цель, и смысл, и веру, вырастив в недрах умирающего античного мира новые живые побеги юной культуры, охватившей вскоре все Средиземноморье и половину Европы и получившей со временем название культуры христианской.

Скромный обряд, трапеза верных, вспоминающих учителя своего, с течением веков превратился в пышное богослужение, литургию, или, по-русски, обедню (название «обедня» указывает на обычное время совершения ее — до обеда). Явились строгие правила, чтение Апостола и Евангелия, кондаков

и тропарей

, стройное пение антифонов

и молитвословий украсили древний обряд. В напряжении духовного творчества первых веков христианства сами собою слагались все более сложные формы литургического действия. Виднейшие отцы церкви, Иоанн Златоуст и Василий Великий, оставили нам свои каноны литургий, ставшие основой православного богослужения. Само литургическое действие обозначало теперь как бы сразу и рождение, и крестную смерть агнца — Христа. Отправлять литургию получил право только пресвитер, священник. (Дьякон уже не имеет права совершать

литургию.) Приготовление символической трапезы — проскомидия (разрезание хлеба вынимание частиц из просфор, приготовление вина и проч.) происходит обязательно в алтаре, на жертвеннике, и совершается священником после обязательного к тому молитвенного приуготовления.

Пока там, в алтаре, происходит приготовление святых даров, в храме находятся молящиеся христиане и те, кто еще не принял крещения, а только готовится к тому, — оглашенные; и начало литургического действия так и называется: «литургия оглашенных». На литургии оглашенных, после великой ектеньи

, антифонов, пения «трисвятого» и прочих молитвословий, читают отрывки из Евангелия, что символизирует проповедь Христа народу (почему эта часть литургии и открыта равно для всех, и христиан, и неверующих).

Напомним, что младенец Варфоломей закричал впервые как раз, когда хотели начать честь Евангелие, то есть, по христианской символике, перед проповедью Христа.

После литургии оглашенных начинается главное литургическое действо «литургия верных». Оглашенных, и вообще всех прочих, кто не причащен к тайне крещения, просят выйти из храма возгласом: «Изыдите, оглашенные». В воспоминание о тех, древних, укромных литургиях, совершаемых во враждебном окружении, втайне от властей, преследовавших христиан, дьякон восклицает:

«Двери, двери!»

И вот начинается важнейшая часть обедни — перенесение святых даров с жертвенника на престол. Хор после ектеньи: «Паки и паки миром Господу помолимся» запекает херувимскую песнь: «Иже херувимы тайно образующе, и животворящей Троице трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение. — Яко да Царя всех подыдем, ангельскими невидимо дориносима чинми: аллилуйа, аллилуйа, аллилуйа». (Здесь говорится об ангелах

— невидимых копьеносцах, охраняющих святые дары. Насколько важна эта часть литургии, свидетельствует уже то, что по вопросу: единожды или трижды пропевать в конце херувимской песни «аллилуйа», в XVII столетии начался яростный спор староверческой и никонианской церковью.) Именно в этот торжественный миг Варфоломей прокричал вторично, нарушая пристойность обряда.

Третий крик ребенка раздался уже после самого претворения, перед причащением, когда дьякон возглашает:

— «Вонмем!» — А иерей, вознося дары, отвечает ему:

— «Святая святым!».

Что означал этот троекратный крик, нарушивший благочиние службы? Был ли то крик радости и веры во время происходившего таинства, или, наоборот, вмешательство злой силы, стремящейся нарушить стройное течение литургии?

Ведь еще и так — при желании — можно было повернуть событие!

Бабы окружили смущенную боярыню.

— Покажь ребеночка-то! — требовательно приказывали ей. Под широким боярским опашнем, что скрывал вздутый живот беременной, можно бы было, при желании, и новорожденного спрятать. Еще что нам дивно и что следует объяснить, это женская, бабья бесцеремонность, с коей обступили великую боярыню посадские и купеческие жонки. Но тогда, в те века, церковь действительно уравнивала, и тут были все — молящиеся, и все бабы — бабы, и не было лакея с дрожками у паперти, и одежда была похожей (и не было, еще не было крепостного права, того тоже не забудем днесь!). Мы же отравлены воспоминаниями о надругательствах барских над бесправною дворней в восемнадцатом — девятнадцатом столетиях, мы же и боярина представляем в виде барина Пушкинской, или хоть Екатерининской поры, во французском платье, в пудреном парике, с тростью и лакеями за спиной. А этого не было.

Еще не было. В церковь шли пешком, все и всегда. Тем паче женщины. Даже и много позже, даже и века спустя (царицы уже!) шли пешком из Москвы в Сергиеву Лавру на поклонение. Шли с толпами молящихся, в одно, так что же говорить про четырнадцатый век!

Бабы теребили, ощипывали даже беременную боярыню:

— Где ребеночек-то? Детский же был крик-от!

А она краснела, тупилась, и повторяла, отпихивая слишком бесцеремонные руки, что нет, не прячет она дитятю где под опашнем, что дитя в ней, в самой, еще не рожденное... И тут-то чьи-то круглые глаза, кто-то громко охнул, кто-то всплеснул руками:

— Ба-а-абы! Ребеночек-то во утробе прокричал! Ангелы! Не простой, видно! Да уж не черт ли тут подводит, не нечистая ли сила сомутила всех праведных православных, не порченная ли жонка, жена боярская, что приперлась в церкву на сносях, уж чего у ней во черевах-то?!

Про то, что ребеночек святой, не вдруг подумают, из зависти бабьей сперва про худое скажут. Тем паче боярыня все-таки, боярыня великая, а уж и знают, что нынче, по нынешним временам, обедневшая боярыня-то, что уже нет той силы и славы, и богатства того, и уже не робкая зависть, а глумливое насмешничанье порой послышится ей вслед, тем паче тут, среди народа, в церкви, где она одна среди прочих, нарочно на хоры не пошла, стояла в толпе внизу, смиряла себя. Самой разве легко видеть ежеден заботно хмурое лицо супруга, и скудость наступающую, и небрежничанье холопов, тех, что прежде стремглав кидались по первому знаку...

И вот теперь новая забота, новое горе, новое трудное испытание — этот вот ребенок, второй сын (чуялось как-то, что сына дает ей опять Господь).

Старшенький, Стефан, уже и грамоту начал постигать, а этот какой-то будет еще?! И вот тут, воротясь из церкви, в слезах, повестила она супругу своему про наваждение — чудо ли? — случившееся с нею на обедни... И священника призывали, и, отслужив молебен, а после отведав обильной трапезы, и прилично отрыгнув, успокаивал родителей отец Михаил, толковал от писаний, от текстов... А неуверенность осталась, и, борясь с нею, строже и строже блюла беременная весь чин христианского жития, молилась часами, постилась по средам и пятницам, содержала себя в чистоте телесной и духовной. К тому часу, как родить, лицо истончилось, стало прозрачным до голубизны, и глаза — огромными. Уже и супруг, коему хватало своих забот, стал взаболь бояться за нее — не скинула бы плод, не умерла бы сама от добровольно наложенной на себя тяготы!

Но не беспредельна труднота бабьей тягости. Срок родин подошел благополучно. И то еще скажем, что, к счастью великому, не в возке, не в пути, не в траве под кустом, и не в придорожной курной избе, а дома, в своих хоромах боярских, довелось Марии произвести на свет второго, самого знаменитого сына своего.

Глава 6

Женщина, рожаящая в родильном доме, где ребенка уносят и приносят медсестры, чаще всего не видит первого взгляда новорожденного. Между тем, поглядев внимательно в глаза только что появившемуся на свет ребенку, трудно порою не смутиться духом, и даже не ощутить жути — такое недетское, взрослое, мудрое и смятенно-трепетное выражение имеют они. Такие глаза, такой взгляд, пожалуй, только у серафимов Феофана Грека в куполе Спаса на Ильине в Великом Новгороде. Как будто откуда-то оттуда, «из выси сфер», пришедшая душа с трепетом ужаса оглядывает впервые этот, наш мир. Очень скоро, впрочем, и взрослость, и мудрость взора ребенка проходят, и глаза становятся обычными, глуповато-спокойными глазами дитяти. Чудо окончилось, душа вошла в плоть, и уже не проглядывают в телесном, пугая взрослый ум, глубины нездешних миров. Боюсь утверждать, — не видел, не зрел, не сравнивал! Но нет ли в этом, первом и скоро преходящем взгляде предвещения каждой данной судьбы, того, что определит человеку всю его последующую жизнь? Быть может, только очень старые священники, ведающие судьбы прихожан своих, коих им доводилось крестить, могли бы ответить утвердительно на этот вопрос.

В старину (да и не такую уж древнюю!) рожали дома, и боярыни так же, как и черные жонки. И из высокого своего покоя, из вышних горниц, Мария, когда подошел ее час, тоже выходила в хлев, и тут, в парной духоте, где в полутьме шевелились, вздыхая, коровы, на

свежей соломе, стоя, держась руками за перекладину, и рожала. Ну и — боярыня все же! — не одна повитуха, а и еще четверо сенных жонок было при сем. Две поддерживали под руки со сторон, одна держала подол боярыни, не замарать бы дорогую сряду, другая стояла наготове с чистым убрусом и свечой.

— Потягни, потягни, милая! — приговаривала повитуха.

— Да я... — кусая губы, чтобы не закричать, бормочет роженица. — Да я... со Степушкою-то, словно, легче было... Ой!

— Ну, ну, душенька ты наша! Ну же! Пошел, уже пошел...

— Ой! Ой!! — не выдержав, наконец, закричала Мария. И тут, в трепетном свете свечи, что плясал огоньками в больших любопытных коровьих глазах, — животные оглядывались, переминаясь, не совсем понимая, почто и к чему суется здесь все эти жонки и пляшет тревожащий свечной огонек, боярыня, запрокинув голову с досиня закушенными губами, почти повисла на скользкой жерди, не держи со сторон, невесть, и устояла бы, лишь горячий шепот и услышала сквозь рвущуюся боль:

— «Идет!». И — в надрыв почти уже огромное, опустошающее облегчение...

Только страшно дрожали расставленные ноги, и что-то там делали жонки с повитухою, которая сейчас ловко приняла младенца в чистый убрус, тут же, слегка обтерев с него родимую грязь, положила на солому, и льняную ниткою перевязывала пуповину, а перевязав, наклонилась и зубами, слегка зажевав, отгрызла лишнее, тут же и подшлепнув младенца — «дыши!».

Под руки, почти обморочную, Марию отвели-внесли в терем и уложили на ложе, тоже соломенное, застланное рядом, а сверху белым тонким полотном, но без перины, чтобы не было жаркой мягкости, вредной роженице.

Тут, в повалуше, уже толпилось едва ли не полтерема, и не только жонки и девки, совали нос и любопытные мужики, которых тотчас, впрочем, и выпроваживали взашей.

Посреди покоя уже было водружено дубовое корыто с теплой водою, и сейчас, уложив и обтерев влажной посконью боярыню, жонки, во главе с повитухою, бережно развернув, обмывали в корыте попискивающего малыша.

Боярин Кирилл протолкался сквозь суевающийся бабий рой к ложу жены, склонился над нею. Мария вздрагивающими потными пальцами тонкой руки коснулась чела супруга. Огромные, полные пережитого страдания и счастья, обведенные синею тенью глаза оборотились к такому дорогому сейчас особенно дорогому! — доброму и растерянному-беспомощному лицу супруга:

— Отрок, — прошептала, — сын!

Кирилл покивал головой, знаю, мол! В горле стало комом, не мог ничего и выговорить. Только, еще ниже склонясь, коснулся бородою влажных, исстрадавшихся рук дорогой своей печальницы. Все заботы и труды сейчас посторонь. Жива, благополучна! И — сын.

— Ты иди... — прошептала, едва заметным движением перстов перекрестив счастливого отца. Кирилл распрямился: высокий, — жонки все были по плечо ему, — статный, как и прежде, как и всегда... Даже и тут, на ложе болезни лежа, узрела Мария опять и вновь, как царственна на нем даже и простая домашняя сряда. А вот не судьба, не талан... Мельком прошло облачною тенью суетливое, заботное, о чем в сей час и думать не хотелось совсем... И вот тут-то ей и поднесли младенца, уже умытого, уже укутанного в свивальники, с одною сморщенной красною мордочкой, темнеющей среди белого полотна. И уже в свете дорогих свечей в высоком свечнике у ложа заглянула Мария в глаза будущего (еще не крещенного) отрока Варфоломея, и не могла не узреть, не прочесть в них удивительного знака грядущей его судьбы.

Сперва-то, как поднесли, увиделись одни светлые бровки и пухленький ротик, с забавно приподнятою, жаждущей материнского соска верхнею губкой.

И Мария, уже протягивая ладо ни к теплому свертку, лишь мельком заглянула в большие, отверстые миру глаза дитяти. Заглянула. И сама испугалась даже.

Со сморщенного детского личика на нее глядел старец. Глаза жили как бы даже отдельно, полные безграничного терпения и тайного прозренья, и ее словно овевало тихими крылами, даже и протянутые ладони замерли в воздухе на миг. Свет струился на нее из очей дитяти,

голубовато-искристый, неземной, как будто бы бархатный на ощупь свет... И... не виновата она, что охватила судорожно, прижала к себе поскорее, едва не вдавила в крохотный рот набухший, потемневший сосок. И пока сосал — не жадно, крутя головкою, захлебываясь, дергая и теряя, как, бывало, Стефан, а задумчиво, ровно и плотно, словно бы исполнял работу, думая в то же время совсем о другом, — все боялась, как оторвет от груди? Боялась вновь нечаянно заглянуть в отверстые очи.

Впрочем, пугающее это прозрение в глазах у дитяти быстро окончилось.

Мальчик Варфоломей стал упитанный, спокойно веселый и ежели бы не то событие в церкви, он и не тревожил бы ничем родителей своих, все внимание которых по-прежнему забирал старший, Стефан. Тем паче Мария почти тотчас опять понесла и недолге родила третьего сына, названного Петром, так что тут и заботы, и внимание, все пришлось делить натрое (и даже начетверо, самая старшая подрастала дочь, в близких годах уже превратившаяся в невесту).

Не был, к тому же, Варфоломей ни тщедушен, ни нервен излиха (да и будь он заморыш, отроком-то, не вымахал бы к мужескому возрасту противу прочих «в два мужика силою», как сообщает первый его биограф, Епифаний.

Одна только странность была у дитяти: не брал грудь по постным дням, средам и пятницам. И не то, чтобы дергался или кричал, нет! Попросту отворотит личико и лежит, задумчиво глядя вдаль... Опять трудно верить!

Может, плохо брал? Мать даже и то пробовала: влагать ему сосок в рот насильно, а он все одно, не сосет, зажмет сосок деснами, да так и лежит, не чмокая и не шевеля губами... Что ж! Суровое соблюдение постов и постных дней Марией, пока носила плод, могло же воспитать и в младенце Варфоломее эту склонность к перерывам в пище. Быть может! Хоть так объяснить-понять.

И еще он не брал грудь после обильной мясной пищи матери (и у кормилиц не брал груди тоже). Верно, тонкость натуры, которая отличала Сергия всю жизнь от прочих, «сверхчувствие» его, сказалось уже тут, на самой заре жизни, в тонком различении вкуса материнского молока.

Но и это заметила Мария не вдруг, а после, — после того всего, что назвал летописец Ахмыловой ратью.

Глава 7

— Беда, жена! Надо бежать!

Пляшущие огоньки двух свечей едва освещали тесовую лавку, корыто с дымящейся водой, угол божницы да край стола с разложенными ветошками и белым льняным убрусом, расстеленным поперек столешницы, на котором Мария с нянькою и сенной девкой кончали перепеленывать вымытого, накормленного и теперь забавно гулькающего малыша, который, тараща круглые глазенки, любопытно выглядывал из тугого свертка и дергал щечкой, пытаясь и не умея еще улыбнуться.

Мария подняла голову, еще не понимая, еще отсвет улыбки дитяти блуждал на ее лице, и прежде смысла слов поразило ее лицо супруга, смятое, растерянное, с погасшим, бегающим взором, с пятнами лихорадочного румянца на щеках и лбу,

— такого с ним николи не бывало, ни в мор, ни в иную беду, ни даже в набег Кочки, даже и тогда, когда дошла весть о гибели Михайлы Тверского в Орде — последнего из князей, — как всегда повторял Кирилл, — кто мог спасти Русь и Ростов от гибели.

Муж сдался, сник, сломался духом, — поняла она, — и это было самое страшное, страшнее того, что он бормотал, словно в бреду: про Ахмыла, посла татарского, про горящий Ярославль, про то, что и Ростову уже уготована та же беда, и все бояре, весь синклит, уже покинули город, сам Аверкий бежал невестимо, бросив обоих молодых князей на произвол судьбы, да и они уже, верно, побегли вон из града... И что их поместье стоит как раз на

Ярославском пути!

Она встала, едва не уронив маленького Варфоломея, сделала шаг, второй навстречу супругу, и у самой вдруг все словно поплыло в глазах: стала мягко заваливать навзничь...

В обморочных сумерках чьи-то руки, пляска дверей, голоса, грубый зык Яши, старшего ключника, топот и гам снаружи... Кирилл держал ее за плечи.

Мария, медленно приходя в себя, стуча зубами о край ковша, пила терпкий, холодный квас. А уже в горнице полуднело. Суетились, несли сундуки и укладки, сворачивали толстый ковер, уже держали наготове дорожный опашень боярыни, уже укутывали маленького, когда в покой ворвался разбуженный нянькою и едва одетый Стефан:

— Батюшка! Татары, да? Будем драться?

— С Ордой?! — спросил, бледно усмехнувшись, отец. — Бежим, вот!

— Бежим? — Мальчик недоуменно уставился на родителей, только тут приметив гомон и кишение прислуги, торопливый вынос добра и рухляди.

— Нет! — возопил он с отчаяньем и слезами в голосе. — Опять! Опять то же! Батюшка! Ты должен погнать, как князь Михайло в Орде, вот! — выпалил вдруг Стефан с разгоревшимся лицом, сжав кулаки. — А я... а мы все... — Он не находил слов, но такая сила была в голосе отрока, что Кирилл смутился, отступив. Испуганная Мария попыталась было привлечь первенца к своей груди, но он упрямо вырвался из разнеживающих материнских объятий и стоял одинокий, маленький и неумолимый, с тем, уже начавшим обозначаться сквозь детскую мягкость, резким обрубом прямого стремительного лица, будто стесанного одним резким ударом топора ото лба к подбородку, с темными провалами очей, «огненосных», — как скоро назовут глаза юноши Стефана, — стоял и не прощал всему миру: себе, родителям, граду Ростову, готовый укорить даже и Господа, ежели б не знал твердо, что нынешнее гибельное позорование Руси есть Божья кара за грехи преждебывших и нынешних русичей...

— Погибнуть, да! И я, я тоже!

— А что будет, когда татары придут, со мною? — спросила Мария. — И с ним? — указала она на сверток с красным личиком в руках у няньки.

Стефан перевел взгляд с матери на меньшого братца, так некстати появившегося на свет, набычился, не зная, как и чем возразить матери, минуту постоял, пунцовый, закусив губы и сжав кулачки, и вдруг, громко зарыдав, выбежал вон из покоя.

— Беги за ним! — первая нашлась Мария, пихнув в загривок сенную девку. Тут же двое оружных холопов, опомнясь, бросились ловить отрока.

Стефан, пойманный ими на переходах, не сопротивлялся, только, пока его несли до возка, бился в отчаянных судорожных рыданиях, запрокидывая голову, храпя и в кровь кусая себе губы...

Нежданный приступ и укоризны сына заставили Кирилла опомниться. Он попытался взять себя в руки. Сняв ключи с пояса, велел выносить дорогое оружие и узорчье из бертьяницы. Но все плыло, проваливало, мутилось в голове, и кабы не Яков, так бы и потекло мимо, нелепо и врозь, рассыпаясь в безобразном, безоглядном бегстве...

Яков поднял на ноги дружину, силой собрал растерянных холопов, повелел запрягать и торочить коней и выпускать на волю скот из хлевов — по кустам разбежат, дак и то татарам поболе заботы станет иметь каждого арканом!

На крыльце их обняла теплая летняя ночь. Сухая, нагретая за день пыль отдавала солнечный зной и гасила шаги. Шелестели кузнечики в кустах сада.

Звезды, срываясь, чертили огнистый след. Ночь пахла теплом, мятою, зреющим хлебом. Но в теплой ночи потревоженно ржали кони, плакали дети, гомонили бабы, и зарницы, вспыхивающие над землей, казались заревом горящего Ярославля.

Мария, укутанная, крепко прижимая к себе малыша, повалилась в глубокую телегу, на сено.

— Степушка где?

— Повезли уже! — отозвались из темноты.

— Стефан со мною! — послышался голос супруга.

Возки и телеги, все, что имело колеса, уже выезжали, груженные наспех накиданным добром, со двора. Коровы и овцы непутем шарахались под ноги коней. В ночи мычало, блеяло,

хрюкало, выли собаки, голосили, словно уже по покойникам, жонки. Кто-то бежал сзади с криком: «Матушка боярыня!»

Матушка!». Мария хотела остановить, но возчик яро и молча полосовал коня, и телега неслась, подкидывая и колыхаясь на всех выбоинах, и ей оставалось только сжимать малыша, чуя, как нянька с двумя сенными перекатывают по ногам, хватаясь в темноте за высокие края телеги. И бежали, дергаясь вверх и вниз, звезды над головой, да чья-то косматая и черная в ночи голова, склоняясь со скачущего обочь с телегой коня, хрипло спрашивала:

— Боярыня здесь?

— Здесь! — хором отвечали бабы. И голова исчезала вновь, только мерный конский топот с редкими сбоями несся по сторонам, словно пришитый к тележному колесу.

Теряя возы и людей, выматывая коней, взъерошенных, мокрых, в мыле и пене, они неслись, минуя темные, еще не разумеющие беды деревни, сквозь запоздалый брех хриплых спросонья собак, мимо и прочь от Ростова, забиваясь в чащобы, по малоезжим, глухим, затравянным дорогам. И уже утро означило легчающее небо, и первые светлы зари поплыли над курящей паром землей, когда Яков, что вел ватагу, разрешил остановить, покормить и выводить шатавшихся коней.

С избитыми боками, с трудом разжав онемевшие руки, не понимая даже, жив ли малыш, ощущая противную мокроту внизу тела и тошнотные позывы, Мария с трудом выбралась из телеги, тотчас вся издрогнув от холодного утренника. Зубы начали стучать — не унять было, как ни сжимала. Подъехал Кирилл. Тяжело, шатнувшись, свалился с коня. Ей дали чего-то испить, есть она не могла, помотала головой. Нянька помогла расстегнуть саян, поднесла, не распеленывая, малыша к груди. Слава Господу, молоко не исчезло, текло по-прежнему, и грудь легчала, по мере того, как маленький деловито сосал.

Подходили мужики, но даже и стыда, что боярыня на людях с голою грудью, не было, до того устала и до того болело все тело.

Подошел, шатаясь, Стефан, с черной умученной мордочкой.

— Прости, мамо!

Молча огладила, ткнувшись сухими губами ему в висок. Глянула снизу вверх на мужа и поскорей отвела глаза, увидя ту же, вчерашнюю, испугавшую ее давеча жалкую потерянность на родном, всегда таком красивом и строгом, и все равно дорогом лице!

Потом уже, когда все кончилось, и это позабывалось порой...

Они отсиживались в лесной деревушке, перенимаячи слухи. Кирилл уезжал, и от него долго не было ни вести, ни навести. Мария пристроилась спать в летней клетушке, не разоболокаясь, мыться в печи в очередь со своими же холопками, хлебать мужицкие шти; помогала, чем могла, по хозяйству, даже и жать ходила вместе с бабами, а Стефана послала возить мужицкие снопы с поля. Уже и обдержались, и привыкать стали, когда, наконец, воротились веселые, успокоенные супруг с Яковом, и Кирилл, вольно развалясь на лавке, сказывал, как все устроилось, какой раззор и разброд творились в Ростове, брошенном боярами и владыкой, как Игнатий, сказала ордынская кровь! — ремненной плетью расчищал себе путь, разгоняя, словно овец, перепуганных горожан, как настигли и воротили епископа Прохора, как сами потрошили сундуки в брошенных теремах, собирали испуганный клир церковный, как вели их, почти падающих в обморок, с хоругвями в дрожащих руках, и как стих, засопев, Ахмыл, старый знакомец покойного Михайлы Тверского, услышав из уст Игнатия речь татарскую; какие подарки передавали ордынцам, как успокоили город и возвращали разбежавшихся смердов...

— Потратиться-таки пришлось и нам! — со вздохом присовокупил Кирилл.

— Да и то еще подвезло, — подал голос в свой черед Яков, — сын еговый, вишь, Ахмыла-то, на Ярославли глазами заболел! Владыка Игнатий исцелил его молитвою, освященной водою помыл, да... Господь помог!

— Господь! — добродушно отозвался Кирилл, веселыми глазами озирая свое семейство.

Мария слушала немо, с тупою тяжестью в сердце и голове. И вдруг в ней, возможно от усталости, крестьянского тяжкого труда, нездоровья, страхов, горькою волной поднялось запоздалое отчаяние. Остро увидела она всю свою жизнь, красавца-мужа, который надевал писанный золотом шелом и дорогой доспех только для торжественных выездов, ни разу не

ратясь, потерял все или почти все (и даже маленький Стефан кричал ему — погибни со славой!), и что вся жизнь ихняя была для одного этого: для шествий, с хоругвями и поклонами, выездов с князем, посольских дел, не нужных, как прояснело теперь, никому и никого не спасших... И не потому ли, да именно поэтому, он и неуспешлив днесь! Какая корысть в том, что был ты честен и верен сменявшим друг друга юным князьям? Что был щедр, хлебосолен и нищелюбив? В спокойную пору, тогда еще... до Батые, быть может, пригодились бы твои и стать и норы, — но не тут, не теперь! Как же ты не видишь, ладо мой, отец детей моих и свет очей моих, как же не узришь позора в том, что вышли вы, мужи, бояре, ратные люди, да попросту мужики, наконец! С хоругвями, встречу поганому бесермену, послу татарскому, с дарами, яко волхвы ко Христу новоявлену! Смилоствил, испугался за сына...

Сын-то еговый глазами заболел, видно, от жара огненного, — задымил очи на пожаре Ярославском! С хоругвями, крестным ходом, яко благодетеля своего...

— А кабы не исцелил?! — спросила вдруг Мария, звонко, в надрыв, и, склонясь, горько заплакала: о себе, о нем, что только и умел всю жизнь умолять, просить, шествовать, когда надо было драться, подличать, предавать или уж безоглядно идти на крест!

— А кабы не исцелил? — повторяла она, вздрагивая, горбятясь и закрывая лицо руками, меж тем как Кирилл, испуганный, пав на колени перед женой, пытался, как мог, утишить ее рыдания. Знал бы он, сколько ей пришлось пережить за эти смутные дни!

Стефан слушал, бледный, повторяя одними губами:

— «Господь!».

Возвращались едва не на пепелище. Все было разорено и порушено.

Татары, свои ли — не поймешь, поозоровали всласть. Сорванные двери, выбитые оконницы, поваленные огорожи... Едва четверть разбежавшегося скота удалось собрать по кустам. Недосчитались и многих слуг, сбежавших напрочь.

Почитай, ежели бы и сгорел город, боярину Кириллу не много большего убытку стало от Ахмылова нахождения...

Глава 8

Минуло четыре года. Четыре года относительного покоя, когда можно отстроить порушенные хоромы, когда бабы вновь рожают детей, а мужики пахут и сеют хлеб. Хотя уже в воздухе носило, что Юрий вновь схлестнется с Дмитрием, и горе тогда Ростову, зажатому меж Тверью и Москвой! А подрастающие князья, словно переняв наследную болезнь, начинали тяжко ссориться, чему деятельно помогали многие бояре. И уже скоро дело должно было дойти до дележа града Ростова и волости... И все же это были относительно спокойные годы, о чем Кирилл почасту толковал с зятем своим, Федором Тормосовым, когда те наезжали гостить, обычно всей многочисленной семьей, со свояками, тетками, племянниками, детьми и челядью. И венцом всех этих разговоров было одно: кто одолеет, в конце концов, Москва или Тверь? Тверь — была привычнее, спокойнее, спасительней казалась для града Ростова.

Мечты, похороненные со смертью Михаила Тверского, все еще робко брезжили в неспешных застольных речах.

— Вот бы, ежели бы... Покойник, Михайло Ярославич, царство ему небесное, гляди-ко, почти уже всю землю Владимирскую совокупил в руце своя! За малым дело не состроилось! Новгород Великий, вот... Да, Новгород!

Упрямы, непоклонливы новгородцы-ти! А ныне опять все поврозь, да под московского князя головы клонят...

Жена была права в давнем озарении своем. Кирилл всю жизнь мечтал о благолепии, о торжественном уставном несении вышней службы, и всю жизнь, в тайная тайных души, верил, что князь должен быть справедлив, великодушен, мудр и милосерд, и когда раз за разом видел иное — недоумевал, не верил, не понимал и не принимал, на многое и вовсе решительно закрывая глаза.

В иную пору, в иной действительности был бы Кирилл и в почете и на месте своем. Но тогда, когда все рушилось, бродило, а новое не устроялось еще, он был порою смешон, как токующий тетерев, что слышит одного лишь себя.

Но уже и эти заботы отходили для него постороннь, теряли прежнюю свою остроту и боль. И все чаще Кирилл такие вот беседы кончал присловьем:

— Един Господь!

В нем все укреплялось и росло сознание, что земная жизнь, его труды и чаянья — суета сует и всяческая суета, и то, чему он посвятил свою жизнь, вряд ли столь уж важно перед лицом Господа и той, другой, истинной, вечной жизни. И все меньше трогало Кирилла, что хозяйство плыло из рук, уходило добро, уходили люди, пустели волости, нечем и нечем становилось содержать городской двор... Здесь, на земле нажитое, оно и должно было остаться на этой земле.

Впрочем, хоть и скудел боярин Кирилл, все же он оставался великим боярином, и хозяйство его, трижды порушенное, все еще было боярским и большим. И сына Стефана отдали учиться не куда-нибудь, а в Григорьевский затвор, рядом с княжеским теремом, куда ушла едва ли не вся библиотека князя Константина Всеволодича, и отроки лучших боярских семей учились именно здесь, и самые ученые иерархи церковные выходили именно отсюда.

К Кириллу невидимо подходила старость. Подходила, как наступает тихая осень. Все тепло и солнечно, но редуют леса, свежеееет воздух, меркнут краски, и вот уже каким-нибудь ранним утром треснет льдинка в лужице под ногой, и птичьи караваны уходят и уходят в синих холодных небесах туда, на юг... Так было и с ним: не согнулся стан и сила еще не ушла из предплечий, и в светлых волосах не вдруг проглядывали, прячась, нити седины, но уже виднее стали белые виски, и узкою лентою посеребрило бороду, и посветлели брови, и новые, добрые складки пролегли у рта, и морщинки у глаз не сходили, даже когда он переставал шуриться. И все больше от дел городских, невеселых, обращался он к детям, словно в них чаял достичь того, до чего не удалось достигнуть самому, себе же оставляя, в дальнем далеке, тихую надежду на монастырское уединенное успокоение.

В детях на первом месте был для него Стефан, горячий и нравный. С ним, как с равным уже, проводил Кирилл часы, толкуя греческие книги, обсуждая деянья Александра Македонского, Омировы сказанья, чтя вслух хронику Амартала и русские летописи, по которым недавняя и уже отошедшая в небытие киевская старина выглядела величавой и славной, а князья киевские — Ярослав, Святослав, Олег, Владимир, креститель Руси, великими и грозными.

Малыши — Варфоломей с Петром — занимали гораздо меньше места в душе и в мыслях родителя, хотя и помнилось, и тревожило бывшее в церкви, но помнилось и поминалось от случая к случаю, а так, ежеден, Варфоломея не выделяли в особину, уделяя ему и меньшому брату поровну вниманья и ласки.

И, как часто, как всегда бывает, просмотрели те незаметные и крохотные поначалу отклонения, те поступки, совершенные «не так» или «не совсем так», которые ознаменовывают начало человеческой неповторимости. Но что было неповторимо в характере Варфоломея?

Толстый карапуз, качаясь на ножках, косолапо идет к двери, на четвереньках перелезает через порог, действуя однако рукой: другой, в потном кулачке, зажато что-то. Вот он, поворотясь задом, спускается, как медвежонок, со ступеньки на ступеньку, вниз по долгой красной лестнице высокого крыльца. И, наконец, в очередную сосупив, босая ножка ощущает вместо щекотной сухости дерева теплую пыль двора. Покачиваясь, он идет по двору туда, к высокому, выше его роста, бурьяну, приговаривая шепотом: «Не кусай, не кусай!» Пестрый жук, зажатый у него в кулачишке, отчаянно скребет лапами и уже нешуточно вцепился ему в ладонь. Но малыш терпит. Вот он разжимает ладонь — лопухи, татарник и крапива уже окружили его своими высокими колючими головами — и начинает тихонько, одним пальцем, поглаживать жука по спинке. Жук расцепляет ядовитые челюсти, вертит головой, сучит усиками и наконец, с щелканьем вскрыв твердые надкрылья, выпускает нежноблестящие прозрачные нижние крыла и резким рывком срывается с детской руки, тут же исчезая в высоких острых травах. Младенец удовлетворенно смотрит вслед жуку, коего он подобрал на полу изложни, неведомо как залетевшего в терем, и терпеливо нес сюда, чтобы выпустить.

Жаль только, что жук так быстро улетел, не дав рассмотреть свои крылышки!

Варфоломей поворачивает к дому и, посапывая, пускается в обратный путь.

Почему один малыш поступает так, а другой, и в той же семье, иначе?

Почему один мучительно отрывает лапки и крылья жуку, разоряет гнезда, убивая птенцов, вперекор родительскому слову (и даже под угрозой порки!), а другой садит на зеленый листик и осторожно выносит на улицу червяка, а, заглядывая в то же гнездо, боится дышать, чтобы не испугались птенчики?

Сколько тут усилий воспитателя, родителей, и сколько — от природы самого человека? Быть может, не так уж не правы авторы христианских житий, полагавшие, что праведник рождается с уже готовым устремлением к праведности?

Варфоломей рос неслышно, не причиняя никаких неприятностей родителям.

Был здоров, тих и послушен. И то, что отличало и, пожалуй, выделяло его, было как раз тем, что позволяло родителям почти не обращать внимания на своего среднего сына, отдавая внимание младшему, Петру, который часто и прихварывал, и капризил. Варфоломея же отличала редкая для дитяти послушливость и старательность. Ему почти ничего не приходилось повторять дважды. Сказанное матерью или нянькой он запоминал и исполнял сугубо в точности. Поставить ли свою мисочку на стол, задвинуть ли и закрыть ночной горшочек, застегнуть рубашечку, перекрестить лоб перед едой, умыть руки все он делал тщательно и спокойно, с видимым даже удовольствием, и очень любил оглядывать себя, когда на него надевали нарядную рубашечку. Подолгу рассматривал рукава, разглаживал ткань у себя на животике, а когда его обижали, чаще всего не дрался и не плакал, а недоумевал. Как-то братья-погодки и младший Тормосов затеяли деловитую возню, и вдруг Тормосов (он был чуть постарше) взъярился:

— У меня и у Пети белые рубашки, а у тебя синяя, ты не наш, иди прочь! — И вдруг начал яростно пихать и бить Варфоломея, оцарапал и свалил его в канаву. Это было одно из первых детских воспоминаний отрока Варфоломея, когда мир еще не воспринимается связно, а только отдельными картинками. Он помнил, как негодовал и подпрыгивал мальчик, чуть побольше его ростом, как его почему-то пихали и толкали в сухую глубокую канаву, всю в каких-то колючих травах, и запомнил свое тогдашнее огромное недоумение. Не обиду, не боль, нет! А недоумение: неужто от того, какая рубашечка, можно любить или не любить человека? Он и не заплакал, а выбрался из канавы на четвереньках, и все думал, не понимал и видел мальчика Тормосова как бы со стороны — дергающегося, суетящегося, словно больного, и даже, по-своему, пожалел его. Во всяком случае, так вспоминал он потом свое тогдашнее чувство-переживание.

Маленьким Варфоломей не только никогда не мучал зверей, но и не позволял другим мучать, какого бы возраста и роста ни был обидчик. Он трогательно заботился о младшем братике и не любил мяса, подолгу жевал и глотал с видимым трудом. (По счастью, родители не неволили, как иные, есть нелюбимое.) Очень часто играл один, что-то бормоча себе под нос, чуялось, что представляет себе в эти мгновения много больше, чем можно было узреть из палочек, щепок, свистулек и коней, расставленных перед ним. Но не было в нем ни всплесков горячего норова, ни ярких откровений познания — всего того, что увлекало и тревожило в Стефане.

Лошадей любил он до страсти. Одна из ранних картин-воспоминаний Варфоломея, это как он стоит в белой рубашонке на крыльце и кормит коня хлебом. К нему склоняется большая конская морда, и теплые мягкие губы требовательно и властно забирают с его ладошки наломанный хлеб, кусок за куском. Кони были рядом всегда, и Варфоломей уже не помнил, когда его впервые посадили на теплую конскую спину и он, вцепившись ручонками в гриву, ехал с радостным испугом по зеленому двору. Почему-то запомнился густой зеленый цвет, верно, поздней весною, когда затравянный двор еще не бывал вытоптан и выбит дочерна колесами и копытами коней. Но даже когда его сажали верхом, он не вертелся, не бил коня пятками, как Стефан в его возрасте, а весь замирал и ехал, крепко уцепившись за гриву. И когда

его снимали с лошади, не скулил, не рвался из рук, а тихо, счастливо улыбался медленной расцветающей улыбкой.

Говорят, характер человека складывается в первые пять лет жизни, то есть как раз тогда, когда ни родители, ни ближние не думают еще о воспитании характера и все внимание направляют токмо на то, чтобы обути, одеть, накормить да, по силе возможности, потешить игрушками и сладостями. И нечастые проявления детского своенравия в Варфоломее являлись и проходили почти незаметно для его родителей, оставляя памятные зарубины лишь в собственном сознании дитяти, как, например, случай с лестницей.

Лестница эта вела на чердак, куда складывали сушить яблоки и куда поэтому, часто, украдом, лазали дети, те, кто умел, а те, кто еще едва держались на ножках, тоже подходили и, ухватясь за нижнюю перекладину, задирая голову, глядели вверх, откуда старшие мальчишки кидали украдкой вяленые терпко-сладкие кусочки...

Варфоломею каким-то чудом удалось заползти на вторую ступеньку, откуда его походя сволокла дворовая девка, пробежавшая на поварню. Однако часа через два старик-садовник услышал тонкий писк и углядел Варфоломея, висевшего вниз головой посреди лестницы, руками и ногами обнявши лестничную тетиву. Он, видимо, перекинулся, и висел довольно долго. Когда старик снял его, он весь дрожал и скулил, как щенок.

Но, однако, невдолге, выруганный и утешенный, он украдом уполз из дому и... исчез. Когда, уже об ужине, схватились искать и сама Мария побежала осматривать все щели, колодцы и ямины, она заметила, случайно подняв взор, что в проеме чердака что-то белеет. Это был Варфоломей в своей рубашечке. Он сидел на самом верху, побалтывая ногами, и так ясно поглядел на мать, так готовно протянул ей ручки, что у Марии и мысли не шевельнулось, что ребенок залез туда сам, и она долго поносила неведомых старших шалунов, затащивших дитятю на вышку.

Меж тем, для едва научившегося ходить малыша, совершенное им было подлинным подвигом, просмотренным родителями и прислугой.

Он едва мог достать ручками до нижней ступеньки, и потому, когда полез, то лез по тетиве, обняв круглую жердь ногами, соскальзывая, обрываясь и упорно подтягиваясь вновь. Когда его сняла дворовая девка, Варфоломей едва не взвыл — насмарку пошли его тяжкие труды. Поэтому он полез быстрее, хоронясь людей, и, перебираясь с очередной ступеньки на следующую, сорвался. Страшен был этот миг, — он уже поднялся на необычайную высоту: далеко внизу проходила золотисто-пестрая курица и даже не увидела Варфоломея на его недоступной высоте. А тут ручонки поехали, его стало кренить, он на миг в ужасе прикрыл глаза, изо всех сил, руками и ногами, вцепившись в круглое, и тотчас тяжелое бремя собственного тела потянуло его за руки и за ноги, двор и терем разом опрокинулись, и когда Варфоломей, убедясь, что он не упал, а висит, открыл глаза, он увидел только голубое небо и ватные, серо-белые облака, наползающие и наползающие на оком. Ни разжать рук, ни даже ослабить на мгновение, он не мог, и висел, постепенно теряя силы, не зная, что предпринять, и даже не слышал сам, как начал тонко скулить. Он уже почти терял сознание, когда его вторично сняли с лестницы и унесли в дом. Но теперь все окружающее воспринималось им как в тумане. Реально было одно: лестница, на которую следовало влезть. Лежа на кровати и мысленно восстанавливая весь путь, он понял свою ошибку. Надо было все время держаться за перекладины, чтобы не перекинуться стремглав. Отдохнув и поев, он украдкой ушмыгнул из горничного покоя, и на этот раз ему уже никто не помешал. Вытягиваясь во весь рост, он крепко ухватывал одною рукой за ступеньку, другою обнимал тетиву лестницы и, горбатясь, подтягивал ноги. Главная труднота заключалась в том, чтобы ногами, коленями, влезть на перекладину. Для этого он перегибался вперед, почти свешиваясь головой, обеими руками брался за тетиву и тут, уже почти падая вниз, заносил колено на ступень лестницы. Дальше было гораздо легче.

Утвердив обе ноги на перекладине, он вытягивался в рост и ухватывал точно так же следующую ступень. И опять подтягиванье, и опять голова и плечи перевешиваются вниз, и Варфоломей почти закрывает глаза, чтобы не видеть раз за разом грозно отдаляющейся земли... И вот уже он так высоко, что земля видится в какой-то далекой дали, даже словно бы в легкой голубизне, а он висит почти уже в облаках. И дрожали ноги, и руки тряслись, а он все лез и лез,

с железным упорством повторяя раз за разом все тоже же самое: подтягиваясь, склоняясь головой вниз, утверждая колено на новой ступени, а потом переползая на нее и целиком. И вот уже последняя ступень, и дальше... и дальше была стена, бревно, и — некуда лезть! Его почти охватило отчаяние. Столько лезть до верха и тут, на самом верху, не смочь выбраться туда, на вожделенную чердачную высоту!

Последний раз вытянувшись вдоль тетивы лестницы и ощущая руками щекотную сухость дерева, он начал думать. Старшие мальчики легко преодолевали эту последнюю ступень... Запрыгивая туда, наверх... Как?

Прямо перед его лицом был тупо обрезанный конец лестничной тетивы, и Варфоломей наконец решился. Уже почти не дыша, медленно-медленно, он начал подтягиваться вверх, цепляясь руками за трещины в дереве. Он весь вспотел со страху и чуял, что стоит его ногам потерять неверную опору — и все. И он полетит вниз, в ничто, в голубую зияющую пустоту. Медленно ступали маленькие потные ножки по гладкому дереву лестничной тетивы, медленно подкорчивались уже почти непослушные руки. Вот он оторвал правую руку и сунул ее в трещину повыше, и тотчас ноги съехали по гладкости тетивы, и Варфоломей завис, напрасно скребя пальцами ног гладкое дерево. По счастью, под левой ногою обнаружился острый сучок, и, жалея себя, почти в кровь вдавив сучок в мякоть ноги, Варфоломей сумел зацепиться, а потом, в каком-то лихом отчаянии задрав другую ногу, коленом достал до верхнего среза тетивы. Больше он ничего не мог. Его долго трясло, и он продолжал полувисеть, упираясь трясущимся коленом в основание тетивы, другой, до предела вытянутою ногою — в острый сучок, а руками, распростертыми по покатости дерева, вцепившись в острые края трещин. Дрожь медленно проходила, и вот Варфоломей сумел сделать следующее движение: упершись коленом, оторвал другую ногу и стал руками подтягивать тело вверх. Труднее всего оказалось оторвать живот от теплого круглящегося дерева. Но когда он наконец решился и на это, тело как-то почти легко подалось вверх, и Варфоломей просунул одну руку поверх бревна, к собственному спасению найдя за невидимым краем стесанный топором рубец. Побелевшими, почти потерявшими чувствительность пальцами он впился в затес и, перенеся наверх вторую руку, начал подтягивать тело в последний раз. Перед его глазами уже была чердачная тьма, но Варфоломей ничего не видел, не чуял, кроме одного — как утвердить на обрезе лестничной тетивы вторую ногу? Он поставил мокрые от пота пальцы на шершавую покатость бревна, потом, решась, поднял ногу и уцепился пальцами ноги за верх тетивы, почти спихнув себя самого с лестницы. Но тут уже можно стало разогнуть колено и стать на кончик дерева двумя ногами. Больше он не стал ждать, вытянув ноги и весь подавшись вперед, Варфоломей, в ужасе от оставленного позади пространства, повалился лицом, грудью и животом в теплую пахучую пыль чердака и замер недвижимо.

Вот теперь он струсил и боялся даже пошевелиться, чтобы не улететь назад. Он готов был снова завывать, готов был закричать или громко позвать няню, и — не сделал ни того, ни другого, ни третьего. Слепо протянув вперед руки, он погрузил их в пыль чердака, нашел что-то твердое и, ухватясь за это твердое, поволок свое, почти уже непослушное тело дальше и дальше и, несколько раз по-лягушачьи взмахнув ножками, зацепился коленом за срез бревна, и тогда быстро-быстро, ящерицей, заполз наконец наверх. Он еще лежал, боясь даже поднять голову, но вот уже и встал и огляделся, и почуял во тьме вожделенный дух вянущих яблок, и долго дышал этим сладким, чуть вяжущим запахом, и после встал, и робко заглянул вниз, дивясь и ужасаясь проделанному пути, а затем — затем уселся на край, даже не взяв ни кусочка вяленого яблока, и стал болтать ногами, успокаиваясь и довольно озирая распростертый пред ним и ниже его дольний мир: вершины сада, тын и поля по-за садом, и соломенные кровли деревни в дымке вечеряющего неба далеким-далеко, и крохотных коровок возвращающегося стада... И совсем не удивился появлению матери. Теперь, когда он исполнил задуманное, она и должна была явиться к нему. И, радуясь, готовно протянул к ней руки, когда Мария, поднявшись на нижние ступени, бережно стаскивала с чердака и прижимала к груди своего середенького несмышлениша.

Никто так и не узнал об этом первом деянии Варфоломея, ни мать, ни няня, ни старший брат, ни дворовые мальчики. А он молчал, не хвастал, даже братику Петюне не рассказал о своем восхождении на чердак. Как-то не хотелось говорить, да словно и незачем было —

лазают же иные мальчишки туда ежеден за яблоками!

Но в чем-то с тех пор укрепился Варфоломей, что-то молчаливо понял, постиг в себе самом. И это «нечто» сперва незаметно, а потом все больше и больше начало выделять Варфоломея из круга сверстников.

Глава 9

Мать воспринималась им не как образ, а как ощущение — ее голос, руки, теплые и уютные; отца, далекого и строгого, Варфоломей уважал и боялся; но подлинное благоговение вызывал в нем старший брат, Стефан, или, по-дворовому, Степан (мать называла его Степушкой). Он врывался шумный, что-то говорил, кричал, хохотал или гневал, не обращая внимания на меньшого братца, что, приоткрыв рот, мог часами взирать на обожаемого им почти сказочного героя, ради коего он мог забросить, не вздохнув, всех своих деревянных и глиняных коней.

Стефан уже учился в Григорьевском затворе, в Ростове, и ездил туда верхом. Учился он удивительно. Книги не читал, глотал, тут же, без запинки, пересказывая целые страницы, и уже мог довольно бойко разбирать по-гречески.

Варфоломею очень запомнился (ему было уже четыре года) первый раз, когда брат удостоил его серьезной беседы, хотя, собственно, Степан и не с ним хотел баять, да не случилось никого близь, так и вышло, что впервые сделал он слушателем своим четырехлетнего крупного светло-русого малыша.

— Семь дней! — фыркнув, говорил брат почти что сам себе, продолжая начатый, видимо, в школе спор. — Семь дней! Бабы белье на солнце вывешивают, а Господь тем часом мир создает, да?

— Почто? — спросил, отчаянно робея и весь зарозовев, Варфоломей, и Стефан, вдруг оборотясь и даже будто присев перед ним, наклонясь ли, раздельно сказал:

— Написано: Господь создал мир в семь дней! Понимаешь?

Варфоломей серьезно кивнул, во все глаза глядя на старшего брата, повторив шепотом:

— «Семь дней!»

— Так вот! Господь создавал и небо, и солнце, и звезды, и твердь отделил от воды! Дней-то еще не было, понимаешь?

Варфоломей опять кивнул, старательно запоминая, хотя не понимал ровно ничего. Но у него было счастливое свойство запоминать, не понимая, и после додумывать до конца. И этот братний разговор он додумывал потом несколько лет, так и эдак поворачивая и укладывая в голове слова Стефана (и словно новым светом осветило их, когда сам начал постигать грамоту в том же Григорьевском затворе, где учился и старший брат).

— Так вот! — продолжал Стефан, — слова сии надобно понимать сугубо духовно. Семь дней, это не дни, это неделя, седмица. Седьмой день отдыха, конец, и новое начало. Все идет по кругу! Понимаешь? По кругу! Мир, может быть, все время создается Господом! Или создан им враз, мгновенно, или за тысячу наших лет, что токмо один миг для Господа, или же Господь время от времени вновь продолжает творить и переделывать мир сей.

— Понимешь? Понимаешь? — повторял брат, и Варфоломей, глядя на него заворуженно, кивал и кивал, шепотом повторяя:

— «По кругу... все время создается... тысячу лет...»

Стефан, высказав мысль, не дававшую ему покоя весь день, тут же бросил брата на произвол судьбы и унесся куда-то, а Варфоломей все стоял, а после ходил и думал, повторяя в порядке и «укладывая» братни слова о том, что мир создан или враз, или в тысячу лет, что, все равно, есть один лишь миг для Господа, или создается-переделывается Господом время от времени и в наши, теперешние дни. И все видел неотвязно, как бабы-портомойницы развешивают белье, а над ними, в облаках, как на лестнице, словно плотник на лесах строящегося дома, стоит сам Господь с развевающейся бородою и, тяжело ворочая облачные громады, создает мир.

Глава 10

Маленький русич воспитывался на сказках. После уж — на преданиях старины, былинах и «житиях». Едет, к примеру, сказочный герой добывать молодильные яблоки и встречает по дороге избушку. В избушке лежит старик, большой-пребольшой, голова в красном углу, ноги в подпороге. На печи старуха, тоже большая-пребольшая. Он кланяется старику «во всю спину», потом старухе, потом старшему сыну, потом среднему и, наконец, младшему.

Герою предлагают с дороги помыться в бане, и когда он идет туда, приходит старший сын старика с охапкою золотого прутья и говорит:

— «Вот ежели бы ты прежде мне поклонился, а потом моему отцу, я бы это прутье все о тебя до рук выломал!». Затем идет средний сын с охапкою серебряного прутья, приговаривая:

— «Вот ежели бы ты сперва мне поклонился, а потом моему старшему брату, я бы это прутье все бы о тебя до рук выломал». Затем приходит младший сын с охапкою медного прутья и говорит:

— «Ежели бы ты сперва мне поклонился, а потом моему среднему брату, я бы все это прутье о тебя до рук выломал». Только потому, что герой выполнил законы «вежества» правильно, он и остается цел.

Сказочный пример подтверждался поведением взрослых. Уважительное отношение к старшим было законом тогдашнего общинного бытия, непререкаемый авторитет родителей в доме — законом домоустройства.

В боярской семье воспитание было тем же самым, что и в крестьянской, только прибавлялась священная история да Евангелие — жизнь Христа, с моралью высокого жертвенного служения человечеству. И еще века и века были до француза-гувернера, объяснявшего, что лучший город на земле — Париж, а Россия — страна варваров. Ни Парижа, ни слова «варвары» русичи еще не знали. Вместо «варвары» говорили «поганые», и разумели под этим словом степняков-«сыроядцев», да северных ясных инородцев, а шире — вообще всех «нехристей», не уверовавших во Христа. Легендарный город Паган, на юге индийских сказочных стран, так и понимался, как город «поганых», то есть некрещеных народов, и страны те, безо всякого оттенка небрежения даже, назывались «землями поганскими». Священные города за рубежами страны были:

Ерусалим, в котором распяли Христа, и Царьград — нынешний оплот веры Христовой. Русь же, принявшая крещение, отнюдь не была варварскою страной.

У нее явились уже и свои святыни, и места паломничества, как, например, Киев, мать городов русских, со славными своими пещерами, и многие другие святы и чтимые места, о чем повествовали и запоминали сперва изустно, после же, одолев грамоту, чли по летописям и житиям святых.

Так же точно воспитывался и маленький Варфоломей. Вот еще одна из его ранних воспоминаний-картин. Они сидят на печи, набившись, как птенчики.

Темно, и тепло, и тесно. Тут и младший братишка рядом с ним, и еще какие-то пареньки и девушки, — верно, из дворовых ребят. И где это происходило? То ли в челядне, но там печь не такая, то ли в хлебне? То ли это было внизу, в подклети, где печь после разрушили и сделали холодную кладовую. Только няня или другая женщина? Быть может, покойная Ульяна, она была знатная сказательница! Сказывает сказки. И рассказывает так, что они все уже не здесь, а в пути, в лесу, знакомятся с бабой-ягой, едут на сером волке, видят поле мертвых костей, ловят сияющую, переливающую самоцветными огнями Жар-птицу. И это ему, отроку Варфоломею, а не сказочному Иванушке, велит серый волк не трогать узды волшебного коня, не брать золотую клетку Жар-птицы, не то зазвонят струны и проснется стража. И он представляет, как, вцепившись ручонками в гриву, выводит коня, как обнимает птицу, а она словно шелковая, пушистая и льющаяся, живая, и скользит из рук, и вздрагивает, словно сокол на кожаной рукавице сокольника, и царапает твердыми когтями, и надо ее не повредить, не помять ей шею, и обязательно удержать! Он бы непременно послушался волка, не взял узды, не тронул клетки, и ему не пришлось бы обманывать грозного царя...

Сказки рассказывала и няня по вечерам. Зато мать читала им жития святых и пересказывала Евангелие, и это тоже было удивительно, словно сказка.

Горела одна свеча. (Свечи давно уже начинали беречь.) Мать тоже рассказывала, а то

разгибала темную кожаную книгу с твердыми пергаменными листами, и начиналось чудо: львы приходили к пустынноикам; умирал, так и не сказавшись родителям, Алексей — Божий человек, и было до слез жалко и его, и батюшку с матушкой в их неизбывном горе; разверзлось небо, и там, в грозном величии, в рядах белокрылых архангелов, стоял убогий Лазарь, а снизу, из адской бездны, молил его Лазарь богатый: «Омочи мизинный перст в воде и освежи мне запекшиеся уста!» — И слышал в ответ неумолимое:

— «Не могу. Ныне воля не моя, воля Господа, воля Господа, царя небесного!». Про Лазарей мать не читала им, а пела. И он, содрогаясь, думал, что никогда не будет таким жестоким, как богатый Лазарь, и, верно, ни матушка, ни батюшка его тоже не такие, — вон скольких сирых и убогих привлекают на боярском дворе!

Когда мать сказывала про Христа, она никогда не трогала книгу, только иногда клала рядом с собою темное потертое маленькое Евангелие, но не заглядывала в него, а только изредка поглаживала рукой, вспоминая наизусть притчи Спасителя. Варфоломей уже знал — то, что сейчас будет сказывать мать, очень серьезно, важнее сказок и даже житий святых. И он прижмуривал очи и видел песчаную пустыню, каменные горы лесенками, как изображают на иконах, и ощущал жару, словно от русской печки, и сам проходил мимо колосющихся хлебов, и видел море, подобное великому Ростовскому озеру, и рыбачьи челны на воде, а чужие названия — Вифиния, Вифлеем, гора Елеонская, Галилея, — казалось, пахли солнцем и медом.

Христос тоже учил терпению и мужеству. И были слова страшные:

— «не мир принес я на землю, но меч»... «Егда гонят вас во граде сем, убегайте в другой»... «Предаст же брат брата на смерть, и отец чадо, и восстанут чада на родителей и убьют их, и будете ненавидимы всеми, имени моего ради!

Претерпевый же до конца, той спасен будет».

Христос был то грозным, то добрым (его так и изображали на иконах), но всегда — настойчивым, и всегда он был бедным, и ученикам не велел собирать ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, и всегда он ходил пеший, а не ездил на лошади. Только в Иерусалим, перед гибелью, привезли его верхом на осле. И то, — как объясняли те, кто побывал в Орде, — осел, это такая маленькая-маленькая лошадка с большими ушами. Сядешь, ноги по земли волочатся. На такой ехать, все одно, что пешком идти! — заключил про себя Варфоломей, успевший уже создать свой образ Христа — вечного пешего странника.

Знают ли взрослые, как преломляются в детском сознании их рассказы?

Кому сочувствует маленький слушатель? Не пожалеет ли Кощей бессмертного?

Не осудит ли гордого героя сказки? Не захочет ли сам стать разбойником и получить несметные сокровища поверженного змия? Или пылко и прямо примет строгие поучения древних книг? И не надорвется ли он, пытаясь исполнить неисполнимое? И бойтесь, родители, говорить одно, а делать другое! Навек посеете смуту в юной душе, и пропадут впусте все ваши добрые поучения!

Варфоломея поразили слова Христа, что тому, кто попросит у тебя рубаху «срачицу», следует отдать и гиматий (верхнее платье). Он даже, что редко бывало, переспросил мать:

— Что отдать, если одеты на тебе две рубашечки? А если всего одна, и холодно станет? Все равно снять?

Мать, не догадывая совсем, что зачинает в голове и в душе отрока подобное пожару внутреннее движение, пояснила:

— У богатого, ну вот у тебя, и не на себе, а может, в скрыне лежат сорочки. И иной погорел, нагой выскочил из избы, или иная беда какая, ему и помощи!

Он серьезно выслушал материны слова, кивнул головой. Потом, уже без связи с тем, что говорилось в тот миг, много спустя по времени, переспросил:

— А тому, кому надо все отдать, у него что, никакой совсем нет оболочкины?

И мать, не поняв даже сперва, о чем это спрашивает маленький Варфоломей, опять пояснила, не думая, просто так:

— Ну, худая какая, совсем рваная, с плеч валится. Видал, давеча убогая приходила с дитем?

— А ты дала ей что-нибудь? — требовательно спросил Варфоломей, подымая светлый взор.

— Дала старую оболочину! — оттолкнула мать и перевела речь на другое.

А отрок Варфоломей все думал, сдвигая светлые бровки, и даже что-то шептал неслышно, шевеля губами и кивая сам себе головой.

«Событие» совершилось через неделю. Был весенний праздничный день.

Приглашенный батюшка отслужил обедню в домовоей церкви. На дворе, прямо под открытым небом, расставив столы со снедью, угощали дворню. На селе тоже гуляли, издали было слышно, как красиво выются в воздухе девичьи голоса, славящие языческого Ярилу. И дети, принаряженные, были отпущены погулять, одни, без няниного догляду, тем паче Мария надеялась, что Варфоломей и сам посторонит от всякого разгульного сборища. («С теми, кто иже суть сквернословцы и смехотворцы, отнюдь не водворяшесь», — писал Епифаний, поминая детские годы Сергия.) И вдруг, — Мария как раз проходила по двору, отдавая распоряжения слугам; дружина, дворня и холопы шумно ели и пили, уже и пиво сделало дело свое, потные лица лоснились, сверкали на солнце, кто-то хрипло затягивал разгульную, его останавливали, дергая за рукава, — как вдруг испуганно ойкнула одна из сенных девок, и боярыня, неволею остановясь, выглянула за ворота. По дороге бежал Варфоломей, как-то странно одетый. Она даже не сообразила сразу, а потом, всмотрясь из-под ладони, поняла: он был в развевающейся безрукавой детской чуге, надетой на голое тело. Неужели раздели?! Или свалился куда? Но подбегавший, с горящим взглядом, Варфоломей совсем не плакал, а, казалось, испытывал торжество, и так, стремглав, с бегу, угодил в материн широкий подол и расставленные объятия.

— Что с тобою? Где это ты? Что ты? Кто тебя?! — испуганно спрашивала Мария, углядев, что сын был весь в крови, синяках и ссадинах. Меж тем как сзади, за воротами, уже гремела песнь и разливался выходящий из берегов праздничный пир.

— Мама! — торопливо, взхлеб, сказывал Варфоломей, глядя на нее сияющими глазами. — А я сделал по Христу! Сперва-то не по Христу, пояснил он скороговоркой, обтирая ладонью разбитый нос, — а после — по Христу! Мальчик был такой рваный, маленький, а тут праздник, гуляют все! И я ему отдал свою сорочку, и чугу подарил тоже! На мне Петюнина теперь!

Ведь так? Так ведь?! — спрашивал он, пока мать, подхватив сына на руки, уносила его поскорее в терем.

В горницу вбежала нянька, принявшаяся обтирать боярчонка мокрой ветошкой, откуда-то сбоку появился отец, и оба родителя, переглядываясь, дослушивали горячую сбивчивую речь меньшого своего, кажется, слишком буквально понявшего Христову заповедь. И тут... Как бы вы поступили на ее месте? Можно бы было и обругать, и остудить; можно бы и послать с розыском, воротив назад отданное несмысленным дорогое платье... Но когда в доме принимают тьму нищенок и калик перехожих, когда боярыня сама читает детям Евангелие... И все одно, можно бы было! И остудить, и обругать, и с розыском послать, и выпороть даже! Да и так ли просто было все, о чем говорил Варфоломей?

— А почему у тебя рот в крови? И синяки? И ссадины?

— А это... это... Ну, подрались тамо пареньки! — частоговоркой оттолкнул Варфоломей, хмурясь и отворачивая лицо. — Не надо о том, мама! попросил он, словно бы взрослый. И Мария, скорее сердцем, чем умом, догадав, как должно ей поступить, охватила льняную головенку несмысленныша, прижала к груди и стала безотрывно целовать, приговаривая сквозь смех и слезы:

— Кровиночка, ягодиночка моя, простушечка моя милая! Ты хорошо поступил, хорошо!

И Варфоломей уверился, что поступил и вправду хорошо, и должен так поступать и впредь, и только непонятно было, отчего мама плачет? Ему самому было и невдомек, что он отдал прохожему мальчику лучшую, очень дорогого шелку, праздничную сряду свою.

О том, что и как произошло в тот день на деревне, Мария узнала лишь много спустя, от любопытствующей дворни, и, узнав, уже не стала ни о чем расспрашивать Варфоломея, ни искать пропажу, ни наказывать виновных.

Только рубашки Варфоломею начали давать простые, белополотняные, или даже посконные, серые, тем паче что он теперь вновь и вновь находил нуждающихся, с кем должен был, по его мнению, поделиться имуществом, согласно заповеди Христа.

Дело же створилось поначалу совсем не христианское, ибо все началось с самой жестокой драки, в каких Варфоломей, пожалуй, еще и не участвовал до той поры.

Они с Петюшей, которого Варфоломей заботливо держал за руку, принаряженные и умытые, дошли до околицы и побрели лугом, на звонкие девичьи голоса, поглядеть на хоровод. В низинке, по-за огородами, уже близь самой березовой рощи, где девки ходили хороводом, а парни табунились невдалеке, высматривая издали своих зазноб, маленькие боярчата натолкнулись на стайку ребятишек-пареньков, и те тотчас начали задираться, кричать обидное, показывать рога и всячески дразнить захожих «чужаков» (с боярчатами и дворовыми деревня, как водится, враждовала). Оно бы и обошлось, тем паче что Варфоломей сам никогда в драку не лез. Ну, попихали бы друг друга, и разошлись. Но на беду у деревенских малышей оказался предводитель, подросток, года на четыре старше прочих, который, на правах старшего, учил малышей озорничать, а те глядели ему в рот, готовно исполняя всякое повеление «взрослого».

Дюжина ребятишек окружила двух боярчат, насмехаясь над ихней одежкой, над чистотою умытых лиц. Старшой потянул Варфоломея за рубаху, словно бы рассматривая иноземное портно, и намеренно больно ущипнул при этом. И все бы ничего, и это бы стерпел Варфоломей. Но вдруг старший мальчик, дурачась, хлопнул себя по лбу, и воскликнул:

— Ой! Парни, а я смекнул, почто они в нашу деревню зашли! Наших оделять! Сейчас одежку раздавать будут! — Он вытолкнул из толпы рваного-рваного маленького мальчика, оболочина коего состояла, почитай, из одних ремков, и приказал:

— Делись с ним! Ну!

Боярчата молчали, ошеломленные. Варфоломей еще не сообразил, что ответить, маленький мальчик-оборвыш готовился уже зареветь с испугу во весь рот, но старшой ребячьей дружины не дал времени ни тому, ни другому, — ухватив Петюню за шиворот, властно повелел:

— Снимай порты!

Схватив он Варфоломея, неведомо еще, как бы тот и поступил. Возможно, снял чугу и отдал. Но Петюню, которого он опекал, водил за руку, сам сажал на горшок и умывал по утрам, — братика Петюню отдать на поругание деревенским было невозможно.

— Пусти! — рывкнул Варфоломей и, покраснев, кинулся в драку, изо всех сил пихнув кого-то из малышей, стоявших у него на дороге. Замелькали кулачки, сопящие, неуклюжие малыши, размахиваясь, словно взрослые парни, идущие «стенкой», деревня на деревню, отчаянно мешая друг другу, полезли бить боярчат. Петюня заревел. Варфоломей, — он был сильнее прочих ребят его возраста, — подогретый ревом и слезами брата, сжав зубы, пихал, бил, опрокидывал друг на друга малышей и явно уже одолевал неприятелей, когда старший мальчик порешил тоже вмешаться в драку. Он легко отбросил Варфоломея и, глумясь, принялся было раздевать второго, плачущего боярчонка. Но Варфоломей с тихим утробным воем кинулся на него со всех ног. Отброшенный снова, он вновь вскочил и, не оправляясь, не стряхнув пыль и грязь с лица, опять, словно гончий пес на медведя, кинулся на старшего мальчика. Тот ударом по уху сбил было Варфоломея с ног, но боярчонок уцепился за ногу обидчика и рванул ее на себя. Старший мальчик полетел, вскочил и, озлясь, стал бить и пинать Варфоломея нешуточно. Но и Варфоломей уже был в забытьи. Не отдать на поругание Петюню, а там — хоть умереть! — была его единая мысль, когда он, получая и нанося удары, раз за разом кидался на крутые кулаки старшего мальчика. И когда тот, схватив Варфоломея в охапку, начал было крутить ему руки, Варфоломей совершил последнее, отчаянное: впился зубами в предплечье обидчика, и впился нешуточно. Ухватя упругую горячую плоть во весь рот, он так сжал зубы, что они с хрустом вошли, погрузились в мягкое, и рот сразу наполнился сладковато-соленым и пахучим, что было вкусом и запахом крови. И, почуяв это, Варфоломей безотчетно еще больше сжал зубы, не ощущая ударов по голове и плечам, и услышал новый глубинный хруст живого мяса, и новая свежая волна крови хлынула ему на рубаху и в рот. И тут он услышал вой, жалкий вой испуганного старшего мальчика, который уже не тискал и бил, а отпихивал Варфоломея, стараясь и не умея скинуть его с себя. Они оба катались покато по пыльной траве и вот мальчик рванулся, почти оторвав кусок своего же мяса, и, с криком, заливаясь кровью, побежал в гору, в деревню, оставя ватагу испуганных малышей.

Варфоломей, еще не понимая, что остался победителем, кинулся бить других. В горячке

он совсем не чувствовал боли от полученных ударов, только челюсти конвульсивно сжимались от непривычного соленого вкуса, и потому он не кричал, а рычал, и малыши, видя его кровавое, неистовое лицо, с плачем кидались наутек. Походя, не видя даже, он сбил с ног и опрокинул навзничь давешнего драного малыша, поставив и ему порядочный синяк под глазом, и когда опомнился, наконец, и оглянулся кругом, на поле битвы их оставалось всего трое: он, Петюня, и маленький драный мальчик, горько рыдающий, размазывая грязь по разбитому лицу. Петюня плакал тоже, тоненько скулил, скорее от страха, чем от побоев, и Варфоломей стоял один, постепенно опоминаясь, начиная понимать, что остался неожиданным победителем, и соображая

— что же ему делать дальше?

— Ты иди! — строго приказал он драному мальчику. Но тот, с ужасом глядя на залитое чужой кровью страшное лицо боярчонка, прикрыл руками голову и заплакал еще сильнее! Ждет удара! — понял Варфоломей. Теперь уже ему, победителю, становилось стыдно. Этот «ворог», малыш, меньше Петюни, был совсем не виноват в драке. Не он требовал раздеть Петюню, его самого вытолкнул вперед, глумясь, взрослый мальчик, и чем же заслужил он, что теперь сидит на земле, испуганный и избитый, в окончательно разорванной драгине своей?

— Ну, не реви! — примирительно выговорил Варфоломей, нерешительно переступив с ноги на ногу. Он не видел самого себя, не видел своего рта в человеческой крови и не понимал, что тот, попросту, животное боится.

— Не реви, ну! — требовательней произнес Варфоломей, наклоняясь к малышу, но тот выставил ладони вперед и заверещал сильнее.

— Чего ты? — удивился Варфоломей, пробуя поднять мальчика на ноги.

— Да-а! А ты укусишь! — оттолкнул тот с ужасом в глазах. Варфоломей обтер рот тыльной стороной ладони, увидел чужую кровь на руке и понял.

Темный румянец стыда залил ему щеки.

— Ты... — начал он, — ты тово... Не укушу я... — Мальчик стоял перед ним тощий, маленький, разорванная рубаха решительно сползла у него с плеч, и горько плакал. Деревенские ребята все удрали, да и кому из них нужен был он, сын бродячей нищенки, ничей родич и ничей товарищ!

Теперь Варфоломею стало окончательно стыдно. Не так представлял он себе поверженного врага! И тут-то, неволею подсказанная некогда матерью, а ныне — взрослым обидчиком, пришла ему в голову благая мысль.

— Петюня! — требовательно позвал он. Брат, утирая нос, подошел ближе.

— Петюня! — приказал Варфоломей, — сними чугу! — Братик, не понимая ничего, послушно снял с плеч верхнюю боярскую оболочину. Варфоломей скинул свою чугу, стащил рубаху с плеч, и, решительно сорвав с малыша остатки рванины, начал натягивать ему через голову хрусткий шелк.

— Пусти! Руки подыми! Повернись! Так! Теперь так! — приказывал он, обдергивая рубаху на малыше и застегивая ему пуговицы ворота. Оборвыш, перестав плакать и приоткрыв рот, во все глаза, с смятением удивлением смотрел на Варфоломея. Варфоломей, одев рубаху, накинул на себя чугу братца, а свою, критически осмотрев разом похорошевшего в шелковой рубахе малого отрока, властно протянул тому, повелевая:

— Одень! — теперь, в этот миг, он очень помнил, и даже про себя, в уме, повторил Христову заповедь:

— «Егда просят у тебя верхнее платье, отдай и срачицу» — и сам удивился, почуввав, как это приятно, давать вот так, не считая, полною мерой! Малыш стоял перед ним растерянный, притихший, в шелковой, никогда прежде не ношенной им рубахе, в дорогой чуге, что доставала до самой земли.

— Иди теперь! — приказал Варфоломей, — и скажи матери, что я, Олфоромей Кириллыч, сам подарил тебе оболочину свою! Понял?! — Мальчик робко кивнул головой, все так же растерянно глядя на Варфоломея, и пошел, медленно, все оглядываясь и оглядываясь, и только уже дойдя до полугоры и поняв, что над ним не смеются, подхватил полы чуги руками и, заревев, со всех ног побежал домой, все еще мало что соображая и боясь, что вот сейчас его догонят, побьют и отберут дорогое боярское платье.

Варфоломей, проводив благодетельствованного им малыша глазами, дернул брата за

руку:

— Пошли! — избитому и полураздетому, ему уже было не до хоровода.

Выбравшись на дорогу, близь дома, он оставил Петюню ковылять, а сам стремглав побежал вперед, торопясь первым рассказать все матери, и уже сам почти забывая, несмотря на саднящую боль, про драку, предшествовавшую его первому духовному подвигу.

Глава 11

Мальчик из боярской семьи долго может не замечать наступающего оскудения. Ну, разве со стола исчезают осетрина и каша сорочинского пшена, и мать решительно говорит, что своя, пшенная, ничуть не хуже! И Стефан молчит, супясь, ест простую пшеничную, даже с каким-то остервенением. И изюм становится редок, его дают детям по маленькой горсточке только по праздничным дням. И когда Варфоломей повторяет свой поступок еще и еще раз (уже без всяких драк он с той поры почитал нужным делиться своим платьем с неимущими), его, отпуская из дому, переодевают из белополотняной в простую холщовую рубаху, при этом нянька, пряча глаза, бормочет, что так способнее, не замазает дорогой, а если замазает, дак легче и выстирать...

И с конями творится что-то неладное, их все меньше и меньше на дворе. И уже пошел счет: кому какая принадлежит лошадь, и им, малышам, достается на двоих один конь, пожилой спокойный мерин, да и того весной забирают пахать поле. Однако перемены в еде и рубахах не трогают Варфоломея совсем.

Может, только умаление конского стада он и замечает. Надо сказать, что в те века и в те годы, о коих идет речь, любому знатному пройти пешком иначе, чем в церковь, было зазорно. Пеши ходили простолюдины, боярин же, воин, «муж», за всякой безделицею, пусть хоть двор один миновать, вскакивал на коня. Но разве ему, Варфоломею, в самом деле жаль было своего коня для братика Петюши?!

Иных потерей и убытков попросту не видеть было младому отроку. А когда мать принималась, сказывая, штопать и перешивать свои платья, так становилось даже как-то уютнее и милее. Можно было подлезть ей под руку и, внимая рассказу, глядеть, как ловко ныряет в складках переливчатой ткани тонкая острая игла а неустанных материнских пальцах.

Другое дело Стефан. Тот оскудение дома переживал куда болезненнее родителей. Его корбило, когда отец брался за топор или сам запрягал коня.

Вопросы и взгляды сверстников задевали его кровно, и он нарочито вырабатывал в себе гордость во всем: в походке, в посадке верхом чуть-чуть небрежной, — в надменном прищуре глаз, в том, как сказать, как ответить, в презрении, наконец, к «земным благам» (с горем чувствуя все же, что презирать блага земные, их не имея, это не то же самое, что отбросить имеющиеся в изобилии блага, как поступил Алексей, человек Божий, или индийский царевич Иосаф...) Намедни один из приятелей, Васюк Осорьин, похвастал новым седлом с бирюзою и красными камнями, купленным в Орде. Стефан хотел было снебрежничать, но загляделся невольно на чудную работу неведомого мастера из далекой Бухары, на извивы узора и тонкое сочетание темной кожи, золотого письма и небесно-голубых, в серебряной оправе, пластин дорогой бирюзы, среди которых темно-красные гранаты гляделись каплями пролитой крови...

— Твой батька с самим Аверкием в княжой думе сидит, дак мог бы, поди, и тебе покупать чего поновей! — небрежно изронил Васюк, кивнув на старенькое седло Стефана. Стефан отемнел ликом, скулы свело от ненависти, — хотя Васюк явно и не издеваться хотел, а так, попросту с языка сорвалось, — не ответив, ожег коня плетью и пошел наметом, не разбирая пути, нещадно полосуюя бока ни в чем не повинного гнедого и не чая, как, с какими глазами воротит он завтра в училище?

Оружный холоп, далеко отстав от молодого господина, напрасно кричал ему погодить. Стефан ничего не слышал, горячая кровь била в уши, и только уж подлетая к дому, утерил скок взмыленного скакуна, начав приходить в себя. И тогда жаркий стыд облил его всего: как это он, из-за седла какого-то, из-за собины, проклятой собины! Прельстили... драгие камни!

Его! Книгочея!

Во дворе стояли кони, возки, телеги. По наряду признал, что в доме Тормосовы. Приехал,

значит, и Федор, родня ему, поскольку был женат на старшей сестре, и Иван Тормосов, младший брат Федора. И баб, верно, навезли, и холопов! — подумал Стефан, расседывая и вываживая коня. Он стеснялся взойти в горницу, чтобы гости не увидели гнева на его лице и не стали трунить над ним, как нередко позволял себе, на правах старшего, Федор Тормосов. В горнице меж тем шел неспешный спор — не спор, беседа — не беседа.

За столом, супротив Кирилла, сидели оба Тормосова, Иван с Федором, Онисим, старый Кириллов, прискакавший из Ростова с тревожною вестью (уже дошли слухи о готовящейся казни князя Дмитрия в Орде), свояк Онисима, Микула и еще двое родичей Тормосовых. Был и протопоп Лев с сыном Юрием, приятель хозяина. На самом краю стола примостились, не открывая рта, старший оружничий Даньша с ключником Яковом.

Уже отъели стерляжью уху, уже и от мясных блюд, от порушенного гуся с капустой и от белой праздничной каши отваливали гости, протягивая руку то к моченому яблоку, то к сдобным заедкам, а то и запуская ложку в блюдо с киселем. Слуги разливали душистый мед и квасы. Мария обнесла гостей дорогим красным фряжским в серебряных чарах, и каждый, принимая чару, степенно вставал и воздавал поклон хозяйке дома, а захмелевший Онисим даже и целоваться полез, и Мария, подставив ему щеку:

— «Ну будет, будет!», мягко останавливала и усаживала гостя...

Разговоры, однако, велись за столом невеселые. Дмитрия в Орде казнят, это было ясно для всех, и кто станет нынче великим князем?! А от дел господарских, далеких, — ибо Тверь ли, Москва одолеет, Ростову все одно придет ходить в воле победителя, — перешли уже к нынешней тяжелой поре, хлебному умалению, разброду во князьях, к тому, что смерды пустились в бега, прут и прут на север, подальше от княжеских глаз, что народ обленился, ослаб в вере, в торгу поменело товаров и дороговь стоит непутем, бесермены за любую безделицу прошают цены несусветные, а холопы сделались поперечны господам и ленивы к труду.

— Надежды на Господа одного! — повторял уже в который раз Кирилл. — С той поры, как князь Михайло Ярославич, царствие ему небесное, мученическую кончину прия, так ныне надежда на Господа одного! По любви, по добру надобно...

Федор Тормосов, отвали к резной спинке перекидной скамьи и постукивая загнутым носком мягкого тимового сапога по половице, посмеиваясь, в полсерьеза, возражал тестю:

— Бог-то Бог, да и сам не будь плох! Ты вон полон дом нищелюбов кормишь, а что толку? От Господа нам всем, да и им тоже, надлежит труды прилагать в поте лица, да! Холопов-то не пристрожишь, они и вовсе работать перестанут!

— Ну, этого ты, Федор, не замай! Милостыню творить по силе-возможности сам Иисус Христос заповедал! — строго отмолив Кирилл. (Он не любил, когда зять начинал вот эдак подшучивать над его падающим хозяйством.) Но Федор, играя глазами, не уступал. Вольно развалясь на лавке, раскинув руки — вышитая травами рубаха в распахнутой ферязи сверкала белизной, — вопрошал:

— По тебе, дак и всех кормить даром надоть, а с каких животов?!

Тут и Иван Тормосов подал голос:

— Церкви Христовой достоит спасать души, а не кошели нераскаянных грешников!

— Почто кошели? С голоду мрут! — возвысил голос Кирилл (в этот миг Стефан тихо вошел в палату и стал у притолоки).

— А даже ежели он умирает с голоду! — наступал Федор. — Но жаждет хлеба земного, а не манны небесной, что с им делать церкви? Сам посуди!

— Милостыню подают не с тем, чтобы плодить втуне ядящих! — вновь поддержал брата Иван. — Погорельцу тамо, увечному, уже во бранях за ны кровь свою пролия, сирому... А коли здоровый мужик какой ко мне припрет, иди, работай! А нет, — с голоду дохни! Куска не подам!! Да и прав Федор, церковь души пасет, а не оболочину нашу брентную! Отец протопоп, изрони слово!

Отец Лев, что сосредоточенно грыз гусиную ногу, отклонился, обтер тыльной стороною ладони рот, прокашлял, мрачно глядя из-под мохнатых бровей, повел толстою шеей, тряхнув густой гривой павших на плеча темно-русых волос, и протрубил басом:

— Речено бо есть: «Не хлебом единым, но всяким глаголом, исходящим из уст Божиих,

жив человек!» — сказал, и, утупив очи, вновь вгрызся в гусиную ногу.

— Вот! — поднял палец Иван Тормосов. — Не хлебом единым! Это кудесы ворожат, мол, взрежут у кого пазуху, достанут хлеб, да серебро, да иное что, лишь бы рты да мошну набить, об ином и думы нет! Дам хлеб, — беги за мною! Словно люди — скот безмысленный!

— И Христос накормил пять тысяч душ пятью хлебами! — сердито бросил Кирилл.

— Накормил! — Федор уже не посмеивался, а спорил взабожь. Качнулся вперед, бросив сжатые кулаки на столешницу. — Дак не с тем же, чтобы накормить! А чтобы показать, что оно заботы не стоило! Они же люди, слушать его пришли! А тут обед, жратье, понимаешь... Ну! Он и взял хлебы те: «Режьте! На всех хватит!» Они, может, после того сами, со стыда, делиться стали меж собой! Кто имел, — другим отдал! Может, тут и чуда-то никакого не было! И дьяволу Христос то же рек в пустыне! Вон спроси Стефана, он у тебя востер растет!

Стефан, который так и стоял, словно приклеенный к ободверине, заложив за спину руки, пошевелил плечом, и когда к нему обратились лица родителя и сидящих, буркнул угрюмо и громко:

— Я в монахи пойду!

— Вырасти еще! — остывая, возразил отец.

— Всем бы нам в монастырь идти не пришлось! — задумчиво отозвался Иван Тормосов. — Худо стало в Ростовской земле!

Онисим, что в продолжение спора тупо сидел, уставя взор в тканую, залитую соусами и медом скатерть, тут поднял глаза, крепко потер лоб ладонью и вымолвил, кивнув:

— Братьев стравливают! Задумали уже и град делить на-полю, вот как!

— Нейметце... — процедил сквозь зубы Юрий, протопопов сын, никого не называя, но председателем и так было понятно, кто мутит воду, внося раздор меж молодых ростовских князей, Константина с Федором.

— А Аверкий? — спросил доньне молчавший Микула.

— Что Аверкий! — пренебрежительно пожимая плечами, отозвался Федор. Ты не можешь, и он тоже не может, не на кого опереться!

Наступила тишина. И Кирилл, махнувший рукою сыну — уходи, мол, тамо поешь! не время, не место! — тоже поник головой. Опереться, и в самом деле, было не на кого, ежели сам епарх градской, тысяцкий Аверкий, бессилен что-либо сотворить.

— А коли что... убегать... — задумчиво довел мысль до конца Федор Тормосов. — На Белоозеро али на Сухону, на Двину! Земли тамо немеряны, места дикие, богатые... Лопь, да Чудь, да Югра, да прочая Самоядь...

— Уму непостижимо! Нам, из града Ростова! — супясь, пробормотал Микула.

— И побежишь! — невесело пригубивая чашу хмельного белого боярского меду, отозвался Онисим, — и побежишь... — Он вновь потерял нить разговора, и, пролив мед, свесил голову.

— Детки как? — прерывая тягостные думы сотрапезников, произнес отец Лев, отнесясь к хозяину дома и обтирая пальцы и рот нарочито расстеленным рушником. (Стефана сестра Уля, помогавшая матери, на правах взрослой и замужней жонки взъерошив ему волосы, уже увела кормить.) Кирилл, востепенувшись, отозвался:

— За Варфоломея боюсь! Так-то разумен, не сказать, чтобы Господь смысла лишил, и внимателен, и к слову послушлив, и рукоделен: даве кнутик сплел, любота! Лошадей любит... Да вот только странен порою! Стал ныне нищим порты раздавать! Младень, а все по Христу, да по Христу... И поститься уже надумал, за грехи, вишь... Не стал бы юродом! У меня одна надея. Стефан! Был бы князь повозрастнее, представить бы ко двору, с годами и в свое место, в думу княжую... А ныне... Невесть что и будет еще!

Глава 12

Уже позади Псалтирь, Златоуст, труды Василия Великого и Григория Богослова. Между делом прочтены Амартол, Малала и Флавий. Проглочены Александрия, Девгениевы деяния и пересказы Омировых поэм о войне Троянской. Стефан уже почти одолел Библию в греческом переводе, читает Пселла, изучая по его трудам риторику и красноречие, а вдобавок к

греческому начал постигать древнееврейский язык. Уже наставники не вдруг дерзают осадить этого юношу, когда он начинает спорить о тонкостях богословия, опираясь на труды Фомы Аквината, Синессия или Дионисия Ареопагита. А инок Никодим, побывавший на Афоне и в Константинополе, подолгу беседует с ним, как с равным себе.

И уже прямая складка пролегла меж бровей Стефана, решительным ударом расчертив надвое его лоб. Уже он, пия, как молоко, мудрость книжную, начинает задумывать о том, главном, что стоит вне и за всяким учением и что невестимо ускользало от него дондесь: о духовной, надмирной природе всякого знания и всякого деяния человеческого, о чем не каждый и священнослужитель дерзает помыслить путем...

И как же больно задевают его между тем тайные уколы самолюбия от немыслимых мелочей! От того, что не сам он надел простую рубаху вместо камчатой, а мать, с опусканием ресниц и с дрожью в голосе, повестила ему, что не на что купить дорогого шелку... Что не из седого бобра, а всего лишь из выдры его боярская круглая шапочка, и не кунья, как у прочих боярчат, а хорьковая шубка на нем. Что седло и сбруя его коня, хоть и отделаны серебром, но уже порядочно потертые, и что ратник, сопровождающий его и ожидающий с конем, когда Стефан кончит ученье, увечный седой старик, а не молодой щеголь, как у прочих. И как возмущают его самого эти низкие мысли о коне, платье, узорочье, от коих он сам все-таки никак не может отделаться, и краснеет, и бледнеет от насмешливых косых взглядов завидующих его успехам сверстников. А те, словно зная, чем можно уколоть Стефана, то и дело заводят разговоры о конях, соколиной охоте, богатых подарках родителей, хвастают то перстнем, то шапкой, то золотой оплечной цепью, подаренной отцом, то — как давеча Васюк Осорин — новым седлом ордынским, то оголовьем, то попоною или иной украсой коня. И — даром, что рядом иные дети, в посконине, в бурых сапогах некрашеной кожи, а то и в порсинах, дети дьяконов и бедных попов! Все одно — стать первым! Иметь все то, что имеют богатые сверстники, и тогда уже отбросить, отвергнуть от себя злое богатство, гордо одеть рубище вместо парчи и злата!

Он боролся с собою, как мог. Поминал, что любимый им Михаил Пселл, отбросив пышное великолепие и место первого вельможи двора, пошел в монахи... Но это вот «отбросив» и смущало. Было что бросать! Наставники прочили ему высокую стезю духовную, сан епископа в грядущем. А он? Он хотел большего! Чего? Не понимал еще сам.

Все чаще он, отсекая от себя возможность духовной карьеры, ввязывался в безумные споры о самой сущности церковного вероучения. В воспаленном мозгу подростка выросли и рушились целые пирамиды невозможных идей, среди которых одна горела огнем неугасимым — спасти Русь! А что Русь гибнет, это видел он по себе, по хозяйству отца, по граду Ростову, и уже не верил, что в Твери, в Москве было иначе. Нет! Иначе не было! Всюду распад, упадок, разномыслие и кровавая борьба пред лицом мусульманской Орды и грозно надвигающегося католического Запада. Он лишь раз видел митрополита Феогнота, хотел поговорить, и — оробел, не смог. А тот, естественно, не заметил высокого юношу с огненным, стремительным лицом в толпе учащихся боярчат и детей пастырских. Русь гибла, да, да! Гибла Русь, как и его отец, как и град Ростовский, и должно было совершить нечто великое, чтобы поднять, разбудить дремлющий дух народа!

...Он спускался вниз по крутой узкой лестнице, что вела на полати храма, в книжарню, куда он только что относил толстый том соборных уложений, и, минуя двери училищу, придержал шаги. Урок кончился, и наставник древнееврейского, отец Гервасий, поучал очередного ленивца:

— Сыне мой! Достоит прилежно учить язык избранного самим Господом народа!

В келье, откуда, один по одному, выходили ученики, было душно. В маленькие оконца, сквозь желтые плиты слюды, узкими лучами проходил скупой свет. Тяжкие черные тела книг на поллицах, казалось, увеличивали тесноту и мрак.

Около кафедры стояли, беседуя, иеродиакон Евлампий и афонский старец Никодим.

Стефан встряхнул кудрями, словно просыпаясь, пропустив последнего из учащихся, ступил в келью и спросил:

— Почему только одни евреи — избранные? А мы?

— Тайна сия велика есть! — отмолвил, прищуриваясь, отец Гервасий. Он застегивал

медные жуковинья толстой книги и взглядывал исподлобья на строптивного отрока, который уже многожды ставил его втупик своими вопросами. Афонский монах с интересом поворотил лицо к Стефану.

— Сказано Иисусом о пришедших в разное время, и те, кто после всех явился, равную плату получили за труд от хозяина вертограда обительного! продолжал, возвышая голос, Стефан. (Его уже понесло. Мысль, сложившаяся у него в голове в стройное целое, должна была излиться немедленно, все равно перед кем.) — И митрополит Иларион, в «Слове о законе и благодати», глаголет то же: мы народ, восприявший благодать Божию, подобно тому, как Рахиль пришла после Лии. И милость, равно, как и казни, и гнев Господень равно с прочими христианами и языками нань распростерты!

Иеродиакон одобрительно склонил голову. И тут бы и остановиться Стефану, но остановиться он уже не мог. С ненавистью глядя в лицо Гervasия, как бы придавленное сверху вниз, с бороною, разлезшейся вширь, глядя в его маленькие острые глазки (и не первенство народа иудейского он защищает, а свое право быть вторым, тихим, незаметным, свое право таиться за чьею-то спиною, свою безнаказанность... О-о, он уцелеет даже под бессерменами! От таких-то и гибнет Русь! Так вот, на тебе! На тебе!):

— Наоборот! Иудеи отступили от Господа! Сам же Иисус сие изрек: «Отец ваш диавол, и вы похоти отца вашего хотите творити: он человекоубийца бе искони, и во истине не стоит, яко несть истины в нем, егда глаголет, — лжу глаголет, яко лжец есть и отец лжи!» — сказано в Евангелии от Иоанна. И Иегова, это дьявол, соблазнивший целый народ! Народ, некогда избранный Богом, но соблазненный золотым тельцом и приявший волю отца бездны! К чему суть заповеди Ветхого завета? К чему речено, что прежде рождения человека предначертано всякое деяние его? Что защищают они? Мертвую косноту безмысленного зримого бытия, право человека на безответственность в мире сем! Ибо, ежели до рождения предуказаны все дела его, то нет ни греха, ни воздаяния за грех, нет ни праведности, ни праведников, а есть лишь избранные и — отреченные, и только!

Тому ли учил Христос? Не вдобавок к старым, а вместо них дал он две всего две! — заповеди: «Возлюби Господа своего паче самого себя, и возлюби ближнего своего, яко же и самого себя!». Не отвергал ли он, с яростию, мертвую внешнюю косноту обрядов иудейских? Не с бичом ли в руках изгонял торгующих из храма? Не проклял ли он священников иудейских, говоря: «Горе вам, книжници и фарисеи»? Не требовал ли он деяния ото всякого, как в притче о талантах, такожде и в иных притчах своих? Не показал ли он сам, что можно поступать так и иначе, не воскрешал ли в день субботний, не прощал ли грешницу, не проклял ли древо неплодоносное? Не он ли заповедал нам, что несть правила непреложного, но есть свыше данное божественное откровение?

Не он ли указал на свободу воли, данную человеку Отцом Небесным? И что с каждого спросится по делам его? Как по-гречески «покайтесь»? Ежели перевести на нашу мольвь? «Покаяти» означает «передумать», вот! Думать и передумывать учил Христос верных своих!

Лицо Гervasия пошло пятнами. Он стукнул посохом:

— Ветхий завет принят соборно церковью!

— Соборно не принят! — возразил Стефан. — Токмо преданием церковным!

Иеродиакон и старец Никодим посерьезнели.

— Скажи, отче! — не отступал Стефан. — Бог-Отец, это и есть Иегова?

Гervasий шумно дышал, не отвечая.

— Ежели Иегова, то сим нарушается единство Троицы: Бога-Отца, Сына и Духа Святого! И сам же ты, отче, знаешь, каково тайное имя Иеговы: злоим, что значит: бездна! Ничто!

— Ересь! Ересь Маркионова! — вскричал Гervasий, — и слушать не хочу речи сии!

— Что же ты, сыне мой, — спокойно спросил афонский старец, отринешь и Ветхий завет, и пророков, и Псалтирь, и иные боговдохновенные книги?

— Не отрину, но и от учения Господа нашего, Иисуса Христа, не отступлю! — бледнея, отвечал Стефан. — И паки реку: нет избранных пред Господом! Но по делам и по грехам казнит или милует ны, обращая милость свою равно на все народы!

Но уже все трое смотрели сурово, и Стефан понял, постиг вдруг, что он преступил незримую черту, далее коей не должен был дерзать.

— Утвержденное Соборами, как и принятое обычаем церкви Христовой не тебе ниспровергать, сыне мой! — с мягкой твердостью заключил Никодим. — А о сказанном тобою реку:

— чти прилежнее Златоуста и Василия Великого! Иди и покайся в гордыне своей! Передумай, сыне! — присовокупил он с чуть заметной улыбкой.

Они лежали вечером вдвоем на пригорке за домом. И Варфоломей, коего не часто баловал беседой старший брат, во все уши внимал сбивчивому рассказу Стефана о своем споре и о том невольном открытии, что Ветхий и Новый заветы противоположны друг другу и что, высказав это, он оказался, нежданно для себя, приверженцем ереси Маркионовой.

— Наверно, я не прав тоже, — говорил Стефан, покусывая травинку, — но ведь послан же он был к заблудшим овцам стада Израилева! К заблудшим! А иудеи не приняли его! Они и ране того уклонялись, служили золотому тельцу, и Господь казнил их жезлом железным.

— Степа... А что такое золотой телец? Это такой бык из золота, да? торопливо переспросил Варфоломей, боясь что брат засмеет его или потеряет интерес к разговору и уйдет. Но Стефан, вопреки страхам Варфоломея, объяснил терпеливо и просто:

— Золотой телец — это само богатство, понимаешь? Приверженность к земному, когда земное, собину всякую, еду, одежды, золото, серебро, коней, считают главным, самым важным в жизни, а все другое — о чем люди думают, духовное всякое, — все это уже пустым, ненужным, или вторичным, что ли...

— И что, жида, они все так только и считают? — спросил Варфоломей.

— А! — зло отмахнул головою Стефан. — Жида, жида... Это во всех нас!

Та и беда с нами! Что не духовное, не честь, ум, совесть, волю Господню, а земное богатство поставили богом себе! И у нас кто не дрожит за собину? За порты многоценные, стада коневые, терема, земли, серебро?.. И все мало, мало... Надо прежде себя очистить от скверны! К чистому нечистое не пристанет! Вот, тебя переодели в посконные рубахи, не чуешь разве обиды в том?

— Нет! — простодушно ответил Варфоломей. — В них тепло! И няня бает, что так способнее! Не все равно разве, что на себе носить?

Стефан задумчиво промолчал, погода, вымолвил тихо, не глядя на брата:

— Это ты днесь так баешь, а когда подрастешь... — Он помолчал, ожесточенно кусая стебелек, окончил круто:

— Сам не узришь, другие укажут!

— Степа! — решился спросить Варфоломей. — А ты ведь самый умный в училище? Ну, из учеников! — быстро поправился он. — Ты тоже должен яко Христос презирать всякое тленное добро, которое мыши и черви едят, как учил Христос, да?

В высоте, недвижимые, висели облака над землею, и едва слышно гудел, осматривая чашечки цветов, труженик-шмель. Стефан, не отвечая, закрыл лицо ладонями и повалился ничью в траву.

Глава 13

По первому снегу, когда укрепило пути, дошла весть о казни Дмитрия Грозные Очи в Орде. Отцы съезжались, толковали со страхом: что-то будет теперь, чего ждать? Не стало б нахождения иноплеменных! Стефан знал, что убийство — грех, но с того часа, год назад, когда Дмитрий в Орде, зная, что идет на смерть, вырвал саблю и покончил со своим обидчиком, убийцей его отца, князем Юрием Московским, с того часа Дмитрий стал тайным героем Стефана. Он один отважился на действие. Разорвал порочный круг пустопорожних речей, речей, и речей, которые он досыти слышит дома и в училище и которые ни к чему не ведут: так же едят, пьют, закусывают, так же копят и проживают добро, жалуются на неурожаи, друг на друга, на князей, на татар, на трудное время, на то, что в одиночестве ничего и нельзя вершить... И сколь их ни будь, все так же учнут толковню о том, что един в поле не воин. Вот

ежели бы был жив покойный Михайло, ежели бы... Да ведь всякое соборное дело творят люди же! Пусть каждый поймет, что да, он воин, воин в поле, ратник Христов! Сам знаю, что одному — ничего нельзя, что первый стражник схватит меня за шиворот, сами же не допустят и до татар... Все равно! Но вы-то люди, вы бояре, мужи совета и воины! Ждете, дабы сам Господь Бог взял вас за ручку и подтолкнул:

— Иди! Да и тогда, поди, не пошли бы, сложили надежды на Вышнего: пушай-ко Создатель сам и исправляет свой мир! А они — они так же ничего не смогут, не решат, да и не захотят изменить.

А Дмитрий — смог! Содеял, пожертвовав жизнью! Сам, с саблей в руке, положил конец вечным козням ненавистного Юрия, разрешил двадцатилетний спор городов, и двух самых сильных домов княжеских. Быть может, даже, Дмитрий, своею смертью, жертвенно спас страну?! Пробудил, воскресил, заставил, наконец, отверзнуть очи и соборно пойти на подвиг?

Он укрепился в этой мысли, никому ее не высказывая, когда дошла весть, что великое княжение Владимирское получил брат Дмитрия, Александр Михалыч Тверской.

Странно, что весть эта подействовала на Стефана, как ушат холодной воды. Он должен был радоваться — победила Тверь! И не мог. Радости не было. Без конца вспоминались давешние детские вопрошания младшего братца, когда он вздумал повестить тому о поступке Дмитрия:

— А что, Юрий был злой? — спросил Варфоломей. — Злых ведь Господь карает! Почему же князь Митрий не стал ждать, когда Юрия накажет Господь?

Ведь всем-всем будет воздаяние по делам их?

Тогда Стефан попросту отмахнулся от малыша. А теперь, перебирая в памяти весь этот долгий кровавый спор городов, в котором погиб Михайло Тверской, погибли Юрий с Дмитрием и... ничего не изменилось! Начинал понимать странную правоту дитяти. По-прежнему великое княжение в руках тверского князя, и по-прежнему сильна и поперечна ему Москва, и страна по-прежнему разорвана надвое. Ничего не изменилось! И, верно, гибель Александра с Иваном Данилычем ничего не изменит тоже! А то, что меняется, меняется без княжеской воли, а так... неведомо как! Как тает лед весною на озерах: тихо, недвижимо тоньшая и отступая от берегов. И сколько бы ни спорили, ни бунтовали князья и бояре, ничего не изменит ни подлость Юрия, ни сабля Дмитрия... И не престанут раздоры на Руси, пока... Пока не свершит круга своего назначенное Господом!

Так, может, и нет никакой духовной свободы, и верно, что даже волос не упадет с головы, без воли создавшего нас?

Чему же тогда учил Христос? Почему он требовал от каждого: «Встань, и иди!», — требовал деяния? Но какого деяния требовал Христос?! — деяния духа, а не меча! Все проходит, и все земное — тлен, и суета сует. И гибнущую Русь спасут не сабли князей, а дух Господень!

Суровая истина истории, словно пасмурный рассвет над морем непрестанных дум, начинала брезжить в голове Стефана, а именно, что одному человеку при своей жизни, будь он хоть семи пядей во лбу, ничего невозможно свершить такого, что намного пережило бы его самого. Ни Искандер Двурогий — Александр Македонский, покоривший полмира, ни Темучжин, и никто другой из величайших завоевателей, повелителей, монархов не сумели оставить добытое ими потомкам цело и непоручено. Империи их разваливались со смертью их самих, и наследники тотчас начинали взаимную грызню, шли войною друг на друга, лишая тем самым всякого смысла усилия усопших покорителей.

Чтобы создать истинно прочное, надо, прежде всего, побороть искуса увидеть самому плоды своего труда. Ни Христос, ни Будда, ни Магомет не узрели, при земной жизни своей, плодов посаженных ими деревьев. Но шли века, и народы, и страны падали к стопам опочивших провозвестников новых вер. Истинно прочное в череде веков всегда религиозно, духовно, и создание истинно прочного всегда требует от человека отречения, забвения самого себя, своего земного и сиюминутного бытия, требует веры.

Да, он, Стефан, пойдет по стезе духовной! Помирится с отцом Гervasием, будет прилежно внимать наставникам, станет епископом, пастырем, яко Иларион или Серапион Владимирский... И он уже видит себя в церкви, и тьмы тем народа, внимающих ему... Быть

может, то, что их имение крушится, — перст и указание Божие? Может, и всему граду Ростову уготовано: пасть, и падением своим, горькою судьбиной, от разномыслия и духовного оскудения произошедшей, научить других? Что должен содеять он, чтобы не погибла родная земля и чтобы не зря прошла его жизнь, чтобы свет его разума не растаял в небытии, как тает весеннее облако в высокой голубизне небес?

Чтобы, все-таки, ему, ему самому, живому и смертному, довелось соучаствовать в возрождении родимой земли!

Глава 14

Известие о восстании в Твери и об убийстве царева брата Шевкала со всею татарскою ратью дошло в Ростов восемнадцатого августа, на третий день после праздника Успения Богородицы.

В улицах стояла жарынь, сушь, было не продохнуть. Пыль висела неживыми клубами, даже не оседая. Потрескивало пересушенное дерево.

Горожане, многие, не топили печи, боялись пожаров. По окоему клубились свинцовые облака никак не разражаясь дождем. Темное синее небо висело над головою, словно сверкающий начищенный щит, и сходное с блеском металла солнце жгло поникшую пыльную листву дерев и обливало горячим золотом клонящие долу хлеба. Казалось, в самом воздухе, потрескивающим от жары, копилось тревожное ожидание беды и раздора.

Дождь хлынул внезапно, вместе с первыми круглыми раскатами громового грохота. Тяжелая туча, затмившая солнце, казалось, только-только еще застила свет, а уже обрушилось тысячью игл, вздыбило пыль в переулках, волнами пошло по морю хлебов, оступившему город, захлопали калитки, рванулись с веревок развешанные портна, куры, с криком взлетая в воздух, разбегались и прятались от дождя, и уже дружно заколотило по кровлям, и дохнуло грозовой свежестью в улицы, и в ослепительно белые, разрезаемые ветвистыми струями молний края облаков вонзились стаи испуганных галок и ворон, и молодки, завернув подолы на головы, сверкая голыми икрами крепких босых ног, с радостным испугом, с веселыми возгласами побежали, шлепая по лужам, прятаться от дождя в калитки и подворотни домов, когда в город ворвался, со скачущим вестником, грозный голос тверской беды.

— Побиты! Татары побиты! Шевкал? Брат царев?! Все побиты, и Щелкан, Шевкал ли, убит! Беда!

И в рокошующие раскаты грозowego неба, в веселый частобой долгожданной воды, ворвался высокий, тревожный голос колокола, — один, другой, третий.

Звонари, не сговариваясь, узнавая о ратном тверском пожаре, начинали вызванивать набат.

Не успел еще, омывший и омолодивший землю веселый дождь свалить за край окоема, еще неслись, догоняя, лохмы сизых туч, и еще моросило, пересыпая серебряными нитями отвесные жаркие лучи освобожденного от облачного плена юного солнца, а уже на площади перед собором гомонило разномастное, поспешное вече. Орали, пихались, требовали князей, думных бояр и епископа, кого-то стаскивали с коня, кого-то, упирающегося, вели к помосту:

— «Ать молвит!»

Стефан, — его, кинувшегося на всполошный зов колокола, человечьим водоворотом занесло в самую гущу, — рванулся в толпе. Непрошенные, неожиданные даже слова рвались у него из груди:

— Люди добрые! Граждане ростовские! Друзья, братья! Восстанем все!

Поможем Твери! Головы своя положим!

— Сам-то как, свою голову тоже положишь, али батька не повелит? громко и глумливо спросил узнавший Стефана горожанин.

— Молод ищо! — посыпались сердитые голоса. — Глуздырь! Дак и не попухивай! Чей-то таков? Кириллов, никак, сынок! Батько где?! От ево ли послан, али сам, по младости, по глупости?

Стефан, бешено пробиваясь вперед, орал им в лица, размахивая кулаками:

— Стыд! Позор! Как успех, дак и все до кучи:

— мы! А как на труд, на смерть, дак пушай сосед, моя хижа с краю? Да? Так, што ли?! К оружию, граждане!

— Против кого? — вопрошали ему в лицо. — Власть своя, свои князья!

Татар у нас нетути! Чево бояре бают, где они? Где Аверкий? Где твой батька, лучше скажи! Тверичи сами затеяли, им и расхлебывать! Нас не трогают пока!

— Дак и всех поврозь тронут! — надрывался Стефан.

— Ты, может, и прав, — не уступая, возражала ему слитная толпа, — да где бояре? Где рать? Мы смерды, у нас и оружия нет! Где старосты градские?

Аверкий где? Послать за Аверкием!

— Мы встанем, а бояре? А князь что думат? А кто нам даст коней, да мечи, да брони, ты, што ль? Вятские пойдут, тады и мы на рать станем! То-то и оно!

— Кто поведет? Кому нать? Тверской-то великой князь, Ляксандра Михалыч, сказывают, тоже утек из Твери? Во гради он? То-то ж!

Стефана затолкали, запихали, закидали тяжелой мужицкой укоризной. Он так и не пробился к лобному месту, где с возвышения то тот, то другой краснобай бросали в толпу всполошные слова. Их тянули вниз за сапоги, за полы, на помост взбирались новые, кричали яро:

— Охолонь! Князя давай, бояр!

— Бояр великих! Князя! — ревела площадь.

Но не было ни князя, ни бояр на вечевой площади, и не было согласия во граде, ни совета во князьях, ни единомыслия в боярах. Кто прятался в тереме, повелев слугам кричать, что его нетути, кто, взмыв на коня, мчал прочь за городские ворота, кто увязывал добро, махнувши рукою на все:

— Чернь бунтует! Худого и жди!

Ничем кончилось ростовское вече.

С подбитой где-то, невзначай, скулою, измазанный, с порванным рукавом, Стефан с трудом выбрался из обманувшей его толпы, которая, виделось уже, собралась просто так, пошуметь, но ничего не решит и ни на что не решится без руководителей своих, которые, в сей час, сидят, попрятавшись от черни, с единою мыслью: лишь бы без нас, да мимо нас, лишь бы кто другой!

Напрасно проплутав в поисках слуги, он, пеш, выбрался за городские ворота и, шатаясь, побрел домой. Уже за несколько поприщ от города нагнал его старик Прокофий с конем, тоже напрасно проискавший своего молодого господина, и теперь донельзя обрадованный, что не пришлось ему ворочаться домой одному, без Стефана, под покеры и укоризны боярыни.

Не в пору, не вовремя вспыхнуло тверское пламя. Никого не зажгло, только опалило страхом, и пригнулась, пришипилась земля, с ужасом ожидая одного: что-то будет?

И никто не дерзнул повторить того, что створилось в Твери. Не встала земля, не вышли самозванные рати, не встрепенулись ратные воеводы, не двинулись дружины, не подняли головы князья... А когда дошли вести, что Иван Данилыч московский вызван в Орду, и суздальский князь, Александр Василич, отправился туда тоже, поняли: быть беде великой! Жди нового ратного нахождения!

Глава 15

Торопливо убирали хлеб. Косые дожди секли землю. Ветра рвали желтый лист с дерев. Жители зарывали корчаги с зерном, прятали в тайники, что поценнее, уходили в леса, отрывая себе звериные норы в оврагах — хоть там-то пересидеть беду!

Александр Михалыч загодя покинул Тверь, не помышляя о ратном споре с Ордою. Мелкие князья, паясая себя и смердов своих, об одном молили Господа:

— Лишь бы не через нас! Лишь бы иною дорогой!

И земля немо ждала, как ждет приговоренный к казни, не помышляя уже не токмо о споре с Ордою, но даже и о спасении...

Подмерзали пути. На застылые пажити падал неживой снег. В серебряных вьюгах, под вой волков и метелей, на землю русичей в бессчетный раз надвигалась степная беда.

Черною муравьиною чередой тянулись скуластые всадники в мохнатых островерхих шапках, на мохнатых низкорослых лошадях по дорогам страны.

Пять туменов, пятьдесят тысяч воинов, послал Узбек громить мятежную Тверь, и с ними шли, верною обслугою хана, рати москвичей и суздальцев. Только в книгах о седой старине, да в мятежных умах книгочиев оставалась, сохраняла себя в те горькие годы бывшая единая Русь! О, вы, великие князья киевские! О, слава предков! О, вещий голос пророков и учителей твоих, святая Русская земля! Где ты? В каких лесах, за какими холмами сокрыта? В каких водах, словно Китеж, утонули твердыни твои?

Иссякли кладязи духа твоего, и кто придет, препоясавший чресла на брань и труд, иссечь источники новые? Кто вырубит из скалы забвения родник живой и омоет, и воскресит хладное тело твое? О, Русь! Земля моя! Горечь моя и боль! ***

Метет. Мокрый снег залепляет глаза. Во взбесившейся снежной круговерти смутно темнеют оснеженные и вновь ободранные ветром, крытые дранью и соломой кровли боярских хором. Выбеленный снегом тын то проглянет острыми зубьями своих заостренных кольев, то вновь весь скроется в воющем потоке снегов. Деревня мертва, отсюда все убежали в лес. Только здесь чувствуется еле видимое шевеление. Мелькнет огонь, скрипнет дверь, промаячат по-за тыном широкая рогатина и облепленный снегом шелом сторожевого. В бараньих шубах сверх броней и байдан, кто с копьем, кто с рогатиною, кто с луком и стрелами, кто со старинным прямым мечом, кто с татарскою саблей, шестопером, а то и просто с самодельною булавою да топором, они толпятся во дворе, смахивая снег с бровей и усов, сами оробелые, ибо что смогут они тут, ежели татарские рати Туралыкова и Федорчукова, что валят сейчас по-за лесом, отходя от разгромленной, сожженной Твери, волоча за собою полон и скот, вдруг пожалуют к ним, на Могзу и Которосль? Недолго стоять им тогда в обороне! И счастлив останется тот, кого не убьют, а с арканом на шее погонят в дикую степь! Ибо татары громят и зорят все подряд, не глядя, тверская или иная какая земля у них по дороге. В Сарае уже ждут жадные купцы-перекупщики. Давай! Давай! Полон, обмороженный, слабый, пойдет за бесценок, а семью, — татарок своих, — тоже надо кормить! Нещадно, с маху, бьет ременная плеть: «Бега-а-ай!». — Спотыкающиеся, спутанные полоняники, втягивая головы в плечи, бредут через сугробы, падают, встают, ползут на карачках, с хрипом, выплевывая кровь, умирают в снегу. «Бега-а-ай!» гонят стада скотины. Громкое блеянье, испуганный рев недоеных голодных коров, ржанье крестьянских, согнанных в насильные табуны коней тонут в метельном вое и свисте. Обезножевшую скотину, прирезав и тут же пихнув в сугроб, оставляют в пути. Волки, наглея, стаями бегут за татарскою ратью.

Вороны, каркая, срываются с трупов и вновь тяжело падают вниз, сквозь метель.

За воротами боярских хором царапанье, не то стон, не то плач.

Отворяется калитка, ратник бредет ощупью, выставив, ради всякого случая, ножевое острие. Наклоняется, спрятав нож и натужась, волочит под мышки комок лохмотьев с долгими, набитыми снегом волосами, свесившимися посторонь! Баба! Убеглая, видно! Без валенок, без рукавиц...

— Тамо! — шепчет она хрипло, — тамо, еще! — И машет рукою, закатывая глаза.

— Где? Где?! — кричит ратник ей а ухо, стараясь перекрыть вой метели.

— Тамо... За деревней... бредут...

Распахиваются створы ворот. Боярин Кирилл, в шубе и шишаке, сам правит конем. Яков, тоже оборудованный, держит одною рукой боевой топор и господинову саблю, другою вцепляясь в развалы саней, пытается, щуря глаза, разглядеть что-либо сквозь синюю чернь и потоки снежного ветра. Сани ныряют, конь, по грудь окунаясь в снег, отфыркивает лед из ноздрей, тяжело дышит, в ложбинах, где снег особенно глубок, извиваясь, почти плывет, сильно напруживая ноги.

Вот и околица. Конь пятит, натягивая на уши хомут. Чья-то рука тянется из белого дыма, чьи-то голоса не то воют, не то стонут во тьме.

Яков, оставя оружие, швыряет их, как дрова, в развальни, кричит:

— Все ли?

— Все, родимый! — отвечают из тьмы не то детские, не то старушечьи голоса.

— Девонька ищо была тут! — вспоминает хриплый старческий зык. Ма-ахонькая!

Конь, уже завернувши, тяжело бежит, разгребая снег, и внезапно, прыгнув, дергает посторонь. Кирилл, нагнувшись, подхватывает едва видный крохотный комочек обмороженного тряпья, кидает в сани. Конь — хороший боевой конь боярина — идет тяжелою рысью, изредка поворачивая голову, дико глядит назад...

В хоромах беглецов затаскивают в подклет: прежде всего спрятать! Там снегом растирают обмороженных, вливают в черные рты горячий сбитень.

Мечется пламя лучин в четырех светцах, дымится корыто с кипятком. Мария, со сведенными судорогой скулами, молча и споро забинтовывает увечную руку обмороженного мужика, а тот, кривясь от боли, скрипит зубами, и только бормочет:

— «Спаси Христос, спаси Христос, спаси... Спасибо тебе, боярыня!» Стонет, качаясь, держась за живот, старуха. Мечутся слуги.

Сенные девки, нещадно расплескивая воду, обмывают страшную, в бескровной выпитой наготе, потерявшую сознание беременную бабу. Голова на тонкой шее бессильно свесилась вбок, тонкие, распухшие в коленях и стопах ноги, покрытые вшами, волочатся, цепляясь, по земли, никак не влезают в корыто.

Стефан путается под ногами людей, силясь помочь, хватая то одно, то другое, ищет, кого бы послать на поварню.

— Живей! Ты! — кричит сорвавшимся, звенящим голосом мать, — где горячая вода?! — И он, забыв искать холопа, сам хватается за ведро и, как есть без шапки, несется за кипятком.

Другой мужик, в углу, молча и сосредоточенно кривясь, сам отрезает себе ножом черные неживые пальцы на ногах. Одна из подобранных женок вставляет новые лучины в светцы. Кто-то из слуг раздает хлеб...

Кирилл, весь в снегу, входит, пригибаясь под притолокою, и молча передает жене маленький тряпичный сверток. Мария, тихо охнув, опускается на колени:

— «Снегу! Воды!» — Девочка лет пяти-шести, не более (это та самая девчушка, что нашли у околицы), открывает глаза, пьет, захлебываясь и кашляя; тоненьким хриплым голоском, цепляясь за руки боярыни, тараторит:

— А нас в анбар посадивши всех, а matka бает:

— ты бежи! — А я пала в снег, и уползла, и все бежу, бежу! Тетка хлеба дала, ото самой Твери бежу, где в стогу заночую, где в избе, где в поле, и все бежу и бежу, — свойка у нас, матурина, в Ярославли-городи!

Глаза у девчушки блестят, и видно, что она уже бредит, хрипло повторяя:

— «А я все бежу, все бежу...»

— В жару вся! — говорит мать, положив руку ей на лоб, и шепотом прибавляет:

— Бедная, отмучилась бы скорей!

Стефан стоит, сгорбясь, нелепо высокий. Он только что притащил дубовое ведро кипятку и, коверкая губы, смотрит, не понимая, не в силах понять, постичь. От самой Твери?! Досюда? Столько брела? Такая сила жизни!

И — неужели умрет?!

Мать молча задирает вонючую рубаху, показывает. На тощем тельце зловеще лоснятся синие пятна, поднявшиеся уже выше колен, в паху и на животе. «Не спасти!» — договаривает мать. У самой у нее черные круги вокруг глаз, и она тоже смотрит на девочку безотрывно, стонно Стефану, шепчет про себя:

— Господи! Такого еще не видала!

— Унеси в горницу! — приказывает она сыну. Стефан наклоняется над дитятей, но тут, ощутив смрад гниющего тела, не выдерживает, с жалким всхлипом, не то воем, закрывает руками лицо и бросается прочь.

Мария, натужась, сама подымает ребенка и несет, пригибаясь под притолокою, вон из дверей. Она вовсе не замечает, с натугою одолев крутую лестницу, что за нею топчут маленькие ножки, и в горницу прокрадывается Варфоломей. Мария, в темноте уронив девочку на постель, долго бьет кресалом. Наконец трут затлел, возгорелась свеча. И тут, оглянувшись в поисках помощи, она видит пятилетнего своего малыша, который глядит серьезно и готовно, и, не дав ей открыть рта, сам предлагает:

— Иди, мамо! Я посижу с нею!

Мария, проглотив ком в горле, благодарно кивает, шепчет:

— Посиди! Скоро няня придет! Вот, — шарит она в глубине закрытого поставца, — молоко, еще теплое. Очнется, дай ей! — И, шатнувшись в дверях, уходит опять туда, вниз, где ее ждут, и где без хозяйского глаза все пойдет вкривь и вкось.

Девочка, широко открывши глаза, смотрит горячно. Варфоломей подходит к ней и, остановясь близко-близко, начинает гладить по волосам.

— А я все бежу, бежу... — бормочет девочка.

— Добежала уже! Спи! — говорит Варфоломей, словно взрослый. — Скоро няня придет! Хочешь, дам тебе молока?

— Молоко! — повторяет девочка жарким шепотом и, расширив глаза, смотрит, как Варфоломей осторожно наливает густую белую вологу в глиняную чашечку и медленно, боясь пролить, подносит ей. Девочка пьет, захлебываясь и потя. Потом, отваясь, показывает глазами и пальцем:

— «И ты попей тоже!» — Варфоломей подносит чашку ко рту, обмакивает губы в молоко, кивает ей:

— «Выпил!» — девочка смотрит на него долго-долго. Жар то усиливается, то спадает, и тогда она начинает что-то понимать.

— Я умираю, да? — спрашивает она склонившегося к ней мальчика.

— Как тебя зовут?

— Ульяния, Уля!

— Как и мою сестру! — говорит мальчик.

— А тебя как?

— Варфоломей.

— Олфоромей! — повторяет она, и вновь спрашивает требовательно:

— Я умираю, да?!

Варфоломей, который шел за матерью с самого низу, и видел и слышал все, молча, утвердительно, кивает головой и говорит:

— Тебя унесут ангелы. И ты увидишь Фаворский свет!

— Фаворский свет! — повторяет девчушка. Глаза у нее снова начинают блестеть, жар подымается волнами.

— И пряники... — шепчет она в забытьи, — и пряники тоже!

— Нет, тебе не нужно будет и пряников, — объясняет Варфоломей, как маленький мудрый старичок, продолжая гладить девочку по нежным волосикам.

— Там все по-другому. Тело останется здесь, а дух уйдет туда! И ты увидишь свет, Фаворский свет! — настойчиво повторяет он, низко склоняясь и заглядывая ей в глаза. — Белый-белый, светлый такой! У кого нету грехов, те все видят Фаворский свет!

Девочка пытается улыбнуться, повторяя за ним едва слышно:

— Фаворский свет!..

Двое детей надолго замирают. Но вот девочка вздрагивает, начинает слепо шарить руками, вздрагивает еще раз и вытягивается, как струна.

Отверстые глаза ее холоднеют, становятся цвета бирюзы, и гаснут.

Варфоломей, помедлив, пальцами натягивают ей веки на глаза и так держит, чтобы закрылись.

Стефан (он давно уже вошел и стыдливо стоял у двери, боясь даже пошевелинуть рукой) спрашивает хрипло:

— Уснула?

— Умерла, — отвечает Варфоломей, и, став на колени, сложив руки ладонями вместе перед собою, начинает читать молитву, которую, по его мнению, следует читать над мертвым телом:

— Богородице, дево, радуйся! Пресвятая Мария, Господь с тобою!

Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего... — Он спотыкается, чувствует, что надо что-то добавить еще, и говорит, чуть подумав:

— Прими в лоне своем деву Ульяну, и дай ей увидеть Фаворский свет!

Теперь все. Можно встать с колен, и теперь, наверно, нужен ей маленький гробик.

А внизу, в подклете, хлопают двери, и Кирилл, с трудом разлепивши набрякшие, обмороженные веки, сбивая сосульки снега с ресниц и бороды, говорит жене:

— Еще троих подобрали, и те чуть живы! Прими, мать!

Поздняя ночь. Все так же колотится в двери и воет вьюга.

— Вьюга, это к добру, татары, авось, не сунутце! — толкуют ратники, сменяя издрогших товарищей. Передают из рук в руки ледяное железо, крепко охлопывают себя рукавицами. Не глядячи на полузанесенный снегом труп (давеча один дополз до ограды, да тут и умер), разумея тех, кто внизу, бормочут:

— Беда!

А боярчата, измученные донельзя, все еще не спят. Только Петюня уснул, посапывая. Стефан (он сейчас чувствует себя маленьким-маленьким, так ничего и не понявшим в жизни) сидит на постели, обняв Варфоломея, и шепчется с ним:

— А откуда ты слышал про свет Фаворский?

— А от тебя! — тоже шепотом отвечает Варфоломей. — Ты, лонись, много баял о том. Не со мною, с батюшкой... А расскажи и мне тоже! — просит он.

— Вот пойдешь скоро в училище, там узнаешь все до тонкости, задумчиво отвечает Стефан. — Далеко-далеко! На юге, где Царьград, и дальше еще, там гора Афон. И в горе живут монахи, и молятся. И они видят свет, который исходил от Христа на горе Фавор. Фаворский свет! И у них у самих, у тех, кто самый праведный, от лица свет исходит, сияние.

— Как на иконах?

— Как на иконах. Только яще ярче, словно солнце!

— Степа, а для чего им Фаворский свет?

— Они так совокупляют в себе Дух Божий! Божескую силу собирают в себе, чтобы потом людям ее передать! Понимаешь? Из пламени возникает мир, и вновь расплавляется в огне. Зрел ты пламя? Оно жжет, но вот угас костер, и нет его! Огонь зримо являет нам связь миров: духовного, горнего, и земного, того, который вокруг нас. Огонь также и символ животворящей силы Божества, потому и едины суть Бог-Отец, Бог-Сын и Дух Святой, исходящий на нь в виде света... Не простого света, солнечного, а того, божественного, что явил Христос ученикам своим на горе Фаворе!

Варфоломей кивает. Неважно, понимает ли он до конца то, что говорит брат, или нет, но ему хорошо со Стефаном. И он верит теперь еще больше, что ныне хорошо и той упокоившейся девочке, которую завтра обещали похоронить, и даже сделать ей маленький гробик.

Беспокойно, вздергиваясь и постанывая, дремлет мать. Легла не раздеваясь, не разбирая постелю, на час малый, да так и уснула, ухोдившись всмерть. Кирилл не велел ее будить. Сам спустился в подклет, сменить жену в бессонной ее стороже.

Глава 16

Варфоломей начал учиться грамоте семи лет, сказано в первой его биографии, в первом житии. Простой расчет показывает, что это должно было произойти в 1329 году, ежели считать от «Ахмыловой рати». Но уже «за год един» после Федорчукова и Туралыкова нашествия, то есть через зиму после погрома Твери, московский великий князь Иван Данилович, выдав дочь за юного князя Константина, наложил властную руку на Ростов, что окончательно сокрушило хозяйство боярина Кирилла и заставило его в конце концов, как и многих, бежать из Ростова в поисках новых земель и «ослабы» от поборов и даней. Иными словами, переезд в Радонеж мог состояться где-то не позднее 1330 года, и учиться в Ростове в этом случае отроку Варфоломею пришлось не более двух лет. Впрочем, то, что ему было именно семь лет к началу учения, не столь уж бесспорно. Начинали учиться в древней Руси «лет пяти-шести», как явствует из многих прямых и косвенных указаний. Смотрели по дитю, по его развитию. (А дети, рано приучаемые к самостоятельности, и развивались рано!) Иного могли отдать и в пять, и в четыре года, другого в семь, — в классах тогдашних училищ не следили за тем, чтобы дети были все и обязательно одного возраста.

Кстати, о школах. Уже, кажется, многие знают теперь, что грамотность у наших предков в XIII — XV столетиях была распространена гораздо шире, чем думали исследователи совсем

еще недавнего времени. В том же Новгороде Великом раскопками Арциховского-Янина найдены многочисленные образцы частной переписки рядовых граждан. Заостренные костяные и металлические палочки непонятного назначения, находимые археологами в самых различных городах и севера и юга России, получили теперь истолкование, и даже название их установлено, — это оказались древнерусские «писала», коими, без помощи чернил, выдавливали или процарапывали текст на бересте и специальных, покрытых воском дощечках. И, однако, до сих пор далеко не многие знают, что в древней Руси уже в XIII — XV веках была принята классно-урочная система преподавания, сходная с нашей, а города-республики, вроде Новгорода или Пскова, содержали на общинный (общественный) счет городские бесплатные школы, называемые тоже почти по-современному, — «училищами», в коих могли учиться и учились даже дети самых бедных граждан, и где на переменах между уроками дети так же, как и современные школьники, выбегали на улицу, баловались, затевали возню и шумные игры.

Учили в этих школах или училищах чтению и письму (по Псалтири), церковному пению, — музыка была обязательным и серьезным элементом тогдашнего преподавания, — счету, то есть математике, а в старших классах: риторике, красноречию, истории, богословию. Переводя на наш язык и современные понятия — философии и социально-политическим наукам. Впрочем, даже и сами слова «философия» и «философ» уже существовали в тогдашнем обиходе. Сверх того изучали греческий язык, некоторые, к тому же, древнееврейский, как язык Библии. Словом, учащиеся, кончившие полный курс наук, получали неплохое политико-гуманитарное образование.

Особенностью тогдашних школ было то, что школы не делились на церковные и гражданские. Иерархи церкви и светские деятели получали одинаковое образование, благодаря чему, в частности, правящее сословие великолепно разбиралось во всех церковных вопросах, то есть владело всей суммой тогдашних идеологических представлений. Изучивши, вдобавок к перечисленному, своды законов («Мерило праведное», «Номоканон» и «Правду Русскую»), боярский или княжеский сын был вполне готов к сложному делу управления страной и руководства людьми.

Затрудняюсь сказать, в какой степени и объеме изучалась медицина.

По-видимому, в этой области нас, как и прочие страны Европы, решительно опережал арабский (да и не только арабский!) Восток. На Руси, в основном, лечили знахари, которые были, впрочем, глубокими знатоками целебных трав (чем мы ныне похвалиться не можем!) и великолепными костоправами.

Науки практические — зодчество, литейное дело, кузнечное и кожевенное производства, столярное, плотницкое, ткацкое и прочие многообразные ремесла

— имели свои глубокие традиции и свою «школу», свои навыки, передававшиеся изустно, от мастера к мастеру, так что какой-нибудь недипломированный древнерусский инженер-строитель подчас знал много больше современного архитектора, артистически справляясь со всеми видами сложных, совмещенных и многоярусных, сводчатых перекрытий, принятых в тогдашних церквях (без опоры на упрощающую железобетонную конструкцию), знал тайны обжига кирпича и растворов, выдерживающих, вот уже ряд веков, наши российские ветра, дожди и суровые зимы. Точно так же, как кузнецы, например, ведали секретами отковки многослойных, с твердою серединой, «самозатачивающихся» лезвий, отлично умели наводить «мороз», «синь», золотое и серебряное письмо на металл, — короче говоря, владели секретами, которые составили бы честь и современному, вооруженному научным знанием металлургу.

Мы, потомки, зачастую оказываемся в плену терминологических несоответствий. Университет для нас — место учебы и сосредоточения научных сил, а что монастырь XIV столетия сплошь и рядом оказывается тем же самым, нам, как говорится, уже и невдомек. Слово «инженер» для нас значительнее древнерусского «мастер», а почему? Тогдашний мастер широтою знаний и, главное, практическим навыком работы, «артистизмом», значительно превосходил современного инженера!

Все это необходимо помнить, хотя бы для того, чтобы понимать, как это и почему тогдашнее немногочисленное население (по приблизительным оценкам всего три — пять миллионов на всем пространстве европейской части России) успевало так много сделать, с такою быстротою возводило порушенные города, воздвигало храмы, осваивало и распахивало

лесные пустыни русского Севера, вело торговые операции на расстояниях в тысячи верст, перебрасывая, скажем, товары далекой Бухары или Кафы греческой во Владимир, Тверь и Псков, смоленский хлеб в Новгород Великий, а пушнину, кожи, рыбий зуб и тюленьё сало с севера, с «моря полуночного», в Данию, Италию и Царьград. И речь идет не только и не столько о небольших по объему и дорогих по стоимости предметах роскоши. На тысячи поприщ везли железо, рыбу, соль и зерно. В одиннадцатом веке уже Новгород Великий снабжался суздальским хлебом, а в XIV

— XV тот же хлеб везли в Новгород с Кокшеньги и Ваги через Двину и Белое море, на расстояние больше тысячи километров со многими переволоками и перегрузками в пути.

Все это требовало и высокой техники, и высочайшей степени организации труда, и толковой, совестливой, знающей администрации. И все это было, и составляло основу и силу Руси, ту силу, на которую опирались русские князья, «собиравшие» землю.

Было, увы, и другое в ту пору на Руси! Был упадок духа, разброд во князьях, свары и ссоры, оборотившиеся полною неспособностью организовать хоть какое толковое сопротивление орде Батыя: многие города сдавались без боя, воеводы прятались, чая пересидеть беду, великий князь Юрий бросил стольный город Владимир с семьею вместе на произвол судьбы и на поругание врагу и позорно погиб на Сити, где монголы не столько ратились с русичами, сколько истребляли бегущих. Редкие всплески героизма пропадали впустую, ибо ратники княжеских дружин, не овеванные духом жертвенности, думали больше о наживе, чем о защите страны, и когда вместо грабежа своих же земель во взаимных которах им пришлось встретить грозного и сплоченного врага, бежали, не выдержав ратного испытания.

Скажем еще, что в те же годы ростовщичество иссушало древний Владимир едва ли не страшнее, чем татарское разорение, что разброд власти тяжелее всего ложился на плечи смердов, коих зорили все подряд, что бояре старшая дружина княжеская — тонули в роскоши, в городах возводились дорогие белокаменные храмы, ювелирное дело достигло неслыханной высоты и совершенства, не достижимых уже в последующие века... (Увы! Слишком часто начало гибели принимаем мы за расцвет благодаря дурманящему очарованию поздней культуры!) И что в этой богатой, изобильной, обширной стране граждане, как горестно восклицал епископ Серапион в одном из своих поучений, буквально съедали друг друга, полностью забыв о христианском братстве и любви... Интеллигент и писатель двенадцатого столетия, безвестный гениальный автор «Слова о полку Игореве», в предчувствии бед грядущих тщетно бросал современникам слова огненного призыва «загородить полю ворота», — голос его был услышан только два столетия спустя.

Татарский погром был истинно заслуженною Господнею карой за грехи тогдашнего русского общества!

Именно потому главными, основными, трепещущими общественными проблемами тех лет, точнее сказать, тех двух столетий (XII — XIV) были проблемы не бытия, а духа, духовной жизни, осознания Русью единства своего в братней любви всех русичей, и своего назначения в мире, осознания всеми гражданами высшей, жертвенной предназначенности своей, без чего не вышла бы русская рать на поле Куликово и не состоялась бы, не возникла из небытия Русь Московская.

Глава 17

На том самом старом мерине, который был вручен ему с младшим братишкой в общее пользование, Варфоломей и приехал в Ростов, в училище, постигать впервые чтение и письмо. Вряд ли ему было уже семь лет! К семи-то годам, да в таком семействе, он бы и дома уже научился кое-что разбирать в уставном торжественном письме древних книг, где все букочки выписывались по отдельности, ставились без наклона, не писались, а, скорее, вырисовывались писцом, напоминая современные печатные литеры крупной печати. К семи годам он, верно, уже научился читать, а отправился учиться не вдолге после Туралыковой-Федорчуковой рати, на шестом году жизни, почему и не понимал долго объяснений наставника своего.

Многошумный Ростов ошеломил ребенка. Разумеется, он был тут не раз и не два, но всегда с родителями, в отцовском возке, чаще всего рядом с матерью, и тогда, выглядывая, как

галчонок из гнезда, он не находил город ни огромным, ни страшным. Но сегодня все было иначе. Они одни подъехали с братом Стефаном к коновязям. Множество коней в богатых уборах, иные под шелковыми попонами, множество разодетых стремянных, смех, шутки, ржанье и конский топ, — все разом ринуло на него, как вражеское нашествие.

Старик Прокофий принял повод его коня, и Варфоломей уже с некоторым страхом, выпростав ноги из подвязанных по его росту стремян, сполз с теплой и родной спины лошади на пыльную, почти лишенную травы, истоптанную копытами и усыпанную конским навозом землю. Тут, почти ныряя под брюха коней, увертываясь от беспокойных копыт, он заспешил вслед за Стефаном, который широко шагал, почти волоча Варфоломея за собою. Одну потную ручонку крепко вдев в братнину ладонь, другою поддерживал кожаную торбу с Псалтирью, писалом и вощаницами (туда же был вложен и берестяной туесок с куском пирога и парой крутых яиц с завернутою в тряпицу солью), Варфоломей беспокойно вертел головой, стараясь не потерять дороги, не заблудить, ежели бы пришлось идти одному, среди всех этих громадных теремов, возвышенных крылец, коновязей, телег и заборов, и с неволью подступившим отчаянием чувствуя, что, оставь его Стефан в сей час одного, и он уже дороги назад не найдет!

Но еще хуже стало, когда поднялись по крутым ступеням, и Стефан, поговорив с кем-то в лиловой шелковой рясе, оставил его в галдящей толпе незнакомых, разномастно одетых детей, и его уже кто-то дернул за торбу, в которую Варфоломей вцепился двумя руками, боясь потерять дорогую Псалтирь, и кто-то сзади взъерошил ему волосы, и какой-то мальчик, глядя на него с насмешливым снисхождением, проговорил у него над ухом:

— «А! Стефанов брат!» — так, будто бы это уже одно было смешно или стыдно, — а другой, толкнув его в спину, спросил:

— «Эй, ты! Отгадай, чего у мерина нет?» — Варфоломей намерился сперва дать обидчику сдачи, но, помыслив, решил все вытерпеть, и стал про себя читать: «Дух тверд созижди во мне...» За молитвою, однако, он не услышал, что всем велено было входить в келейный покой, и едва успел проскочить в дверь, уже позади всех, почти под ногами у толстого высокого наставника, который неодобрительно свел брови, мало не запнувшись о малыша.

В низкой палате, уставленной дощатыми скамьями, он несколько мгновений, показавшихся ему невообразимо долгими, не мог никуда сесть, ибо пареньки, уже занявшие все сиденья, подшучивая над новичком, тотчас передвигались к краю, как только он неуверенно подходил к очередной скамье. В конце концов ему пришлось, уже под сердитый окрик учителя, сесть на самое первое сиденье, прямо перед ликом грозного наставника, и слушать, почти не понимая ничего, низкий рокочущий голос, меж тем как сзади его продолжали пихать и даже чем-то подкалывать в спину, а сидящий рядом мальчик, расставляя ноги, то и дело задевал злосчастную Варфоломееву Псалтирь, которую он, не ведая подвоха, достал из торбы и положил себе на колени. Псалтирь, оказывается, пока была не нужна, и, охраняя ее от падения, Варфоломей плохо слушал то, что говорит наставник. Когда же понял оплошку свою, то, засовывая ненужную книгу в торбу, завозился и не поспел встать вместе со всеми, чтобы прочесть благодарственную молитву, и так был расстроен этим своим прегрешением, что опять пропустил мимо ушей слова наставника, и позже других извлек из торбы вощаницы и писало. Вощаницы надо было положить на левое колено, а писало взять в правую руку, между большим и указательным перстами, щепотью, а он, перепутав все на свете (и ведь дома же видел и знал, как держит писало Стефан!), положил писало на безымянный перст и долго не мог понять, почему у него ничего не выходит.

Варфоломей не видел, сидя на первой скамье, что у большинства новичков выходит немногим лучше, и думал, что он один такой неумелый и что именно на него гневает, сводя густые черные брови, наставник. Он все время ожидал обидного удара тростью, вспотел от усилий, и уже вовсе ничего не понимал, только слышал высоко над собою рокочущее гудение мощного голоса, и дрожащей рукою проводил какие-то разлезающиеся вкривь и вкось извилины на покрытой воском дощечке, никак не связывая их с тем, что говорил грозный учитель и повторяли, хором, нараспев, прочие ученики. Сверх того ему отчаянно захотелось по малой нужде, и он даже немножко намочил порты, пока сидел и терпел, изо всех сил сжимая колени.

С великою радостью уцепился он за руку Стефана, когда настал перерыв, и старший брат

зашел проведать Варфоломея. Он даже и Стефану постыдился признаться в своей детской оплошке, слава Богу, что старший брат понял все сам, и свел его туда, куда ходили за нуждою прочие мальчишки. Впрочем, Стефан не долго был с ним вместе, и вновь Варфоломей остался один в толпе сверстников, среди коих лишь двое-трое были ему знакомы. Младший Тормосов сам подошел было к Варфоломею (он, видимо, тоже несколько оробел в толпе).

Но едва они взялись за руки, как Тормосова тотчас затормошили и оторвали от Варфоломея и утащили за собой другие мальчишки, а Варфоломей, отброшенный, прислонился к тыну и, сильно пихнув от себя очередного слишком нахального пристава, начал честь шепотом молитву, чтобы не слышать грубых шуток и зазорных слов сотоварищей.

Вскоре буйная дружина малышей устремилась вновь в учебный покой.

Наставник теперь был иной, и воцаницы, за коими полез было Варфоломей, совсем не понадобились. Учили пению. Тут дело пошло несколько лучше. Голос у Варфоломея был чистый и высокий, но и за тем получилась обидная заминка, ибо тот склад, которым пели дома и коему учила его мать, несколько рознился от принятого в училище.

После урока пения все достали свои завтраки, у кого что было, и тут же, на скамьях, устроились есть. Варфоломей, поискав глазами, нашел бедного мальчика, у которого был на завтрак один только серый ржаной коржик, и предложил тому яйцо. С опозданием узрев ждущие глаза другого маленького мальчика, у которого была в руках одна только корка хлеба, отдал тому и второе свое яйцо вместе с солью, а сам, медленно и тщательно разжевывая, съел оставшийся у него кусок пирога, запив его водою из ушата, из коего, в очередь, передавая друг другу берестяной ковш, пили и все прочие мальчишки.

После перерыва, хором, читали знакомые молитвы. После учились считать, перекладывая перед собою нарочито нарезанные ивовые палочки.

(Варфоломей заметил, что многие ребятки тут же начали играть, возводя из палочек домики и колодцы.) К концу занятий у него от шума, духоты, непривычного многолюдства болела и кружилась голова, и он чувствовал себя маленьким, несчастным и брошенным. Во сто крат легче было ему воевать с шалунами на деревне!

Стефан появился перед ним словно спасение Господне или дар небес, отвел младшего брата к коновязям, где Варфоломей, уже почти с рыданием, вскарабкался на коня, и только тут, с седла, обозрев людную площадь, и терема, и церкви, и огромный, красивый собор прямо перед собою, почуяв, что полный муки и страха день уже позади, приободрился опять и, глубоко вздохнув, начал приходить в себя.

И вот они возвращаются домой. Кони идут рысью. Варфоломей, подобрав поводья, крепко вцепился пальцами в гриву своего мерина, и только ждет, изредка поглядывая по сторонам, когда минуют городские ворота, когда кончатся последние пригородные избы, когда начнутся поля и перелески, когда, наконец, завиднеют вдаль родимые хоромы, где можно будет, соскочив с коня, кинуться в объятия матери и разрыдаться всласть, давая себе отпуск за весь этот долгий, суматошный и мучительно-трудный день.

Вечером он долго и непривычно-взволнованно рассказывал Марии, что в училище и ругают, и бьют, и насмешничают, и поют не так, как дома, и что мальчишки часто говорят неподобные слова, и, словом, все там не так, и что он больше не хочет в училище, но, конечно, все равно поедет туда, ежели так нужно матери и Господу, и будет терпеть эту муку так, как терпел поношения от иудеев Иус Христос.

Глава 18

Мало у кого первый день в школе проходит иначе, чем у Варфоломея. Но все привыкают, кто раньше, кто позже, и к распорядку, и к многолюдству, и к самой учебе, находят приятелей, заводят дружбы, начинают слушать и понимать учителя, а не просто смотреть ему в рот. С будущим Сергием, однако, все получилось по-иному.

Решив «претерпеть» училище, с его ужасами, яко древлии страсотерпцы, он начал исполнять свое решение с тем же упорством, с каким когда-то, малышом, забирался на лестницу.

Он не отвечал на приставанья сверстников, нарочито не слушал стыдных шуток и

намеков, а в перерывах между уроками строго выстаивал у стены, бормоча про себя молитву. В эти минуты особенно настырно лезущих к нему сверстников Варфоломей попросту отпихивал, а так как он был сильнее многих сверстников, то шалуны, получив несколько раз основательный отпор, начали побаиваться Варфоломея, и предпочитали дразнить его издали, кидая в нелюдимого сверстника кочерыжками и огрызками яблок.

Учился Варфоломей поначалу очень старательно. Он неплохо запоминал сказанное, и вообще был памятьлив. Многие молитвы и псалмы Давидовы знал наизусть еще с младенческих лет, не уступал другим и на уроках пения, но главного, грамоты, одолеть не мог. Зубрил (даже ночами снились ему и кричали на него голосом наставника страшные буквы), повторяя по сотне раз:

— «Аз, буки, веде, глаголь, добро, есть, иже...» Чертил писалом на своих вощаницах образы всех этих «иже» и «зело», но что-то произошло с ним с самого первого урока, с первого дня учения, почему он никак не мог, а вернее сказать, не хотел из всех этих «они», «суть», «твердо» сложить ни одного, самого простенького слова.

Он скоро понял, что последовательно произнесенные, одна за другою, буквы азбуки составляют вразумительный текст: «Аз (то есть „я“) буки („буки“ рисуют таким вот значком — „Б“, — это он тоже усвоил) веде (ведая, разумея) глаголь (говори) добро есть... И так далее, до самого конца. Все это легко было запомнить, словно молитву, и он заучил всю азбуку-стихотворение наизусть.

Но когда наставник впервые попросил его прочесть написание «АЗБОУКА», то Варфоломей отчетливо произнес, даже гордясь собою, тем, как быстро он это выучил:

— Аз зело буки он ук аз!

Сзади раздался смех. — «Букион!» — выкрикнул кто-то из его постоянных обидчиков. Варфоломей оглянулся. Краска пунцовым пламенем залила ему щеки.

Звонящим от напряжения голосом он упрямо повторил, чеканя каждый слог:

— Аз — зело — буки — он — ук — аз! — И после уже, как ни нудил его наставник, под громкий смех дружины соучеников читал одно и то же, произнося все буквы так, как их следовало читать в азбуке.

Сверстники скоро прозвали Варфоломея «Букионом». Наставник, теряя терпение, лупил его тростью, свирепо совал ему под нос разогнутую Псалтирь, кричал:

— Ну, а слово «Бог» как ты прочтешь?!

И Варфоломей, упрямо закусив губы, с глазами, полными злых слез, глядячи на соединенные титлом знаки «БГЪ», произносил: «Буки, глаголь»...

— На что вся классная дружина хором кричала:

— Букион глаголет! Слушайте, слушайте святого Букиона! (От жестокости сотоварищей не укрылось, что «Букион» на всех переменах, стоя у стены, читает про себя молитвы.) А наставник, швыряя в сердцах Псалтирь, снова брался за трость...

На уроках Варфоломей теперь сидел угрюмо и отрешенно, глядя прямо перед собой и пропуская мимо ушей то, что старался объяснить ему учитель.

В голове у Варфоломея, под воздействием обиды, ярости, согласного глумления сверстников и все растущего внутреннего упорства, что-то сдвинулось, — как это часто бывает с детьми, да и не только с детьми, — и весь строй соображения начал идти по замкнутому кругу. В ответ на насмешки, битье и поношения он все тверже затверживал словесные названия букв и все быстрее, уже почти без запинки, вместо «ИСЪ ХРСТОСЪ СНЪ ДВДОВЪ (Исус Христос, сын Давидов) произносил: „иже — суть — еры — хер — рцы суть — твердо — он — суть — еры — суть — наш — еры — добро — ведая — добро — он — ведая — еры“.

Стефан, пытаясь ему помочь, почти возненавидел младшего брата. Кирилл брался за сына не раз и не два (с горем признаемся здесь, что дело и до ремня доходило), но отступился, в конце концов, со словами:

— Юрод! Не дана ему грамота!

Мать, Мария, проливая тихие слезы, как могла, успокаивала сына, и тоже пробовала учить его, но Варфоломей упорно вместо «да» читал «добро-аз», сдвинуть его с этого было уже невозможно. В конце концов отступилась и она. Все чаще его, вместо училища, посылали с каким-нибудь хозяйственным поручением. И хотя он исполнял просимое толково и хорошо, но

как-то так уже стало считаться, что Варфоломей недоумок, и положиться на него нельзя ни в чем. Не будь он, по счастью для себя, сыном большого думного боярина, его давно уже, за неспособность, отослали бы и из училища.

Далеко не всем дается научение книжное, и несть в том греха, ежели выюноша прилежен к труду иному: рукомышленному занятию или науке воинской, приличной боярскому сыну. Да и среди мнихов, молитвенников за грехи людские, не в редкость бывало незнание грамоты. Молитвы и псалмы постигали изустно, как и многое постигалось изустно в те далекие от нас века. Добрый мастер, создающий бесценные творения ремесла, подчас едва мог начертать два-три буквенных знака своего имени. И не унижало то мастера доброго: талант познается в труде. Другую чашу, изузоренную перевитью диковинных трав, или украшенную тонким золотым «письмом» саблю можно было и не подписывать. Ведь не через книгу, а на деле, от отца к сыну, от мастера к ученику, передавались секреты художества. Можно было и водить полки, и рубиться, и побеждать на ратях, не зная грамоты. То талант особый, умение, коему потребно учиться в поле, верхом на коне, а не в стенах училища. Как разоставить ратных, в какой миг бросить на врага тяжелую окольчуженную конницу, как, судя по ветру и солнцу, располагать лучников в бою, — всего этого тоже нельзя было постичь по книгам. Даже и законы русские, обычное право, — когда и какие и сколько кормов и даней приходит с села, волости, крестьянского двора, — даже и это с юности помнили изустно. Многие, зело много постигалось без книжного научения! И все же был целый ряд дел, начиная со службы церковной и до посольского труда боярского, в коих без грамоты шагу нельзя было ступить, и боярин Кирилл, мечтавший, как и все родители, в детях своих не только повторить себя, но и превзойти, исправив в их судьбе и их усилиями свои житейские неудачи, приходил в подлинное отчаянье. Избалованный, к тому же, успехами старшего сына, он негодовал и гневал на Варфоломея сугубо еще и потому, что иного пути им, детям обедневшего боярского рода, в жизни не было. Ратный труд ростовчанам зане был заказан, богатого имения на прожиток до конца дней оставить сыну он не мог, а раз так, то грамота, «научение книжное» Варфоломею, чтобы остаться в звании боярском, по мнению Кирилла, были нужны как хлеб и вода. Не отправишь ведь боярского сына крестьянствовать, или заниматься иным каким смердным ремеслом! Хотя бывали и такие случаи. Всякое бывало, и тогда, и после, и теперь...

Долго ли пребывал Варфоломей в этом горестном состоянии всеми осмеиваемого неуча, не ведаю. Довольно долго, по-видимому, раз об этом продолжали вспоминать много после, уже и десятилетия спустя, и даже само постижение, в конце концов, грамоты Варфоломеем рассматривалось биографами как чудо.

Не будем, однако, ни спорить с современниками Сергия-Варфоломея, ни возражать им, а помыслим о другом: не было ли в этом долгом и трудном искусстве отрока чего-нибудь такого, что пригодилось ему впоследствии и что сказалось ко благу в последующей его судьбе?

Было. И сказалось. Вспомним наши детские годы! Всю эту шумную толпу сверстников, заборные надписи и слова, которые стыдно было не знать, буйные игры, в коих стыдно было не принять участия. Вспомним и хорошее и плохое, и согласимся, что над всеми нами тяготело всевластие школьного товарищества, «тирания толпы», и что иногда мы, каждый в отдельности, были куда лучше, чем, вместе взятые, в куче, в которой жестокость подчас почиталась доблестью, а раннее пристрастие к взрослым порокам было овеяно ореолом романтики и пленительной тайны. Вспомним и еще одно: сколь редко попадались среди нас такие, кто умел и сумел воспротивиться этому дружному натиску «всех», противопоставить свое мнение, поступок, поведение мнению и поступкам большинства.

Да, и тирания толпы к чему-то да приучает! Выбатывает твердоту характера, умение стоять на ногах в жизненной борьбе, умение скрывать свои чувства, грубоватое мужество. Но какою ценою даются нам все эти завоевания! И что было бы с нами, не будь рядом матери, с ее любовью и лаской, отца, с его непререкаемым авторитетом, старшего брата, наконец, который прошел уже весь иску́с и противопоставил ему что-то свое, глубинное, твердое: «твердыню против твердыни и крепость против крепости». Дома или в толпе вырабатываем мы свое, непохожее на прочих, лицо? Увы! Чаше, ежели не всегда, дома, в семье. А там, в дружине орущих школьников, наше внутреннее «я» лишь закаляется, подвергаясь опасностям унижения и уничтожения до полной неразличимости от прочих, вернее сказать, от того примитивного

уровня, коего требует от каждого воинствующая тирания толпы.

И, может быть, Варфоломея как раз и спасла от подавления средою его неуспешливость в занятиях! Его слишком рано, а попросту сказать, сразу, выделили, отпихнули от себя насмешками и презрением сотоварищи, и тем самым невольно дали Варфоломею уцелеть, укрепиться в себе. Искус стать «как все» его миновал. И даже небрежение брата (самое страшное испытание для юного отрока), и гнев родительский в чем-то помогли Варфоломею, помогли отвердеть и закалиться характеру его.

Мыслью, что не будь этого искушения, юный Варфоломей все равно, в конце концов, пошел своим, предназначенным ему от рождения путем. Но, как знать, был ли бы тогда его путь столь прям и неуклонен, столь упруг и стремителен, словно полет выпущенной сильной рукою опытного воина боевой стрелы?

Возблагодарим же вышний промысел за все, и за трудности тоже, выпавшие на его (и на нашу!) долю. Быть может, искус надлежит испытать всякому, и без одоления трудноты не станет и радости свершения, точно так, как сытому нет великой услады от вкушения яств, а без тяжкого восхождения на высоту не почувешь и самой высоты! И не кроется ли в велении: «В поте лица своего добывать хлеб свой» — глубочайшей мудрости? Наказание ли это было, человеку данное, или нить Ариадны, звезда путеводная, единственно охраняющая нас всех от исчезновения в пучине времен?

В поте лица своего! С крайним напряжением сил! Всегда, и во всем, и всюду! Ибо расслаба телесная, как и духовная лень, несут человечеству только одно — вырождение и гибель.

Глава 19

Скажем ли мы, что ни томление и небрежение от учителя своего, ни укоры и брань родительская, ни поношения дружины соучеников не согнули, не ввели в отчаяние Варфоломея, что он не потерял ни надежды, ни веры, ни стараний своих не отринул, и упорно ревновал одолеть премудрость книжную?

Что поэтому лишь и произошло все, позже названное чудом, ибо каждому дается по вере его?

Нет, не скажем. Не изречем неправды, хотя бы и красивой.

Было детское безвыходное отчаяние и томление духа, до потери веры, до ропота к Господу своему. Бог такой большой и сильный, Бог может содеять все! А он, Варфоломей, такой слабый и маленький. Разве трудно Богу помочь Варфоломею? Поддержать, ободрить его, наставить на путь... Или Бог не добр? Или не всесилен? Зачем же тогда он?!

А они все: наставник, брат Стефан, батюшка, даже мать... Как они могут? Почто помыкают им, смотрят, как на недоумка? Словно он дворовый пес, а не человек, не сын и не брат им всем! И пусть он умрет и будет лежать в гробу недвижимый, как та маленькая девочка с восковым ликом. И придет отец, и мама, и Стефан встанет у гроба, и тогда, только тогда они поймут, пожалеют и, быть может, заплачут над ним!

Искус неверия должен пройти каждый верующий. И вряд ли на нелюбимых родичей когда-нибудь обижались так, как обижаются на любимых. Кто не терзал порою материнского сердца? И кто не роптал на Господа, спрашивая: почто он допускает преуспеяние злых, и неправду, и ложь, и жестокость, и горе, почему спокойно взирает на мучения бедных и добрых в этом мире?

Почему не исправляет то, что натворили люди по жестокосердию своему? Кто, в самых жестоких муках, или при виде гибели детей своих, любимых и близких, кто хоть раз не возроптал и не усомнился в сердце своем? Кто в сей миг отчаянья и злобы вспомнил строго и трезво, и повторил бы в сердце своем молитву, которую затверживал с детства и повторял по всяк день без мысли уже, а просто по привычке, ибо молитва эта — «Отче наш, иже еси на небесех...» — единственная, оставленная нам самим Господом, самим Иисусом, и сохраненная в евангельском рассказе. Все прочие сочинены много позже, людьми, пусть и святыми, но людьми! Кто, повторим, вспомнил эту молитву в час сомнения и спросил себя: есть ли там, содержится ли в ней, в единой, оставленной Господом молитве, просьба о чуде и о помощи?

«Отче наш, иже еси на небесех! (Не на земле!) Да святится имя твое, да приидет царствие твое. (Да приидет, то есть еще не пришло!) Да будет воля твоя, яко на небеси и на земли. (Да будет — в будущем!) Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. (То есть: дай, Господи, то, что имеем уже, и яви милость к нам в меру нашей милости к ближнему своему, но не больше!) И не введи нас во искушение. Но избави нас от лукаваго». (Значит, есть и искус, есть и «лукавый», есть сила иная, чем сила правды и добра.) Не заповедал тот, кто наделил человека свободой воли, просить заступы и обороны у Господа своего! Токмо душевного укрепления, дабы не свернуть со стези многотрудной. Прочее явил Христос образом жизни своей, крестного пути и муки крестной.

Искус неверия должен пройти каждый верующий, дабы понять, поверить, и утвердиться в вере своей.

В этот день Варфоломея послали искать коней. С облегчением и горечью (не надо было ехать в училище, но и с тем вместе понималось не сказанное словами:

— юрод, что с него взять!) Варфоломей опоясался веревкой и побежал в отгонные поля. Он миновал рощу и луг. Коневое стадо обычно ходило о-край раменья, но сейчас тут и зная не было, что кони где-то близь. Он прислушался — слабый звук колокола как будто доносило со стороны Митюшиной гривы.

Варфоломей ловко съехал по крутосклону в овраг, выкарабкался на ту сторону и пошел краем поля, вдоль поскотины. Однако, поднявшись на Велесов холм, колокола не услышал, и заворотил по березнику к Коровьему ручью. Не обрета коней и там, выбрался, порядочно запыхавшись, из чернолесья опять в луга и тут, под святым дубом, увидел молящегося незнакомого старца, судя по платью и обличью — пресвитера.

Варфоломей сперва намерился тихонько пройти мимо, чтобы не помешать страннику, тем паче, что старец молился истово, ничего не замечая вокруг. Потом в нем шевельнулась недобрая мысль подкрасться поближе и наставить молящемуся рога, как делали озорники из деревни. Но когда Варфоломей подошел ближе, его поразило лицо старца. Редко видал он на лицах молящихся столько углубленного в себя мудрого спокойствия и тишины. Казалось, и птицы примолкли в сей час, и листья остановили трепетное движение свое, и солнечные лучи, пронизавшие тонкую преграду листвы, упавая на суконную скуфью и плечи монаха, претворялись в сияние, овевявшее мудрый старческий лик в потоках легкого серебра, чуть тронутого по сторонам чернью.

Варфоломей, еще даже не отдавая себе отчета в том, что делает, подошел к пресвитеру, стараясь не шуметь, и стал постороннь, молитвенно сложив ладони и опустив голову.

Солнце, пятнами, золотило траву. Тонко, чуть слышно, пели лесные мухи. Негромко верещали кузнечики, и мелкие мураши хлопотливо сновали в глубоких трещинах дубовой коры, что-то добывая и перетаскивая. Варфоломей, в этот миг, ничего не просил, и ни о чем не думал. Он даже и не молился, просто стоял и ждал. Глубокий покой охватил его всего, и в покой этот мягкими волнами входили: солнечный свет, тихое жужжание насекомых, шевеление листвы,

— когда лица касалось едва заметное веяние воздуха, входили, растворяя и незримо унося то горестное отчаяние, в котором Варфоломей пребывал теперь почти постоянно.

Старец, окончив молитву и возведя очи, с легким удивлением заметил мальчика и оборотился к нему. Какой-то миг оба не двигались. Отрок все так же стоял со сложенными для молитвы руками, доверчиво глядя на старца ясным взором, и тот, наконец тихо улыбнувшись, наклонился и, перекрестив, поцеловал ребенка.

— Чего ты просишь у Господа? — спросил странствующий пресвитер.

Варфоломей встрепенулся:

— Я? Я ничего... так... — пробормотал он, краснея, запоздало устыдясь своей давешней мысли наставить старцу рога. Он ведь и верно, ничего не просил, совсем ничего, и ни о чем даже не думал!

И тут только, в этот самый миг, проснулась в нем давешняя боль, и он выпалил, сам

удивясь сказанному столь смело:

— Грамоте не умию! Помолись, отче, за меня!

Старец обозрел отрока внимательней, приметил, что перед ним, хоть и в посконине, однако не простой крестьянский сын, и спросил:

— В училище ходишь?

Хмурая тень пробежала по лицу отрока. Варфоломей кивнул, не отводя глаз от старца. Монах помолчал, понял что-то про себя, потом, воздев руки и подняв очи к небу, глубоко, от сердца, вздохнул и начал вновь прилежно читать молитву.

Варфоломей, уразумев, что молитва эта о нем, о его учении, стоял весь как натянутая тетива, боясь даже дышать. Он не чуял ни тела, ни ног, ни рук своих, а весь словно парил, недвижно висая над землею, и только сердце горячими «тук, тук, тук», звоном отдавая в уши, являло ему, что он еще живой и здешний, а не готовится улететь в небеса.

Старец наконец произнес «аминь», извлек из пазухи кожаный плетеный кавчежец, и оттуда бережно, словно некое сокровище, тремя перстами достал малый кус пшеничного белого хлеба, видом похожий на анафору или антидор (остаток причастной просфоры), и подал Варфоломею со словами:

— Разверзни уста своя, чадо! И прими, и съешь! Это тебе дается знамение благодати Божьей и разумения святого писания!

Варфоломей, словно замороженный, открыл рот, продолжая во все глаза глядеть на старца.

— Хоть и мал сей кус, но велика сладость вкушения его! — серьезно примолвил старец, опуская просфору в рот отроку. Варфоломей прижал ее языком к небу, ожидая, пока рот наполнится слюной, и вправду ощутил медовую сладость от кусочка съеденного им хлеба.

— Отче! — сказал он, охрабрев. — Мне всего слаще изреченное тобою...

— Варфоломей приодержался, слегка запутавшись во взрослой фразе, которую надумал сочинить, и закончил скороговоркой:

— Про письмена!

Получилось не совсем хорошо, и потому он, подумав и вспомнив сравнение из псалма Давидова, присовокупил:

— Слаще меда!

— Веруешь, чадо, и больше сего узриши! — отмолвил, улыбаясь, старец.

— А об учении письмен не скорби. Знай, что от сего дня дарует тебе Господь доброе разумение грамоты, паче, нежели у братии твоей в училище! — Чуть заметная улыбка при последних словах показала, что старец догадывается об училищных бедах Варфоломея. — И запомни, сыне, что гневать не стоит ни на кого, токмо отемнишь душу свою напрасною горечью. Господь повелел всякому человеку добывать свой хлеб в поте лица своего! Не ропщи и, паче всего, не завидуй другому! Даст и тебе Господь, в пору свою, воздаяние по трудам!

Открытым сердцем больше постигнешь в мире, станешь лучше понимать людей.

Доколе гневаешь, только и видишь себя самого, свое горе, свою обиду, а не того, другого, своего супостата мнимого! Высечет родитель, горько! Подчас и умереть захочешь, а воззри, — почто родитель гневает? Токмо хотяше добра сыну своему! Дабы продолжил деяния родителя своего со славою, дабы на полных летах и сам был благоуспешен и праведен, и своих бы детей наставил на добрый путь, дабы свеча рода твоего не погасла! Что дашь ты отцу и матери за все их труды неусыпные? Ничего не можешь, ибо к возрастию твоему уже отойдут в лучший мир. Ты вечный должник пред ними, а также и пред каждым, чей труд дает тебе еду и питье, и кров, и одеяние, и научение книжное!

Варфоломей слушал, кивая головою. Он знал, что старец говорит мудрые слова и не обманывает его, но... как страшно было расстаться с ним и... и вновь эти непонятные «зело» и «твердо»! Посему, едва старец повернулся, сбираясь уходить, Варфоломей, с мгновенным безотчетным отчаяньем, кинулся перед ним на землю и, со слезами, тычась лицом в траву и простирая руки к стопам пресвитера, стал сбивчиво и горячо умолять того не уходить, погостить у них в доме, уверяя, что и родители будут рады, что таковых гостей любят и привечают у них в доме, и пусть он не гребует, и не погнушает, и не пострашит, и... Чего только не говорил испуганный малыш!

Старец поднял и успокоил отрока, коего, понял он, нельзя было оставлять в таком состоянии, взял за руку, и они пошли полем, потом перелесками, мимо поскотины, к дому.

Горячая ладошка мальчика цепко ухватилась за шершавую ладонь старика.

Варфоломей боялся отпустить гостя даже на миг, даже когда им пришлось перелезть через прясло поскотины.

Сияющая рожица Варфоломея, когда он вводил, наконец, гостя в дом, была столь красноречива, что отец, поглядев внимательней, забыл спросить о конях.

Время было близко к обеду, и потому вся семья — Кирилл, Мария, Стефан, старший оружничий Даньша и ключник Яков (эти были почти как члены семьи), старуха-тетка, двоюродница Кирилла, и маленький Петруша с нянькою — была в сборе. В горнице хлопотали, накрывая столы, несколько слуг. Стефан только сморщил нос, буркнув:

— Так и знатье, что без коней воротит!

Кирилл, по облику и осанке догадав, что странствующий пресвитер достоин всяческого уважения (да и недаром Варфоломей так крепко держится за руку гостя!), пригласил старца к столу. Гость, однако, отстранив родителей, твердым шагом, ведя за собою отрока, прошел в моленный покой.

«Будет петь часы перед трапезою!» — догадался боярин, и отдал слугам, которые готовились было уже внести в горницу дымящийся котел с ухю, распоряжение погодить. Яков с Даньшею переглянулись и крикнули, старуха-двоюродница, поглядев вослед старцу, значительно и крепко поджала рот, две незаметные видом странницы-богомолки, ожидавшие в углу дарового боярского угощения, опустили очеса и скромно перекрестились.

Меж тем, как только они остались одни в моленном покое, старец, поискавши глазами, нашел большую домовую Псалтирь, и утвердил ее на аналое перед очесами отрока.

— Восьмой псалом знаешь? — спросил он.

— Знаю! — зарозовев, ответил мальчик, глядя на «своего» старца сияющими глазами. Улыбнувшись слегка, старец разогнул листы и указал мальчику:

— Чти!

— Не умию... — начал было, оробев, Варфоломей.

— Чти! — настойчиво повторил старец. — Не сомневайся! С сего дня Господь даровал тебе умение грамоты! Чти певческим гласом, како умиешь, тако и чти!

Отрок смятенно посмотрел на старца, после в книгу, шепотом повторяя про себя начальные слова псалма, и снова смятенно в доброе, мудро-терпеливое лицо и опять в книгу, и уже вслух, в полгласа, веря и не веря, повторил слова псалма, с удивлением обнаружив вдруг, что вместо непонятных «глаголь», «он», «суть», «иже» — перед ним, теми же знаками, изображены знакомые ему издавна слова:

— «Господи, Господь наш, яко чудно имя твое по всей земли, яко взятся великолепие превыше небес»...

Он смятенно глянул на старца, но тот лишь склонил голову, поощрив мальчика, и тогда Варфоломей, словно кидаясь в холодную воду, ощущая, как мурашки боязливого восторга потекли у него по всему телу, запел знакомый псалом, едва поспевая водить глазами по строкам, и буквы, непонятные буквы, ожили! Стали складываться послушно в слова, в те самые слова! И уже он едва поспевал следить за ними, боясь отстать, боясь утратить столь чудесно обретенное умение свое. А старец, с мягкою добротою глядя на мальчика, молча слушал, и лишь когда подошло время, перевернул страницу Псалтири, поощряя отрока к продолжению.

На следующем псалме Варфоломей было сбился, но и тут помогло прежнее знание, — вся Псалтирь была у него на слуху, — и молчаливое старцево поощрение. Снова забыв про «буки», «твердо», «зело», — он начал просто следить по буквам, и, доселе непослушные, они опять стали чудесно слушаться, складываясь во внятные строки.

Минул час. Уже Кирилл, сжалившись, наконец отдал распоряжение подавать на стол и кормить всех, оставив старцу с Варфоломеем и себе подогретые блюда, уже слуга заглядывал украдкой в моленную, где продолжалось и продолжалось звонкое детское пение, коему иногда начинал вторить глубокий, с чуть заметною хрипотцою, голос пресвитера. Уже и второй час был на исходе. Уже и сам хозяин, слегка покашливая, подходил к дверям иконного покоя. Варфоломей взмок от усердия, у него все получалось!

Он читал часы, и снова буквы сами складывались в слова, снова пел, и послушные буквы бежали в лад пению. Он уже начинал удивляться не тому, как это получается у него, а тому, как это оказалось просто, само собою!

В очередной раз старец, ласково огладив по голове, остановил его и подал другую книгу, разогнув ее посередине, на киноварной заглавной строке. Варфоломей сбился, было, начав свое: «веди», «еже», «зело», «глаголь», но опять, поглядев в лицо старцу и почти прижмурясь, набрал духу и, охватив слово разом, выпалил: и затем, хоть и не так бойко, как знакомый псалом, запинаясь перед каждым словом, но вновь и вновь охватывая его целиком, начал произносить, читать, слово за слово, все резвее и резвей. Тем паче, что и это оказалось знакомо, слышано уже, — это было «Слово о пасце» Василия Великого, — и, читая-вспоминая, Варфоломей уже начал сливать прыгающие слова, связнее и связнее выговаривая целые строки древнего поучения.

— Будет! — остановил его, наконец, старец. — Приодержись, отроче, и помни, что без страха, но с молитвою и упованием о Господе приступая к чтению, и всякое написание отныне осилишь!

Варфоломей молчал потрясенно, бледный от восторга. В дверь вновь заглянули. Старец кивнул и, ведя за руку мальчика, пошел в столовый покой, где уже давно слуги ждали с прибором и мисами, и где Кирилл распорядился к прежним обычным блюдам, поданным странника ради, добавить иные, от своей боярской трапезы, и теперь с внутренним нетерпением ждал гостя, с которым намерился, — заранее проникшись почтением к захожему пресвитеру, — истово потолковать о судьбе своего среднего отрока.

Глава 20

Гость ел вдумчиво и медленно. Однако съел очень мало и самой простой пищи. От изысканных яств отказался молча, мановением руки. Чуялось, что для него жизненные улады меньше всего заключены в еде, равно как и в прочих утехах плоти.

Кирилл с Марией со скрытым нетерпением ждали, когда достойный муж закончит трапезу. За столом их было всего трое. Варфоломея услали в челядню, прочие сотрапезники уже отъели и покинули покой.

Гость наконец, испив квасу, поднял взор на боярскую чету, увидел ждущие глаза хозяев и слегка не то, что улыбнулся, а как бы на мгновение прояснил ликом.

— Мыслью, об отроке сем вопрошание ваше?

Волнуясь, перебивая и поправляя друг друга, Кирилл с Марией поведали старцу о чуде, совершившемся в храме, и о странном поведении сына, не скрыв и полной его неуспешливости в постижении грамоты.

— Чла ли ты, дочь моя, в Евангелии от Луки, яко святыи и великий пророк и предтеча Христов Иоанн, еще будучи во утробе матерни, познал Господа, носимого в ложеснах пречистой приснодевы Марии, «и възграся младенец радощами во чреве»? Воспомни, что и пророка Иеремию Бог избрал от чрева матери, сие же свидетельствует о себе и Исая пророк...

— Отче! — зарозовев, возразила Мария. — Но ведь Иоанн воскликнул устами матери своя, Елисаветы!

— Дочь моя! — мягко упрекнул ее старец. — Несхожи между собою даже и цветы полевые! Почто же ты, сомневаясь в дитяти своем, мнишь, что Господь должен был ознаменовать судьбу его и Иоанна Предтечи одною и тою же метой?

Старец был прав. Мария вздохнула и опустила взор:

— Прости, отче, сомнение мое!

— Запомните оба! — с мягкою настойчивостью повторил пресвитер, озирая супругов. — Знаменья, данные накануне рождения отрока сего, свидетельствуют о том, что рожденный от вас есть сын радости, а не печали.

И три возгласа его славили триипостасное божество, иже есть Отец, Сын и Дух Святыи в едином лице — славили святую Троицу!

Когда-то почти то же самое толковал им знакомый батюшка, но поучения его почему-то не ложились на сердце так, как поучения нынешнего старца. И все же оставалась, не проходила

некая толика недоверия и к его словам.

Родители притихли, нерешительно поглядывая на гостя. А тот пригорбился, по времени кивая головою, словно о чем-то думал и разговаривал сам с собой.

Потом поднял взор и поглядел твердо:

— Радуйтесь таковому дитищу, а не страшитесь! Бог избрал вашего сына прежде рождения его. И вот вам знамение: уйду, станет он разуметь грамоту и книги святые честь добре и разумно.

Кирилл с Марией переглянулись, не в силах поверить, но не смея и выразить сомнений своих.

— Будет ли конец сему? — воскликнул, решась, почти с отчаяньем, Кирилл. — Или что и вперед еще совершит странное с отроком сим?!

Старец вздохнул, делая движение подняться и протягивая руку за дорожным посохом своим. Во взоре его уже возникло то остраненное, «далекое» выражение

— как будто сквозь стены хоромины повиделись ему незнакомые дальние дали, — которое проявляет себя в лице странника после краткого отдыха при дороге перед первым, самым тяжелым шагом в неизвестность грядущего пути.

Восстав и оправив платье, он приодержался на миг, торжественно возгласив:

— Сыне мой! И ты, дочь моя, запомните! Первое — отрок сей, с часа этого, будет знать грамоту. Второе — будет он велик перед Богом. И третье — сын ваш станет обителью святых Троицы!

Последнего ни Кирилл, ни Мария не поняли толком, но оба почуяли враз, что вопрошать более неведомого гостя неможно, и только враз поклонились осеняющей руке странника.

Гость мерным шагом покинул покой. Была минута замешательства, токмо минута! После коей оба родителя согласно выбежали вон, вслед старцу, догнать, проводить, еще расспросить перед дорогою... Но старец уже успел уйти со двора. А выглянув за ворота, они увидели лишь сияющий день, кур, нетревожимо рывшихся в пыли, небо с одиноким белым облачком, невесомо тающем в аэре... Но уже нигде не узрели прохожего пресвитера. То ли он завернул за угол дома, то ли перешел через дорогу, в кусты, то ли вовсе повернул в иную сторону? Да и был ли он?! Не ангел ли Божий в образе старца бысть послан в дом боярина Кирилла, дабы наставить и укрепить будущего великого подвижника Святой Руси? И сшед с небес, исполнив назначение свое, исчез невестимо, растаял в небесной лазури?

Был! Приходил, и молился под дубом, и пожалел, и научил мальчика, ибо мудрым опытом жизни своей враз уразумел, какую беду терпит отрок Варфоломей, и как ему надобно помочь в его горе. Был наставник! Был прохожий человек, коему мы и теперь поклонимся земно! Пусть с миром и нерушимо починут кости его где-то в родимой нашей земле!

Был наставник. И высшим промыслом означено, чтобы он был всегда!

Приходит час, когда и родители не имеют власти над дитятею, и нужен, надобен наставник добрый, чья воля и пример означат начало пути, укажут стезю многотрудную, по которой каждому должно пройти, не сбиваясь и не плутая, дабы достигнуть завещанного ему от рождения судьбой.

Помыслим же о наставниках своих! Добрых наставниках (злые не в счет, ибо посланы они не от света — от тьмы). Все ли заветы их исполнены нами?

Все ли, что могли, и, значит, должны мы были свершить по заветам их, нами свершено и достигнуто? С горем признаемся себе мы, многие, что ленились или робели идти неуклонно указанным ими путем! Помню и я, как сидел, юношей, в каменной сырой палате пред стариком глухим и убогим, который был подлинно велик в науке своей, и перед ним, в ящиках, лежало все его добро — единственное в мире собрание манускриптов редчайших... И слушал его, дивясь и ужасаясь многотрудному пути ученого, и знал, подлинно знал, что и мой это путь! А в отверстие окна входил теплый ветер, и радостные крики неслись от реки, и чудо дня, мгновенная радость минуты, лукавый взгляд где-то там, на солнечном берегу, отвращали меня от предназначенной судьбою стези. И вот я послушался ветра, — где он теперь, теплый ветер тот? И радостей дня, — куда сокрылись они? И лукавых очей, взгляд которых мелькнул и угас в дальней дали умчавшихся лет! И не выбрал стезю, по которой тоскую теперь, на исходе годов, ибо есть только Путь, остальное же все — лишь преграды на пути да обманы!

И только на склоне лет, не свершив и малой толики того, что мог и, значит, должен был свершить и я, и другой, и каждый, начинаешь с тоскою понимать, сколь счастливы те, кто уже в юности не изменил судьбе и не погнался за счастьем! Кто враз и навсегда выбрал свой путь, и шел по нему от истока лет и до конца, не сбиваясь и не уставая, так точно, как шел по своему пути, во младенчестве начатому, отрок Варфоломей.

В тот же день, ввечеру, Мария и Кирилл со страхом, а Стефан с изумлением, слушали, как Варфоломей, сбиваясь, путаясь и краснея, но довольно бегло и споро читает святое Евангелие.

Глава 21

Не пришлось изучать Варфоломею ни риторики, ни красноречия, ни греческого языка. Новая беда пронеслась над городом Ростовом, сокрушив, походя, ихний боярский дом и заставив невезучую семью искать пристанища в иных землях.

Свадьбу юного князя Константина Васильевича с Марией, дочерью Ивана Даниловича Калиты, справляли пышно. Молодых от самого собора до теремов вели по красным коврам. Родовались неложно, чая от московского великого князя заступы и обороны по нынешней неуверенной поре: всего год назад страшно разгромлена Тверь, излиха досталось от проходящей Туралыковой рати и ростовским украинам. Нынче и самые упорные доброхоты тверских князей притихли, выжидая, — что ся содеет? Как повернет оно под новою, московской рукой? И то, что князь Иван вскоре купил у хана ярлык на Ростов, мало кого испугало поначалу. Ну что ж! Пущай сами попробуют с мыта, да с весчего, да с лодейного, да с повозного, опосле Шевкалова разбору получить поболее наших даньщиков да бояр! Земля разорена, в торгу скудота, сами ся убедят, дак посмирнее станут той поры! Так и встретили первых московитов: престарелого боярина Кочеву с дружиной. Постойте-ка сами у мыта!

Посбирайте дань татарскую! А мы — поглядим!

Когда Мина с молодцами вступил в Ростов, Кирилл был у себя в загородном поместье. Гонец от Аверкия примчал в потемнях, когда уже в доме сряжались опочивать.

Кирилл с неохотою оболокся, застегнул серебряный пояс и, отмахнув головою на заботное вопрошание встревоженной Марии:

— «Московиты чего-сь-то шумят, купили ярлык, дак и нейметце теперя!» — полез на коня.

Все же встревожен был и он. Стефану, что тоже было намеривал скакать с отцом, непривычно строго велел сидеть дома; холопам, что сопровождали господина, приказал вздеть брони и взять оружие; Даньше поручил разоставить сторожу ради всякого случая, не сказав, впрочем, какого и против кого, и что делать, ежели нагрянет и впрямь какая ратная сила?

На вечереющей дороге затих топот копыт. Потянулись часы, полные ожидания и смутной, немой тревоги. Мария, уложив детей, так и не легла, молилась, волнуясь все больше и больше. Обещанный Кириллом ратник так и не прискакал, и в доме не знали, что тотчас вслед за тем, как Кирилл с провожатыми достиг Ростова, московиты переняли все ворота и назад из города не выпускали уже никого.

Кирилл в улицах дважды натыкался на оружные отряды московитов, все еще не понимая, что происходит во граде? Беда? Какая? То, что московские бояре порешили, оцепив город, силою собирать серебро для князя Ивана, такого помыслить Кирилл и вовсе не мог. Градского епарха, Аверкия, в его тереме он не нашел. На широком дворе суетились в потемнях люди, трещали факелы. Кто-то, пробегая, повестил, что господин поскакал на княж двор, где остановились московские бояре. Кирилл решительно повернул коня к терему князя Константина. Но, не доезжая площади, они наткнулись на рогатку. Московские ратные с руганью остановили Кирилла. Заставили слезть с коня, долго выясняли, кто и зачем? К теремам

допустили его одного с одним пешим холопом и без оружия. Прочих Кирилловых ратных решительно заворотили назад. Тыкаясь у коновязей, пробираясь и оступаясь в долгой своей выходной ферязи, сквозь смятенную толпу нарочитых граждан, собравшихся перед теремами, Кирилл растерял весь свой гнев и решительность, с какой кинулся было несколько часов назад на подмогу Аверкию. Когда повестили, что молодого князя со княгиней нет в городе, ему стало совсем зябко, и уже он в безотчетном желании бегства искал глазами холопа своего, все еще не понимая, что же творится тут, и какая беда собралась ночью у теремов почитай всю городскую старшину? Когда ты привык быть при оружии и в почете, ведать за спиною дружинников, что послушно лягут костями за своего господина, — вдруг оказаться одному, обезоружену, зажату в испуганной полоненной толпе не то ходатаев, не то жалобщиков, ужас охватит и не робкого. Где Аверкий? Где иные думные бояре ростовские?!

Наконец отыскались двое знакомцев, но и они не ведали ничего.

Нестройной толпою меж двух рядов ошетиленных железом московитов они были пропущены, наконец, в думную палату. В уши бросился хриплый, надсадный крик Аверкия:

— Не позволю!

И едва успел уяснить себе боярин Кирилл, что же происходит во граде, едва успел разгневаться на самоуправство московских бояр, — а все казалось: надобно только отыскать князя Константина, повестить ему да пасть в ноги великому князю Ивану Данилычу, и само собою будет исправлено днешнее непристойное нестроение; московитов уймут, и все воротит на своя си, по старине, по обычаю, како от дедов-прадедов надлежало... Того, что сейчас, тотчас, Аверкия нелепо повесят за ноги, стремглав, головою вниз, не знал, не мог и помыслить такого боярин Кирилл, и когда свершилось, когда маститый старец повис перед ними с разинутым ртом и задранною бородою, с павшими на плечи полами долгой боярской сряды, непристойно обнажив пестротканые порты на дергающихся худых старческих ногах, когда достиг его ушей булькающий хрип и взлаивающий кашель главы городского, — в глазах Кирилла поплыло все, и, наверно, имей он оружие при себе, невесть что и створил бы, ибо паче смерти позор и глум, паче смерти! Но рука не нашарила на поясе дорогой сабли, снятой давеча за рогаткою и отданной своим холопам, и — ослабла рука, и задрожали и подогнулись ноги, и рыдающий вопль исторгся из груди, а кругом также падали на колени, также молили пощады... Перед лицом наглой торжествующей силы, потерявши достоинство свое, они теперь соглашались на все — на грабеж и поборы, лишь бы уцелеть, опять уцелеть, опять отсидеться за спиною сильного, позволяя ему творить с собою все, что захочет...

Домой воротился Кирилл утром, пьяный от усталости и ужаса. В глазах все стоял кровавый лик Аверкия, уже снятого с веревки. Из ушей старика текла кровь, а глаза, в мутной, кровавой паутине, почти уже не видели ничего...

Его трясло, когда он слезал с коня. Мария только от ратных дознала, что и как створилось во граде.

...И когда на завтра пожаловал к ним в поместье сам Мина с дружиною, Кирилл только глухо отмолвил жене, кинувшейся к супругу:

— Доставай серебро!

Он и здесь, однако, не понял, не сумел постичь до конца тяжелого смысла происходящего. Вздумал откупиться, выплатить серебряный долг драгою рухлядью, — не тронули б родового добра! Кинул четыре связки соболей (Мина взял, не поморщась), сам вынес бесценную бронь аравитской работы, мысля дать ее в уплату ордынского выхода.

Драгая бронь тяжелым, жарко горящим потоком излилась и застыла на столе. Синие искры, холод харалуга и жар золотой насечки на вогнутых гранях стальных пластин, покрытых тончайшим письмом, серо-серебряная чешуя мелких колец, слепительный блеск зеркала... Ратники смотрели, ошалев. Мина странно хрюкнул, набычась, сделал шаг, и вдруг, твердо положив руку на бронь, выдохнул глухо:

— Моя!

Кирилл глянул на широкого в плечах москвича с высоты своего роста, чуть надменно, и, помедлив, назвал цену брони в новгородских серебряных гривнах. Мину дернуло, он повел головою куда-то вбок, рыжими глазами яростно вперясь в ростовского великого боярина, хрипло повторил:

— Моя! — И, в недоуменное, растерянное, гневное лицо Кирилла выдохнул:

— Беру! Так! — Он когтисто сграбастал бронь, чуть согнувшись над нею толстые плечи, повторил яро и властно:

— Так беру! Даром! Моя!

Ратники, рассматривавшие бронь, восхищенно цокая, приобалдев, раздались в стороны, глядячи то на своего, то на ростовского боярина: «Что-то будет?» — Голубые очи Кирилла огустели грозовой синью, казалось...

Показалось на миг... И волчонок, старший ростовского боярина, вывернулся было, — не в драку ли готовясь, — в пахучую густоту мужских тяжелых тел, тяжкого злого дыхания ратны... Но вот угасли синие очи ростовского боярина. Голова склонилась на грудь, и голос упал, теряя силу и власть, когда он спросил москвича затрудненно:

— По коему праву, боярин?

— Праву? Праву?! — повторил, якобы не понимая, Мина. — Праву? выкрикнул он, сжимая кулак. — Не надобна тебе бронь! Вот! — Он потряс кулаком перед лицом Кирилла. — На ратях бывал ли когда? С кем вы, ростовчане, ратились доднесь? Бронь надобе воину! Оружие какое — отбираю!

Моим молодцам, вот! — выкрикнув, он повел глазами, и округ него враз довольно загоготали и — двинули, и начался грабеж!

— Не замай! — выкрикнул еще раз Мина, сильно толкнув в грудь Кирилла, не хотевшего отступить. Ратники уже ринули в оружейную. Кирилловы кмети

, кто растерян, кто гневно взглядывая на своего господина, нехотя, под тычками и ударами московитов, расступались посторонь. И уже те несли шеломы, волочили щиты, копья, колчаны и сулицы, радостно оборужаясь даровым боярским добром. Это был грабеж уже ничем и никем не прикрытый, разнузданное торжество силы над правдой. И высокий, красивый ростовский боярин вдруг сломался, потерянно согнул плечи и, закрыв руками лицо, выбежал вон. И не то даже убило, срезало его в сей миг, что у него на глазах грабят самое дорогое, что было в тереме, что теперь уже и даней не собрать ему, не выплатить без «насилования многого» дани неминуемой, проклятого ордынского выходного серебра, — а то, что московский тать сказал ему горчайшую правду: воинскую украсу свою натягивал на себя Кирилл многожды на торжественных выходах и выездах княжеских, в почетной стороже, на встречах именитых гостей, но так никогда, ни разу во всей жизни, не привелось ему испытать драгую свою бронь в ратном бою! И в этом горьком прозрении, в стыде, укрыл боярин Кирилл лицо свое от слуг и сына Стефана, коего сейчас свои же холопы оттаскивали за предплечья — не натворил бы беды на свою голову, невзначай, — укрыл лицо и сокрылся, убежал, шатаясь, туда, в заднюю, где и рухнул на ложе, трясаясь в задавленных рыданиях...

Варфоломей в этот час бессовестного разгульного грабежа бродил один по дому, среди перепуганных суесящихся слуг и шныряющих там и тут московитов, спотыкался о вывороченные узлы с рухлядью, сдвинутые и отверстые сундуки. Со страхом зрел, как мать, с пугающе-тонким, в нитку сжатым ртом, с запавшими щеками, с лихорадочно светящим взглядом на белом бумажном лице, разворачивала портна, открывала ларцы, словно чужое чье-то кидая в большой расписной короб серебряные блюда и чаши, драгие колты и очелья, перстни и кольца, и даже, морщась, вынула серебряные струйчатые серьги из ушей и, не глядя, кинула их, невесомо-сверкающие, туда же, в общую кучу домашнего, и уже не своего, серебра...

А там, вдали, на деревне, куда ушла запасная дружина москвичей, тоже вздымался пронзительный вой женок, и бляение, и мычанье, и испуганное ржанье уводимых коней, и звонкое хлопанье дверей, и крики, и гомон...

Каждый московит уводил с собою по заводному коню, иной и другую какую скотину прихватив:

— В Ростов послали, дак не зевай! Князю серебро, а кметю конь, да справа! Тем и рать стоит! А бабы, глупые, дуром верещат, татары бы тута и их самих во полон увели!

Жрали, пили, объедались, резали чужую скотину, торочили на поводных, награбленных коней награбленное добро: скору, лопоть, оружие и зипуны.

Старшие, не слушая брани и бабьих завываний, взвешивали и пересчитывали серебро, плющили, сминали блюда и чаши, те, что попроще, без позолоты, письма и камней, — все одно,

в расплав пойдет! Иные, воровато озрясь, совали за пазуху: князь — князем, а и себя не забудь! Вой стоял на деревне — как по покойникам.

К вечеру Мина, сопя, сам взвешивал заново веские кожаные мешки, безжалостно бил по мордам, разбивая в кровь ражие хари своих подопечных: вытаскивал из пазух и тороков утаенные блюда, кубцы, достаканы и связки колец. Братъ — бери, рухлядишко там какое да животишко, а серебро штоб все Ивану Данилычу на руки! Меру знай! Князеву службу худо сполнишь, в другу пору и за зипунами тебя не пошлют!

Спать улеглись вповал, на полу, на сене, в Кирилловой молодечной. У скрыней, ларей, сундуков и мешков с набранным добром всю ночь стояла, сменяясь, недреманная сторожа. Теперь и сам Мина нет-нет да и напоминал ратным о двух казненных великим князем за грабительство на Москве молодцах:

— Ополонились? То-то! Неча было и шуметь не путем! Данилыч, он и строг, и порядлив зело! Ему служи верно: николи не оскудеешь!

В сумерках на дворе сиротливо и тонко ржали чужие кони у коновязей, напрасно подавая голоса хозяевам своим. Притихла ограбленная деревня, стих, разоренный и опозоренный, боярский двор. Едва теплит одинокий свечной огонек в изложне, где вся семья собралась, точно на пепелище, не зная, то ли спать, то ли горько плакать над новою бедою своею, которая, уже понимали все, сокрушила вконец и до того уже зело хрупкое благополучие их обреченной семьи. Отец сидит молча, на сундуке, он так и не лег, потерянно и тупо глядит на свечной огонек. Уста шепчут беззвучную молитву, он разом остарел и ослаб. Мать тоже не спит, что-то сердито штопает, склонясь у огня, со стоическим, отемневшим ликом. Нянька дремлет, вздрагивает, вздергивая голову в сонной одуре, тупо взглядывает на госпожу, не смея лечь прежде самой Марии. Стефан лежит ничью, вытянувшись, зарыв лицо в красное тафтяное зголовье, тоже не спит, думает, хотя в голове уже гудит, и хоровод мыслей колеблет и шатает, словно свечное вздрагивающее пламя. Давеча его только-только успели оттащить, не то бросился бы в драку с оружием на обидчиков своих, а сейчас думает и не может решить. Вспоминает отцову бронь и стыдный покор москвитя, о том, что бронь надобна воину для ратного дела... Но что можно одному? Против многих? Но что можно одному, Господи, когда сам отец, когда даже отец!..

Кинуться, умереть... И кто пойдет вослед тебе? Или и это гордыня? Так почему же он не погиб, не умер, он, боярский сын и воин, почему?! И кто враг? Они? Эти вот? Или все же Орда? Литва? Католики? Или главный враг робость своих же ростовчан? Разброд русичей, братоубийственная пряха Москвы с Тверью, доносы друг на друга? И что должны были бы делать они, эти вот?!

Не братъ отцову бронь? Заплатить за нее? Чем? Воин живет добычей, а даньщик корыстью. Никто же весть, в самом деле, сколько заплатил Иван Калита в Орде за ростовский ярлык! Никто же весть... Что ж сами-то мы, сами на что?! Почто ж бы сами-то... Как отступил, как сдался отец! Не думать, не думать! Он краем глаза взглядывает в сумрак, туда, где потерянно, все так же шевеля губами, сидит родитель, и тотчас отводит глаза, оборачивая взор в иную сторону, рядом с собою. Петька спит, вздрагивая, а Олфера тоже не спит, сидит на постели и молится.

— Ты что? — шепчет Стефан, едва шевеля губами. Варфоломей готовно ныряет в постель, прижимаясь к брату. Его тоже трясет и колотит нервная дрожь. И они молчат, лежат, обнявшись, братья сброшенные, потерянные и затерянные в неисходной пустоте сегодняшнего погибшего дня. И оба не знают, что делать им, что думать и как строить вперед свою жизнь, не ту, внешнюю, где слуги, хлеб и где с голоду не умрешь, — все одно принесут из деревни, — а внутреннюю, духовную, важнейшую всякой другой? Куда направить теперь ум и силы души?

И Стефан не слышит, не чувствует, не знает: Варфоломей сейчас весь как струна кимвальная: до хруста сжимая зубы, молится, упорно ломая себя, повторяет святые слова, зовет Господа, молит, велит, заклинает — помочь!

Не отцу, не семье, не матери; помочь детскому уму своему и детскому сердцу не огореть, не ожесточить от всего, что преподносит ему жизнь, а понять, постичь высший горний смысл и горную волю, над всем этим позорищем распростертую.

Или, вручив им, малым и сирым, свободную волю свою, Господь и сам теперь ждет от них

решения? Ждет, что же сами они содеют, и найдут ли вернейшее и нужнейшее в жизни сей? Ибо тогда, иначе, быв вынуждену вмешиваться раз за разом в людские судьбы, стоило ли ему и создавать этот тварный мир и все сущее в нем?

— Господи, воля твоя, сила и слава твоя! Научи! — молча и строго, по-взрослому молит отрок Варфоломей. — Христиане же они, такие, как и мы, православные, не орда, не вороги! Как совокупить нас и их после всего сущего в братней любви? Дай постичь, Господи, я все приму, но дай постичь волю твою и веление твое!

— Господи! Сотвори что-нибудь, из бездны воззвах к тебе! Повиждь и пойми, что так больше нельзя, невозможно! Дай мне силы вынести все это, помоги! — молча молит Стефан.

— Господи, воля твоя! Помилуй меня, Господи! Господи, помилуй меня!

Господи, помилуй, Господи, помилуй! — потерянно шепчет в своем углу их отец, боярин Кирилл.

Глава 22

После московского разоренья жить стало невозможно совсем.

Сразу после отъезда москвитов Кирилл узнал, что разбелась половина военных слуг, а Ока и Селиван Сухой с Кондратом так прямо и подались к москвичам.

— Сманили! — объяснял Даньша. — Баяли: под нашим господином без прибытка не останесси! Ну, и робяты поглядели на наше-то разоренье, дак и тово...

Объясняя, Даньша отводил глаза. Почему он, Даньша, сам не остановил беглецов, Кирилл, понятно, не стал спрашивать.

Прислуга нынче совсем извольничалась. Накажешь — не исполнят, напомним — огрубят в ответ. Но и гнева на слуг, как ни пытался Кирилл вызвать его в себе, не было. Понимал затаенную мысль, что гвоздем стояла в холопских глазах: что ж ты за господин, коли ни себя защитить, ни нас оборонить не сумел от разору!

Давеча велел Окишке нарубить дров. Через мал час вышел на двор секира празднится, воткнутая в колоду, Окишки нет как нет.

— А, убрел куда-то-сь! — лениво ответила подвернувшаяся портомойница.

— Куда убрел?! — наливаясь кровью, взревел Кирилл. Баба глянула полуиспуганно-полуглумливо, не ответив, ушмыгнула в челядню.

Кирилл вдруг, крепко задышав, скинул зипун на перила и, подсучив рукава, начал сам, часто и надсадно дыша, рубить березовые комли. Он был уже весь мокр, капало со лба, и по спине струились горячие потоки, когда Мария, выглянув на задний двор, узрела, что вершит ее супруг, всплеснула руками, ахнула, метнулась в терем, и тотчас выскочил постельничий, подбежал, пытаясь отнять топор у боярина. Кирилл молча отодвинул холопа плечом, отхаркнул горечь, скопившуюся во рту, и вновь взялся за секиру.

Когда наконец прибежал, запыхавшись, Окиш, от коего далеко несло кислым пивным духом, на дворе уже высилась груда расколотых поленьев, и Кирилл, спавший с лица, окончательно изнеможенный, кинул холопу, не глядя, секиру, и, шатаясь, пошел в дом. Все рушилось, все кончалось, и надо было что-то предпринимать уже теперь, немедленно, пока и последние слуги не ушли со двора, пока еще есть в доме мясо и хлеб, пока кого-то можно приставить к коням, и кто-то еще стирает портна, шьет и стряпает, пока они все не пошли окончательно по миру...

Он тупо позволил Марии стянуть с себя волглую рубаху, обтереть влажным рушником чело, спину и грудь, уложить в постель... Прохрипел, не поворачиваясь:

— Уезжать надо, жена!

— Куда?

— Куда ни-то. На Белоозеро, в Галич, в Шехонье, али на Двину... Не могу больше!

— Ты отдохни, охолонь! — нежно попросила она. — После помыслим, ужо!

Окишку-то твоего даве родичи на село сманили...

— Бог с ним, — отмахнул Кирилл. — Не в ем дело, жена! Во мне, в едином. Все ся рушит. Вконец. Под корень вырубили нас! — Он замолк, и Мария так и не нашла, что ответить супругу.

А Кирилл, трудно дыша, думал про себя, что надо начинать все сызнова, на месте пустом и диком, и что он опоздал, опоздал навсегда! Ушла незримо, неведомо как и на что, сила из рук; ушло, расточилось мужество сердца, гордая злость и дерзость молодости, и уже не может, не умеет и не сумеет он ничего и... нельзя погибать! Надо найти в себе коли не силы, так хоть отчаяние, ради сыновей, ради родовой чести своей, опозоренной и поруганной московитом...

Посоветовавши с роднею, послали слухачей на Белоозеро. Месяца четыре от них не было ни слуху ни духу...

Под осень уже, когда свалили жнитво, обмолотили и ссыпали хлеб, убрали огороды, воротились посланцы. Не все. Двое так и пропали, отбежали господина своего на земли вольные, исчезли навсегда в необъятных северных палестинах.

Слухачи принесли вести невеселые. Долгая рука Москвы дотянула и туда: белозерский ярлык тоже оказался перекуплен московским князем Иваном.

Куда же тогда? В Тотьму? В Устюг? Как-то еще и примут там ростовского великого боярина! Да и боязно было все же на склоне лет отважить в эдаки дали дальние! Бессонными ночами Кириллу все блазило: неведомый путь, холмы и пригорки, голубые и синие леса за лесами; тишина и покой нехоженных, нетронутых палестин. Да ведь зналось и другое: зимние вьюги, дожди, неродимая земля под лесом, который надо прежде валить и выжигать...

Где взять рабочие руки, силы, мужество, наконец, чтобы заново, на старости лет, начинать жизнь?

Ордынскую дань, меж тем, и нынче опять должны были собирать московиты, и Кирилл со страхом ждал нового наезда гостей непрошенных. Земля оскудела от мокрых неурожайных лет, деревни обезлюжены моровой бедою, разорены ратным нахождением (многих, ой многих увели с собою проходившие после погрома Твери татарские тумены Туралыка с Федорчуком!). Казна, изрядно запустевшая от частых посольских нахождений и поездок в Орду, теперь, после московского грабежа, была совершенно пуста. Хлеб, лен, кожи, все, что копилось для себя, нынче пришлось задешево попродавать новгородскому да тверскому оборотистому гостю, чтобы выручить хоть малую толику серебра на ордынский выход, а дальше как? Последние верные холопы того и гляди покинут боярский двор...

А другаяко поглядеть: во-он оно! Весь оком как на ладони! Родимое все, рукотворное, родное!

Там, за кровавой поляной (по преданию, бились тут русичи с неведомым языком еще много прежде татарского нашествия), пожога и пашня, которую Кирилл устраивал еще во младых летах, а в той вон стороне тогда же гатили топь, клали мосты, рубили дорогу сквозь бор! И помнит, как он, молодым статным удалцом, кинув наземь щегольской белотравный зипун, брался сам за секиру, и как лихо валил и тесал смолистые деревья! И не было этой задышливости нынешней, старческой немощи поганой; от работы той, давней, гудела сила в плечах и дышалось легко, в разворот, румянец полыхал во всю щеку, и топор, словно намащенный, входил в свежее, брызжущее соком дерево... Куль зерна мог боярин в те поры швырнуть одною рукой, шалого коня останавливал враз, взяв под уздцы, и пятил, смиряясь, конь, почуяв стальную руку господина... Куда подевалось все? Не там ли, в ордынской пыли города-базара, Сарая, исшаял и смерк румянец молодого лица? Не от песчаного ли южного ветра сощурило очи и морщины легли у глаз и висков? Не в сиденьях ли долгих в думе княжой одрябло тело, ослабли ноги, что сейчас не дадут ни пробежать путем, ни взмыть, не касаясь стремян, на спину коня?

И на что ушла жизнь, было ли что истинно великое в ней, в прошедшей судьбе великого боярина ростовского? Суета сует, — как сказал древний Екклезиаст, — суета сует и всяческая суета!

Нынче все чаще начал он без дела засиживаться в повалуше, внимая рассказам бродячих странников и странниц, иногда со старым другом своим, Тормосовым, и жена, Мария, не унимала супруга в невинной утехе его.

Одинокая свеча потрескивает в высоком стоянце. Во мраке мелькают, отбрасывая тень, неустанные руки Марии, руки матери, нынче вовсе забросившей шелковую гладь да золотое шитье: чинят, да штопают, да перелицовывают остатнее боярское добро. Кувшин луженой меди да две чудом сохраненные серебряные чарки одиноко посвечивают на столе. Чарки налиты, но

оба боярина не пьют, задумались. И течет, словно робкий огонек свечной, тихий сказ странницы, повествующий о граде Китеже, и нежданною новью звучит для обоих давно знакомый старинный сказ:

— И как подошли к нему злы татарове, а Китеж-град туманом одело, и стал он невидим поганым; и тихо так, невестимо, неслышимо, утонул, со всема утонул, сокрыло его водою. Татарчонок подбежал к берегу, зрит, а тамо и костры, и стена городовая, и дома, и терема, и гульбища, и верхи церковные — все, как оно исстари стояло, цело и непоручено. И люди вси, купцы и бояра старцы и старицы, ратный чин и молитвенный, все туда ушли, а словно как живы, токмо уж их не достать! И к им ходу нету ни для кого.

Все, как есть, не тронуто, а и недостижимо. Вода в озере тихая-тихая, а набежал ветер, и сокрылось видение. Ни с чем остались татарове, не найти им уже того града святого вовек! И озеро то, Светлояр, одним верным теперь когда откроется; те и узрят видение града Китежа. Да порою звоны колокольные слышимы над водою. А вси они тамо и живут, по заветам древним, и Господа молят за нас, а уж и не выходят оттоле, ото всего грешного мира сокрыты! Ни даней у их, ни наездов, ни грозы ото князя великого...

— Ни серебра не емлют! — подсказывает Тормосов, нерешительно приподымая чару.

Где найти свой Китеж, град потаенный, куда сокрыти себя от жадной и требовательной длани московского володителя? Где ты, Китеж-град, прибежище родимой старины, град отчих заветов непорученных! Где ты?!

Глава 23

Мамушка!

Как я тебя люблю! Люблю твои руки, твои запах, всю тебя, самую-самую красивую на земле, самую дорогую, дороже никого нет, кроме самого Господа!

В трудноте, в заботе, в болезни, у детского ложа моего — всегда ты! И когда изнемогаю духом, и слабею, — только подумаю, как бы мне ткнуться тебе в грудь, и замереть, и чуют твою сухую ладонь на своей голове, и всякая забота, и злоба, и труднота отступают и стихают, и уходят боли и немощи.

Как было бы хорошо задержать это навек: и детство, и незаботность, и твою ласковую руку, и покой, исходящий от тебя; как было бы хорошо век оставаться дитятею, и век была бы ты... И жизнь, и солнце, и все сущее окрест, тоже не менялось бы никогда? Не проходило ни злое, ни доброе, не утихали ни мир, ни война, ни болезни, ни скорби, ни горе, ни радость?!

Нет, помыслить нельзя неизменным этот наш мир! Все проходит, и в этом своя великая благодать. И детство пройдет, как и мужество, как и старость, как и вся жизнь, и ничего доброго не бывает с теми, кто тщится задержать, остановить сущее, кто и на возрастии продолжает быть дитем, а не мужем, прячется за спину родительскую, не ведая, что уже и жалок, и смешон в позднем малолетствии своем. Нет! Суждено нам уходить от ласковых материнских рук, уходить в большой и суровый мир, суждено и надобно, и так заповедано Господом: «не умрет зерно, но прорастет». Суждено и надобно, дабы из дитяти вырастал муж, и вершил, и думал то, о чем уже не учили, чего не знали еще престарелые родители дитяти. Приходит час, когда надо уйти, когда надо расстаться с тобою, так же, как и с детством своим.

Прости меня, мама! Буду ли я более тверд или более добр, или иначе тверд и по-другому добр? Тебе уже не понять, и не надо понимать, мама! Ты вечно пребудешь со мною такая, какая ты есть! В мечте, в воспоминании, в тайная тайных души, в слезе, пролитой над твоею могилой, в той влаге, что осеребрит ресницы воина в дали далекой, на чужой земле, при одном воспоминании о тебе. Я ухожу от тебя! Забываю? Нет! Вечно помню, вечно, до гроба, буду любить тебя, и жалеть, даже тень твою, даже далекую память о тебе... Я ухожу! Ухожу, как и всякий, ухожу от тебя...

Мамушка! Не противься мне, не удерживай меня, Господа ради! Надо так!

Так надо, мама! И помни, что я всегда буду любить и помнить тебя, — где бы ни был, кем бы ни стал, сколько б ни минуло лет!

Дети теперь тоже отбились от рук. Стефан все меньше учился, — хоть Мария и пробовала толковать ему, что только на его ученьи и держится теперь вся надежда семейная, — зато влезал во всякое хозяйственное дело, неумело приказывал холопам, сам, стойно отцу, брался за неподобные сыну великого боярина мужицкие дела: за топор, тупицу, кузнечное изымало или рукояти сохи. Яростно мял кожи, выучился скать свечи и тачать сапоги...

Младший, Варфоломей, учудил себя и того страннее: почал строго блюсти посты, молиться по ночам, стоя босиком на холодном полу изложни, вести себя стойно монаху, истязая плоть голодом и жаждой. Мария не раз приступала к отроку, толкуя, что он еще мал, что пока плоть растет и цветет, можно понапрасну заморить себя, подорвать, навечно лишив здоровья...

Варфоломей ничему не внимал. Взял волю, когда его хотели насильно кормить, молча вставать и уходить из-за стола. Мария, в одночасье, не выдержала: выбежала вслед за сыном, с куском пирога в руке:

— Олфоромей! — Отрок остоялся, опустив голову. — Другие дети и до семи раз едят на дню! А ты что ж? Один раз, да? — В голосе у нее зазвенели близкие слезы. — Все добро, но в свое время! Ну же! — Она привлекла к себе слегка упирающегося сына, сама опустила на лавку:

— На-ко, съешь пирожка! Ты ведь хочешь, ну? По глазам вижу! Где твои глазки, ну? Подыми рожицу, погляди на меня!

Засуетясь, она стала совать пирог в рот сыну почти насильно. Он стоял, не отворачивая лица, но крепко сжав губы, и вдруг крупные слезы, горохом, покатались у него из-под прикрытых век. Мария растерялась, уронила руку с пирогом:

— Ну, мой хороший, ну, не надо, пошутила я! Не надо никакого пирога, дитеныш ты мой глупенький... — Нашарив край лавки, она отложила злополучный пирог и крепко обняла Варфоломея, вдруг ощутив со страхом, что и этот ее малыш скоро уйдет, отодвинется от нее, что уже сейчас в нем растет и зреет что-то свое, чуждое ей и несгибаемое, и тотчас и подосадовала на себя: курица! Словно наседка над цыплятами, а им взростеть!

Варфоломей так же враз, как начал плакать, так и прекратил. Слегка упираясь в грудь матери и склоняя голову, он заговорил с тихою горячей убежденностью:

— Не понуждай, мамушка! Сами же сказывали про меня, что, еще в колыбели быв, в середи и в пятны молока не ел! Я теперь обещался Богу, чтобы избавил меня от грехов! — присовокупил он еще тише и еще ниже опуская голову.

— Господи! — невольно воскликнула Мария, — о каких тебе грехах баять!

Двенадцати лет нету еще! Да и огляди ты себя, Олфоромеюшко! Золотой ты мой, вон какое личико у тебя чистое, ну? Не видимо на тебе знамений греховных!

Сын поднял голову, поглядел серьезно и вдумчиво. Ответил, прямо глядя в глаза Марии:

— Перестань, мамушка! Это ты, знаю, говоришь, яко суцая чадолюбига, по любви к нам, детям своим! Сказано, ведь: «Никто же чист перед Богом, аще и един день живота его будет, никто же есть без греха, токмо един Господь!» — Он произнес священные слова отчетливо и строго, словно в мгновение ока повзрослев. Но и тут же трепещущею рукою легко-легко, едва касаясь перстами, провел по материной щеке, и Мария безотчетно вздрогнула от этой, такой детской и вместе такой задумчиво-мудрой ласки отрока.

Что-то было в этом ее сыне такое, чего она не понимала, не могла постигнуть совсем.

— И у Давида-царя сказано, — присовокупил он, помедлив, из-под-тиха, — «Се бо в беззаконии зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя». Это не про тебя одну, это про всех про нас, мама! — с торопливою нежностью, но и настойчиво, промолвил он. Мария лишь молча прижала к своей груди голову сына и стала гладить шелковые льняные волосы, словно невесть чего устыдятся...

Когда она, вздохнув, встала, наконец, Варфоломей молча вложил ей в руку остывший кусок пирога, который ему, конечно же, как ребенку, хотелось бы съесть, но тогда обрушилось бы все, с таким трудом возводимое им здание подвига, а этого Варфоломей уже не хотел совсем, ибо только подвиг должен спасти их всех: надобно переделать себя самого, а тогда, безо всякия брани, можно станет переделать и москвитов! Недаром он когда-то,

полуторагодовалым малышом, взбирался, и взобрался-таки, на страшную для него, в те поры, лестницу!

Он молча долго глядел в спину уходящей матери. Увидел, пожалуй, впервые, что спина у нее стала круглиться, сутулиться, что уже и движение ее шагов не то, легко-стремительное, как было раньше, как было всегда дондесь, и понял, с пронзительной горечью, что мать стареет и уже в чем-то главном перестает его понимать, понял, постиг, с такою острой недетской болью и страхом, что чуть было не побежал ей вслед, чтобы только для ее тишины и радости взять клятый пирог из материнских рук... Ведь можно бы и не есть, а после скормить братику! — запоздало подумал он, но тут же и отверг: такое значило соблазниться ложью одновременно и перед матушкой и перед Богом.

Опустив голову, как никогда одинокий, он побрел в изложню, где перед домашнею божницей встал на колени и начал горячо молиться, призывая Творца на помощь себе, как уже было не раз и не два:

— «Господи! Ежели все так и есть, как поведали родители мои, яко прежде рождения моего благодать Твоя и знамение Твое были на мне, — дай же мне, Господи, измлада, всем сердцем и всею душою полюбить Тебя!

Яко от утробы матерней привержен к Тебе, и из ложесн, и от сосцов матери моей! Ты еси Бог мой! Яко, егда сущу ми во утробе матерни, тогда благодать Твоя посетила мя!

И ныне не оставь мене, Господи, яко отец мой и мати моя оставляют меня! Ты же, Господи, прими мя, и присвой к Себе, и причти к избранному Тобою стаду! Яко Тебе оставлен есмь нищий, и из младенчества избавил мя, Господи, от всякия скверны, плотской и душевной! Сподоби мя, Господи, творити, святыню в страхе Твоем!

И пусть вся сладкая мира сего да не усладит меня, и вся украса житейская не прикоснется ко мне! Но да прильнет душа моя во след Тебе, меня же да примет десница Твоя!

Пусть, Господи, никогда, никогда не впаду я в слабость мирскую, не буду радоваться радостью мира сего, но исполни мя, Господи, радости духовныя, радости и сладости неизреченной!

И дух Твой благий, Господи, да наставит мя на землю праву!»

Варфоломей, склонив голову, сосредоточенно замер, слушая самого себя.

Теперь ему уже не хотелось пирога, мысль о еде совсем ушла из сознания.

Что-то большое, светло-величавое, плыло, едва заметно колеблясь, перед его полусмеженными очами. Верно, это и было то самое, дивное, незримое обычному взору (быть может, Фаворский свет?!), которое ему так хотелось узреть во время молитв и постов.

Скажем здесь еще то, что материнские опасения Марии были напрасны.

Даром, что Варфоломей зачастую ел один хлеб с кореньями. Ржаной, только что испеченный, из свежей, недавно смолотой муки, духовитый и пышный, с легкою кислинкой и неведомою внутреннею сладостью, хлеб этот и на деле насыщал досыта. Тем паче, Варфоломей ел не спеша, тщательно пережевывая, дожидаясь, пока рот весь наполнится слюной и скулы начнут сводить от терпкого вкуса ржи, и тогда лишь проглатывал.

Человеку потребно еды много меньше, чем едим мы все, не исключая и тружеников. Только лишь еда должна быть всегда свежою и не проглоченной кое-как, походя, не разбираючи ни вкуса, ни толка. Все ж таки и постясь, и зачастую на хлебе едином, а вырос же Варфоломей, напомним себе еще раз, с двух мужиков силою!

Глава 24

Подошел Филиппев пост. За ним Рождество. Кое-как, с натугою, справили ордынский выход. Хозяйство продолжало падать, люди разбегались, пустели Кирилловы волости. Дани кое-где были забраны уже на три года вперед, и крестьяне наотрез отказывались теперь давать кормы боярину, и даже повозное дело сполняли с натугою, ссылаясь на нехватку коней. Земля оскудевала серебром, и цены на сельский товар и снадный припас в торгу падали. За воск, мед,

портна, пшеницу и скору давали теперь едва ли половину того серебра, что можно было выручить переже московского насилованья...

Не один Кирилл мыслил податься на новые земли. Родичи пересылались друг с другом, судили и рядили, посылали ходоков семо и овамо, словно стая птиц, готовая улететь в иные края. Женки заранее плакали, прощаясь с родимой стороною. Про каждого, кто успел перебраться в Галич ли, Кострому, Устюг на Шексну или Вятку, жадно визнавали: как оно там? Как наши? Как местные? Как принял новый князь, каковы земли, дадены или куплены, и почему? И каковы дани, и какова легота, и дают ли ослабу и помочь на обзаведенье?

На молодого ростовского князя Константина, женатого на дочери Калиты, надежды не было ни у кого, даже у самого Кирилла...

Тяжко уходить с родимых палестин! Тяжко избирать иную родину! Хотя и в пределах той же Руси, а все одно: тут каждый пригорок, речка, березовый колок, каждая пашня, каждый боровой остров — свои и знакомы до слез. Там вон мальцом малым ловил язей, там собирали грибы, и знаешь, в каком колке боровой гриб, где рыжики, где иное что. Каждая тропка изведена, каждый овраг полон преданий и сказов. В том вон бору нечистый пять ден водил старуху Секлетею и отпустил едва живую, когда она, опомнясь, прочла вслух трижды «Отче наш». На этом взлобке по веснам девки водят хороводы, а на том вон высоком холме когда-то кудесили волхвы, и поныне жгут костры в Иванов день. В том вон заовражке побили купцов новгородских; кто побил, неизвестно, но твердо помнят, что купцы были из самого Великого Нова-города и везли с собою сокровища бесценные. А тот вон камень по-за огородами ничем не знаменит, кроме того, что сызмладу с мальчишками играли у камня того и прятались за камень от выдуманного врага, и собирали полянику, что густо росла в траве округ того камня... И как оставить, как проститься и с камнем тем, и с дорогими воспоминаниями юных лет? Все это сердца боль и от души неотрывно. Да, многие силы нужны и многое мужество, чтобы так вот, наново, заново, подняться в иные края!

Онисим на сей раз приехал громкоголосый, тверезый и словно бы даже помолодевший. Крепко обнял Кирилла, подмигнул, шуткуя, склонился к плечу, словно великую тайну повешая, громким нарочитым шепотом повестил:

— Новизну привез! — Был весел, Стефана походя толкнул под бок:

— Все хозяйничаешь? Слышал, слышал! Бывает, и сгодитце теперича!

Шум, стремительный ветер перемен, ворвались с ним в опечаленный терем.

Обедали старшей дружиной, врозь от малышей с мамками. Онисим вкусно въедался в уху, обсасывал головы крупных окуней, отвычно подзуживал хозяина:

— Постничаешь?

В этот день впервые Варфоломей услышал за закрытыми дверями повалуши незнакомое слово: «Радонеж». Сказанное не раз и не два, и с восклицаниями бодрого восторга, и с сомнением, и с раздумчивой неуверенностью, и снова со значением и силою: «Радонеж!»

Слово было красивое, напоминало древний весенний праздник, Радуницу, — радость об усопших родичах, с коими в этот день обрядово пировали русичи, приходя на могилы родных и близких с пирогами и яйцами, пили пиво, кормили птиц, в коих и поднесь многие видели души предков, усопших на отчем погосте. Веселились, чтобы весело было и покойникам: родителю-батюшке с матушкою и дедам-прадедам в ихних истлевших домовищах, чтобы узрели они оттуда, что живет, не погиб, не затмился, не угас в горести их родовой корень на этой земле. Радуница, Радонеж, радостный или памятный? — город.

К вечеру и узналось все по-ряду. Там, в Радонеже, давал земли переселенцам московский князь. Принимал и жаловал людей всякого чина и звания, давал леготу от даней, баяли даже, и до десяти летов. Пахали бы землю, строились, заводили жило. И места были не столь далекие, почитай, еще и свои места, — не полтора ста ли поприщ всего от Ростова?

Онисим визнавал сам, баял, что набольший боярин московский, тысяцкий Протасий, сам созывает охочих насельников из Ростовской земли.

Кирилл сперва зверем взвился:

— К московскому татю? К ворогу?! Чести, совести ся лишить! И баять не хочу! — Но после, поглядев внимательней в отчаянные глаза Марии, под дружный хор голосов всей застольной братии, — почему-то и Яков с Даньшею тотчас и сразу поддержали Онисима, — сник, потишел, начал угрюмо внимать, покачивая головою.

В разговорах, спорах, почитай, и не спали всю ночь. Кирилл вздыхал, ворочался, не по-раз вставал испить квасу. Мария шепотом окликала супруга, уговаривала соснуть, не маяться.

— Как тамо! — бормотал Кирилл. — Дом вовсе порушим, ономнясь и на ином месте не выстать! Тебя, детей...

— Спи, ладо! — отвечала Мария чуть слышно, — Господь не попустит...

Все в воле его! Бывает, и дети подрастут, спи!

Кирилл кряхтел, перекачивал голову по взголовью. Тянуло жилы в ногах, долили думы, не отпускала обида, прежняя, стыдная, — никак было не уснуть!

Так и проворочался до утра.

Назавтра Онисим, прощаясь, затягивая широкий пояс, уже на крыльце дотолковывал вышедшему его проводить Кириллу:

— Да и тово, под рукой у москвитя будем! Тута словно бы вороги князю Ивану, а тамо — свои, чуешь? Гляди, в московскую Думу попадем с тобой! Ударив Кирилла по плечу, полез на коня.

О думе не путем, конечно, сбrehнул Онисим, но хоть не платить десять летов даней-кормов, хоть не давать поганого выхода ордынского, не видеть безобразного грабежа в дому своем!.. В самом деле, на землях московских и мы, почитай, станем для москвитов свои...

Отъехал Онисим, и новые страхи объяли, и пошли пересуды да толки с роднею-природой. А уже и то было ясно, что ехать надо. Не минуешь, не усидишь, не отдышишь за князем своим, что и сам целиком повязан Москвой...

Стефан бегал горячий, пламенный. Варфоломею походя бросил, как о решенном:

— Едем в Москву!

— В Радонеж! — поправил брата Варфоломей, которому сразу понравилось незнакомое слово. Стефан подумал, кивнул как-то лихорадочно-сумрачно, повторил опять нетерпеливо:

— На Москву! — Умчался, как убежал когда-то в детстве, отмахиваясь от маленького братишки. Как там будет, что и кая труднота ожидает их, не важно! В жизни, в коей поднесь все только рушило, ищаивало и меркло, появилась цель, словно слепительный просвет в тяжких тучах, обложивших окоем, — предвестие ясных, радостных дней. На Москву!

Варфоломей вышел на крыльцо, постоял, подумал, ковыряя носком сапога подгнившую ступень, спустился в сырь просыхающего сада.

Была та пасмурная пора весны, когда все еще словно бы медлит, не в силах пробудиться ото сна. Небо мглисто. Снег уже весь сошел, и лишь кое-где мелькнет в частолесье ослепительно-белый на желто-сером ковре измокших, омертвевших трав случайный обросок зимы. Набухшие почками ветки еще ждут, еще не овеяло зеленью паутину берез. И если бы не легчающий воздух, сквозисто и незнакомо, печалью далеких дорог наполняющий грудь, то и не понять — весна или осень на дворе?

Он оглянулся, вдохнул влажный холод, поежился от подступившего озноба и вдруг впервые увидел, понял, почувствовал незримо подступившее к нему одиночество брошенных хором, опустелых хлебов, дичающего сада, огородов, покрытых бурьяном, поваленных плетней, за которыми во всю ширь окоема идут и идут по небу серые холодные облака...

Долгие ли ночные молитвенные бдения, посты ли, налагаемые им на самого себя, так обострили и обнажили все чувства? Или шевельнулось то, смутное, что уже погнало в рост все его члены, стало вытягивать руки и ноги, острить по-новому кости лица, — то смутное, что называют юностью?

Только-только еще задевшей Варфоломея своим незримым крылом! А уже и означило край пушистого, нежного, мягкого и ясного, зовущегося детством.

Да, детство готовилось окончиться в нем, а юность еще только собиралась вступить в свои права. Еще не скоро! Еще не подошла сумятица чувств, и глухие порывы, с первыми проблесками мужественности, — хоть и рано выросли дети в те века, — но уже в обостренной

отстраненности взора, коим обводил он родное и уже как бы смазанное, как бы полурастворившееся в тумане, жило, предчуялась близкая юность, пора замыслов, страстей и надежд.

Было совсем тихо, и поблазнилось на миг, словно и правда уже вымерло все и все уехали туда, в неведомый и далекий Радонеж. Он стоял, подрагивая от холода, как вышел, в одной посконной рубахе, и не думал, а просто глядел, ощущал. Что-то ворочалось, возникало, укладывалось в нем, неведомо для самого себя, о чем-то шептали безотчетно губы. Грубые московиты, что жрали, пили и требовали серебра у них в дому, — это было одно, а князь Иван, пославший ратников за данью, и неведомый московский город Радонеж — совсем другое. И одно не сочеталось с другим, но и не спорило, а так и существовало, вместе и порознь. Это была взрослая жизнь, которой он еще попросту не постиг, но которую должен, обязан будет постичь вскоре; сейчас об этом не думалось.

Волнистые, шли и шли над землею бесконечные далекие облака.

— Господи! — прошептал он, поднимая лицо к небу, — Господи!

Юность! или горний знак Господень? или весна? Коснулось незримое, овевя его чело. На миг, на долгий миг, исчезло ощущение холода и земной твердости под ногами, и его как бы унесло туда, в это волнистое небо, в далекую даль, в пасмурную истому ранней весны.

Глава 25

Все это лето, последнее лето в родимом дому, готовились к отъезду.

По совету Якова решили се-год паровое поле засеять ячмеНем. — Попервости хоша коней продержим! — горячо втолковывал Яков Кириллу.

— Коней заморить — самим погинуть! А к Петровкам беспрременно в Радонеж послать косцов! Сенов отселева не увезешь! По осени пошлем лес валить на хоромы, а на ту весну — всема! — Он решительно рубил рукою воздух, словно обрубая незримые корни ихнего житья-бытья. — Всема! С женками, с челядью, со скотиной...

Замолкая, Яков угрюмился, тяжело круглил плечи. Решаться на переезд тяжело было и ему.

Подымали пашню, садили огороды. Не по-раз приезжал доверенный отцов гость торговый, о чем-то толковали, передавали из рук в руки тяжелые кожаные кошель. Уводили со двора скотину, увозили останние запасы, обращая тяжелый сыпучий товар в веское новгородское серебро. Гость забирал Кириллову лавку в торгу, уходили в обмен на серебро мельница, рыбацья доленая тоня на Волге и полдоли на озере Неро (вторая половина уже была продана летось в уплату ордынского выхода). Перетряхивали портна, камки, сукна и скору. Береженные на выход дорогие парчовые одежды Кирилловы решили тоже продать. На думное место при московском князе все одно надежды никакой не было!

Вечерами родители спорили, запершись:

— Грабит тебя Онтипа твой! — сердито бранилась Мария. — Шесть гривен новгородских за озерный пай, эко! Да ниже восьми гривен то место николи не бывало! Могли бы и пождать-тово!

Кирилл, успокаивая, клал ладони на плечи жены, бормотал, что зато, мол, тотчас и серебро в руках... Сам чуял, что дешевит, да уж невмочь было. Дал бы волю себе и все бросил даром!

Стефан меж тем нешуточно впрягся в хомут. Летал на коне, покрикивая на холопов, в охоту брался за рукояти сохи, работал до поту, до остервенения. Варфоломей с Петром тоже не сидели без дела. У всех у них было радостно-неспокойное, тревожное чувство на душе, и хотелось работою загасить, отодвинуть то боязливо-горькое, что нет-нет да и пробивалось сквозь дневную суету и упоение неведомою судьбой. То поблазнит вдруг: как это так, что второядным летом не будет уже ни родимой речки, ни поля, ни рощи знакомой, ни пруда; не придут славить с деревни, не завьют уже девицы березку будущю весной? Как это так: привычного, детского, своего ничего-ничего уже и не будет?

А то вдруг матушка, разбирая укладки и скрыни, вдруг горько заплачет над какой-нибудь памятною полуистлевшей оболочинкою и долго не может унять слез, мотая головою, немо отталкивая от себя робкие утешения сыновей...

Но и вновь, скрепив себя, берется мать за работу, вновь бегают девки, спешат потные, горячие от работы мужики, вновь Стефан, врываясь в терем и соколиным зраком глянув по сторонам, орет:

— Петюха! Живо! К Герасиму скачи! Пущай шлет возы не стряпая!

И тот срывается в бег, торопясь исполнить братний наказ.

— А ты что тут? — запаленно накидывается Стефан на Варфоломея. Матери потом поможешь, зерно вези! На Митькин клин! Тамо у севцов уже одни коробьи остались!

В жаркой работе, в запыленной суете и трудах проходило лето. О Петрове дни отсылали косцов на новые места. Покосников в Радонеж провожали торжественно. На отвальной усадили всех за боярский стол. Словно уже и сравнялись господа с холопами. Да, впрочем, и Яков ехал с косцами, в одно.

Мать с девками сама подавала на стол. Кирилл сидел чуть растерянный, чуть больше, чем надобно, торжественный, во главе застольной дружины. Косари сперва чинились, поглядывали на господ. Но вот по кругу пошло темно-янтарное пиво и развязало языки, поднялся шум, клики, задвигались, загалдели, хлопая друг друга по плечам, косари, и в боярских хоромах повеяло простым братчинным деревенским застольем.

Пели песню. И отец вдруг неожиданно для Стефана, утупив локти в стол и уронив седую голову в ладони, тоже запел, красиво и низко, влив свой голос в суматошный, чуточку разноголосый хор подпивших мужиков:

То не пы-ыль в поле, То не пы-ыль в поле, То не пыль в поле, в поле, кулева стоит, То не пыль в поле, в поле, кулева-а-а стоит!

Голоса стройнели. Песня крепла, набирая силу.

Доброй мо-о-олодец, Доброй мо-о-олодец, Доброй молодец поскакивае-е-ет!

Под ем борзой конь, Под ем борзой конь, Под ем борзой конь, комонь с бухарским седло-оом...

Мало передохнув, начали вторую, разгульную. И уже кто-то выпутывался из лавок и столов, намерясь со свистом и топотом пуститься в пляс:

Близко-поблизку за лесом, за селом!

Проводили косцов, и уже словно бы и опустел терем, что-то отхлынуло, отошло туда, за синие дали, за высокие леса, и родимый дом примолк, огрустнел перед неизбежною разлукой.

Уже когда начала колоситься рожь, Кирилл, забрав Стефана с собою, вчетвером, верхами, с двумя комонными холопами, отправился в Радонеж: дотолковать с наместником, осмотреть место, навестить Якова — как-то он там справляет на новом месте?

В два дня добрались до Переяславля. Ехали в одноконь и потому не торопились излиха. Переяславль, хоть и сильно уступавший Ростову, был все же и сановит, и люден, и собор Юрия Долгорукого, переживший не одно разорение града, вызывал уважение стройной основательностью своей каменной твердоты. Стефан извертел голову, оглядывая город, с присоединенья которого, меньше полувека назад, начались стремительные успехи московских князей, ныне — великих князей владимирских. В деловитой суете города проглядывала обретенная прочность бытия — или так казалось изверившемуся в гражданах своих ростовчанину? Ночевали на монастырском подворье и рано утром вновь устремились в путь.

К Радонежу подъезжали на склоне четвертого дня пути и уже издали слышали гомон и шум большого человеческого табора. Даже и сам Кирилл прицокнул языком, узрев, сколь навалило в Радонеж на обещанные слободы вольного народу из ростовской земли. Переселенцы стояли станом на окраине городка, заполняли дворы и улицы. Кирилл со спутниками подъехали и, не спешиваясь, стали разузнавать, что тут и как и где найти наибольшего?

Вскоре им указали на кучку комонных, пересекающую стан.

В путанице телег и коней, пробираясь меж самодельных шатров, костров, навалов кулей и бочек, среди гомонящих баб, блеющих овец и орущих младенцев, ехал шагом на чубаром долгогривом коне пожилой московский боярин. Склоняясь с седла, что-то прошал, приставляя

ладонь к уху, кивал, отвечал, крутил головой, отрицая. На кого-то, сунувшегося под копыта коня, сердито замахнул плетью. Вереницею вслед за ним пробирались сквозь табор переселенцев комонные дружинники.

— Ртище! Ртище! Терентий! Сам! — уважительным ропотом текло вслед ему вдоль телег. Терентий Ртищ был одет не богато, но и не бедно. В шапке с соколиным пером, в добротном дорожном суконном охабне, полы которого почти покрывали круп коня, в синей набойчатой мелкотравной рубахе, рукава которой, выпростанные в прорези охабня, были в запястьях схвачены простыми, стеганными из толстины и шитыми цветною шерстью наручами. Конь под боярином был покрыт пропыленной, тканой, домашней работы, попоной, схваченной под грудью наборною, в серебряных бляхах чешмой. В узорном серебре была и уздечка чубарого жеребца. На самом боярине никаких украшений, кроме массивного золотого перстня на левой руке с темным камнем-печатью, не было. Рукавицы он, видно, сунул за луку седла.

— Терентий Ртищ, наместник княжой! — строго молвил отец, оборачивая чело к Стефану. Сам он выпрямился в седле елико мог и подобрал поводья, сожидая, когда Терентий приблизит к ним.

Стефан глянул на отца, на двоих холопов, сиротливо притулившихся за его спиною, перевел взгляд на наместника московского, и его как резануло по сердцу. Отец был и одет не беднее Ртища: в рубахе узорчатой тафты, в отороченном по краю зеленым шелком вотоле, уздечку коня украшали звончатые, тонкого серебра прорезанные цепи... И все же — как властен, какого достоинства полон этот усталый московский хозяин, и как заметно робеет, хоть и старается скрыть это, отец, висок которого, весь в испарине, узрел вдруг с острою жалостью Стефан, поглядев сбоку на родителя.

Кирилл никогда еще в жизни своей не был просителем, и, как все люди, привыкшие к власти, лишенный этой власти, оробел, потерял себя: засуетился излиха, торопливо подъезжая к Терентию, забоялся, что тот не заметит, провинует мимо нарочито разодетого ростовчанина.

Терентий Ртищ остановил коня. В ответ на приветствие кивнул, поглядев строго, без улыбки. Он и верно устал. Это было видно по лицу. Не первый день уже проводил в седле, почти не слезая с коня. Скакал то туда, то сюда, встречал, отводил, устраивал, решая походя многочисленные споры о землях, пожнях, заливных поймищах, разбирая жалобы местных на приезжих и приезжих на местных, которые то не пускали находников к воде, то не позволяли ставить хоромы на означенном месте, то сгоняли переселенцев-пахарей со своих пажитей и пожен. Он уже давно сорвал голос, уговаривая и стращая, давно уже перестал гневаться или дивиться чему-либо, зная про себя только одно: надо как можно скорей посадить всех на землю, скорей развести по весям и слободам, и пока это не свершено, пока люди стоят табором, не престанут ни ссоры, ни свары, да и князь, не ровен час, опалится на него за нерасторопный развод беглецов. Посему и незнакомому боярину уделил самое малое время. Узнав, что тот еще только мыслит о переезде, покивал удовлетворенно головою, осведомился о косцах (вспомнил-таки, что у Кирилловых молодцов вышла сшибка с местными). В ответ на слова Кирилла, решившего напомнить о Протасии-Вельямине, покивал, все так же сумрачно, без улыбки; прихмурясь, наморщил чело, подумал:

— Как же! Бывал с Протасьем Федорычем с вашей страны боярин, бывал!

Онисим ле?

— Онисим, Онисим, — встрепенулся обрадованно Кирилл, — свояк мой!

— Дык и чево! — подытожил Ртищ, почти прервав скорую Кириллову речь.

— В самом Радонеже место дадено, чево больши! Кажись, близь церкви тамошней? — Он достал бумажный бухарский плат, отер пот и пыль с чела и, едва попрощавшись с Кириллом, не пригласив ростовского боярина ни заезжать, ни в гости к себе, тронул коня.

Стефан в течение всего короткого разговора мрачно молчал, почти стыдясь за родителя. Оскорбила его и не гордость москвитя — гордости мало было в умученном в смерть московском наместнике! — а малое внимание, отпущенное его отцу. Знал, ведал умом, что так и будет, так и должно быть.

А все-таки ведать — одно, а так вот узреть, почуять самому, что уже и отец не великий боярин, не нарочитый муж, а скромный ходатай перед кем-то другим, и ты сам уже не сын великого боярина, и не укроет уже тебя от покровов, пересудов и возможного глума, старая

родовая слава... Что ж, приходилось и к этому привыкать.

В Радонеже их на ночь принял к себе местный батюшка. Стефан почти не рассмотрел ни городка, ни крепости над рекою. Как-то не до рассмотров было. Изрядно проголодавшие, они вечером ели простую овсяную кашу с сушеной рыбой, захваченной из дому, пили кислый крестьянский квас. Отцу батюшка уступил свою кровать. Стефан с холопами улеглись на полу, на соломе, застланной конскою попоной. Только теперь почуялось впрямь и сурово, что жизнь придет им тут налаживать наново, и все прожитое о сю пору не в счет.

Утром разыскали старосту, застолбили место под терем. Не обошлось без ругани, ибо на месте там какой-то из местных огородников сажал капусту.

— Што мне наместник! Я тута сам наместничаю! — кричал смерд, брызгая слюной и уставляя руки в боки. — Наехало семо, незнамо кого!

Кирилл в конце концов не выдержал: снял серебряное кольцо с пальца, бросил смерду. Тот потер кольцо толстыми коричневыми пальцами, зачем-то понюхал и скрылся, ворча, как уходит, отлавывая свое, сердитый уличный пес.

— Балуешь, господине! — осудил, покачивая головою, местный батюшка. Им-ить за все уже дадено из казны князевой! Слабину покажешь — опосле они и не отстанут от тебя!

Якова разыскали не без труда на дальних пожнях. Яков был хмур.

— Скота посбавить придет по первости! — произнес он вместо приветствия охлюпкой, весь распаренный и черный, подъезжая к господину.

После уже поздоровался, рассеянно оглядел Стефана. — Людей мало! Ховря заболел, а Бронька косою ногу обрезал.

Кирилл посупился, оглядел немногочисленные стога, повел головою позадь себя:

— Ентих оставить тебе?

Яков кивнул молча. Кирилл оборотил лицо к холопам, повелел строго:

— Косить оставляю! Якова слушать, как меня!

Домой возвращались вдвоем. Дорогою Стефан вместо холопа треножил и поил коней, готовил ночлег, разбивая походный шатер, стелил ложе отцу и себе, варил над костром кашу. Кирилл молчал. Стефан помалкивал тоже. И было хорошо. Даже нравилось: нравился вольный путь, тишина, свобода.

Нравилось незнакомое до сих пор и трогательное чувство заботы о старом отце.

К жнитву воротились покосники. Яков все беспокоился, не увезли бы сено, оставленное почти без догляду, и вскоре, доправив необходимые дела, опять поскакал в Радонеж. Варфоломей с Петром все расспрашивали Стефана: как там и что? Стефан хмурился: «Сами узнаете!» Раз только и проронил:

«Народу наехало, что черна ворона»... Радонеж так и оставался для Варфоломея загадочным красивым именем — где-то там, далеко-далече, в неведомом, незнакомом краю.

Свалив жатву, подсушив и ссыпав в кули зерно, вновь наряжали людей на новое место — рубить лес, класть начерно клетки под будущие хоромы. О Радонеже уже говорили буднично, как о привычном, те, кто был и отправлялся опять. Умеренно ругали местных — москвлян, поругивали и землю значительно худшую, как согласно утверждали все, чем ихняя, ростовская.

Свалив страду, вновь заездили друг к другу родичи. Тормосовы подымались целым гнездом, великую силу народа уводили с собою. Онисим наведывался не раз и не два. Приезжал и Георгий, сын протопопов, тоже намеривший переезжать в Радонеж...

Шел снег, подходило Рождество. Теперь ждали только твердого наста да первого мартовского солнышка, чтобы по весне тронуться в путь. И уже охватывало нетерпение: скорей, скорей, скорей!

Кирилл почти не выезжал из Ростова. Передавал князю Константину складную грамоту, улаживал дела градские и посольские, платил на последях трудно добытым серебром татарскую дань, снимал честь местническую, навек отлагая от себя родовую славу. Отымались от старого боярина кормления и селы, слагались звания и почести.

Приходили, прощались, — а кто и не приходил вовсе, — некогда зависимые от Кирилла купцы, граждане, деловой люд. Кланялись в пояс, просили не гневать. Кирилл отдавал поклоном за поклон, иных, кому обязан был чем, награждал чести ради. Помалу награждал, помногу-то и нечем было уже! И чуял старый Кирилл, что словно раздевает себя, словно с уходом всех этих

людей и людишек, купчин и смердов меньшает, умаляется и он сам...

Невеселым было нынешнее Рождество, невеселы Святки! Хоть и так же шатались ряженные в личинах и харях по селу, так же, с визгом, скатывались девки с парнями на санках с горушек, так же бешено гоняли разубранные упряжки лошадей на Масляной. Но терем боярский все это веселье задевало словно бы краем, словно бы и там, на селе, уже простились заране с разоренным великим боярином.

И как жаль, как страшно было лишиться уютных горничных покоев родимого дома, жарко горячей семейной божницы, тихого привычного угла в родимом дому! ***

По весеннему санному пути уходили обозы. Тормосов обещал приглядеть за Кирилловым добром. Перегоняли скот. Опустели хлева, опустела челядня, и давно уже надо было и им самим сниматься с места, но все медлил Кирилл, все никак не умел доделать до конца всех дел своих, перерезать или перерубить все нити, что связывали его с этой землею и с Ростовом. И дождались-таки распуты, и уже пережидали бездорожье, и уже когда стаивал снег и обнажалась земля, пустились наконец в путь.

Из утра в доме хлопают двери, выносят, торчат, увязывают. Варфоломей мечется, носит, помогая, вместе со всеми. За деловой суетою в предутренних сумерках некогда ни оглянуть путем, ни вздохнуть. Но вот уже и рассвело, и запряжены кони, и боярский возок Кирилла уже стоит на дворе. Все!

Угасли огни в обреченном доме. Замотанные в дорожное платье, покидали горницы последние жители. Нянька ворча засовывает в печку старый лапоть, положив несколько теплых еще угольков, ласково зазывает «хозяина» домового: «Поди, поди, хозяйушко!»

Крестят углы, кланяются, прощаясь с хоромами. Последними, уже вытащив наружу сундуки и укладки, бережно снимают иконы со стен, выносят, укладывают в боярский возок. И с этим настает конец дому. Теперь только непрощеный ветер станет гулять по опустевшему жилью, да летучие мыши повиснут под стрехою, да ласточки станут лепить свои гнезда в углах выморочных комнат. И скоро, очень скоро, ежели не найдется покупатель, прохудит и прогнется крыша, рухнут, подгнив, толстые переводы, осыпав землею и гнилью сырые полы, станут потаскивать то и иное мужики из окрестных деревень, а там — не огонь, так время и до зела истребят бывшую боярскую хоромину, сровняют с землею стены, в муравьиную труху обратив тесаные стволы, печь упадет грудю камней в красноватой осыпи, густым бурьяном зарастет земля, и юные тонкие березки веселою порослью пробьются сквозь сор и тлен, укрыв все, что еще напоминало о человеческом житье, и обратив вымороченную пустошь в веселую звонкую рощу.

На дворе, когда уже все приготовилось к отъезду, видится, сколь их мало! Едва сорок душ набралось напоследях всей оставшейся верной Кириллу дворни. Ну, да еще те, кто уехал наперед, с Яковом. Негустою толпой за воротами стоят провожатые, прибрели из деревни. Боярской чете на расставанье, кланяясь, подносят хлеб-соль. Мария принимает хлеб прослезившись. Священник кропит и крестит обоз. Но вот уставное благолепие рушится. Женки начинают голосить. Ульяния, соскочив с телеги, кидается на шею какой-то деревенской родственнице, и обе воют, словно хоронят друг друга. Под вой, шум, провожальные крики, чей-то смех и чей-то плач трогают первые телеги. Старый постельничий, ковыляя, бежит из-за дома, протягивает Кириллу что-то — оказывается, мешочек с родимой землею, забыли нагрести второпях.

Колеса на выезде глубоко врезаются в мягкую, только-только освобожденную из-под снега землю. Сзади машут шапками и рукавами, кричат, и непрощенные слезы навертываются на глаза Варфоломея, — словно в тумане расплываются лица провожающих и уходят, уходят вдаль. Он цепляется руками за борта телеги, тянет шею, стараясь еще узреть, еще увидеть что-то самое последнее. Кони, разбрызгивая грязь, уже идут рысью. Прощай, отчий край, прощай, Ростов!

ЧАСТЬ II

Глава 1

В давние, незапамятные годы новгородцы, пробираясь реками и переволоками сквозь сплошные леса междуречья, избрали и утвердили себе здесь дорогу — прорубили просеки, настлали гати на болотах, поставили памятные кресты на взлобках высоких берегов. Реки были полноводны, край нехоженный. Подымались по волжской Нерли и, ежели не входили прямо в Клешино озеро, откуда можно было по Трубежу и Кержачу достигнуть Клязьмы, то уклонялись правее, в речку Кубрь, в верху которой срубили на крутой горе Ждан-городок, а оттуда, лесными волоками и малыми реками, в истоках Сулоти и Дубны, путь шел на Ворю, в верховьях которой облюбовали себе гости новгородские высокий обрывистый мыс, что почти кругом обтекало рекою, делавшей здесь широкую излучистую петлю, обрыли рвом пологий скат холма, насыпали вал, поставили частокол с рублеными башнями по насыпу, углубили спуск к воде под стеною, воротнею башней укрепили узкую греблю, что только и соединяла обрывистый холм с материком, под холмом устроили пристань, поставили амбары и лабазы. Крепостцу от случайных набегов дикой мери или воинственных вятичей могла оборонить горсть ратных. Так и возник городок Радонеж, почти неприступный в те далекие патриархальные времена.

Давно уже ушли новгородцы из этих мест. Не два ли века минуло с тех пор, как пал в битве с суздальской ратью на Ждане горе новгородский посадник Павел, знатный землепроходец великого вечевового города; давно уже переняли и стали заселять местный край великие князья владимирские.

Избранный некогда новгородцами речной путь был заброшен, ибо открылись иные, удобнейшие. Захирел маленький городок, и кабы не новая перемена судьбы, не быть бы Радонежу совсем — исчез бы он, как и многие иные, в густой щетине восставших лесов. Но открылась дорога из Москвы на Переяславль, утвержденный за собою властной рукою умного и дальновидного зачинателя Москвы, князя Даниила, «своя» дорога, мимо пока еще чужого Дмитрова, и вновь обрел значение древний городок, стоявший как раз на полпути от Москвы к Переяславлю. А там подоспела волна ростовских беглецов, и край глухой и дикий начал наполняться народом, стуком топоров, криками ратаев по веснам. На вырванных у лесной глухомани пожарах поднялись рожь, ячмень и овес, и новые, теперь уже московские градоделители принялись летать, рубить и достраивать бывшую новгородскую твердыню на крутой излучке извилистой лесной реки.

Земли эти князь Иван Калита, устроив и населив, завещал после смерти своей супруге, Елене, после которой они перешли к младшему сыну Ивана (в те поры еще и не рожденному!) Андрею. Но этого еще нет, это когда-то будет, и Иван Калита еще живет и здравствует, и борется с тверским князем Александром, хитрит с Узбеком, скупая в Орде ярлыки на чужие княжения, чтобы и там, как в Ростове, самому начать собирать ордынскую дань. Идет тихое, подобное просачиванию воды, устройство земли, и не будь «Жития»

Сергия, написанного Епифанием Премудрым, нивесть, и узнали бы мы, как шло это, сквозь завесу веков невидное глазу перемещение людских потоков, всплеснувшее еще полстолетия спустя, когда и князь Иван, и дети его давно уже упокоились в земле, дерзким величием Куликова поля.

В Радонеж приехали ночью. От холода и усталости пробирала дрожь.

Тело, избитое тележною тряской, совсем онемело, сон одолевал до того, что перед глазами все начинало ползти и плыть. Хотелось одного лишь — куда бы ткнуться, хоть в какое-то тепло, и уснуть. Петю сморило так, что холопы его из телеги вынесли на руках. В темноте они стояли дрожа, словно куры под дождем, маленькой жалкою кучкой, потом куда-то шли, спотыкаясь, хлебали, уже во сне, какое-то варево, носили солому в какой-то недостроенный дом — с кровлею, но без потолка, отчего в прорехи меж бревнами лба и накатом виднелось темно-синее небо в звездах. Тут, на пополах, тюфяках, ряднине, накинув на себя что нашлось теплого под рукой толстины, попоны, зипуны, — они все и легли вповалку

спать: слуги, господа и холопы, мужики, женки и дети. Кирилл с Марией одни остались в тесном, набитом детьми и скотиной поповском доме. Варфоломей едва сумел сотворить молитву на сон грядущий и, как только лег, обняв спящего Петюшу, так и провалился в глубокий, без сновидений, сон.

Утром он проснулся рано, словно толкнули под бок. Все еще спали, слышались тяжелое дыхание и стоны уломавшихся за дорогу людей. Какая-то женка хриплым от сонной одури шепотом уговаривала младенца, совала ему сисю в рот. Могуче храпели мужики. Прохладный воздух, вливаясь сверху, овеивал сонное царство. Между тем снаружи уже посветлело. Стали видны начерно рубленные, еще без окон, стены, в лохмах плохо ободранной коры, и висающие над головою переводы будущего потолка с каплями и сосульками свежей смолы. Варфоломей тихо, чтобы не разбудить братика, встал, укрыл Петю поплотнее рядом и шубою и стал выбираться из гущи тел, стараясь ни на кого не наступить. С трудом отворив смолистое, набухшее полотно двери, он по приставной временной лесенке соскочил на холодную с ночи, все еще отдающую ледяным дыханием недавней зимы, в пятнах тонкого инея, землю и, ежась и поджимая пальцы ног, пошел в туман.

Бледное небо уже легчало, начинало наливаться утреннею голубизной.

Звезды померкли, и близкий рассвет нежно-золотым сиянием уже вставал над неясной зубчатой преградой окружных лесов. Стройная, стояла близь деревянная островерхая церковь. Назад от нее уходили ряды рубленых изб, клетей, хлевов и амбаров. Над рекою, угадываемой по еле слышному журчанию, стоял плотный туман. С краю обрыва, к которому подошел Варфоломей, начиналось неведомое, за которым только смутно проглядывали вершины леса и светло-серый, почти незаметный на блекло-голубом утреннем небосводе крест второй церкви, целиком повитой туманом.

Вот легко пахнуло утренним ветерком. Ярче и ярче разгорался золотой столб света над лесом. Туман поплыл, и в розовых волнах его открылся город — сперва только вершинами своих костров и неровною бахромой едва видного частокола меж ними. Городок словно бы тоже плыл, невесомый и призрачный, в жемчужно-розовых волнах, рождая легкое головное кружение. Пронизанные светом опаловые волны тумана медленно легчали, тоньшали, открывая постепенно рубленые городни и башни, вышки и верхи церковные. Наконец открылся и весь сказочный, в плывущем мареве городок. Он стоял на высоком, как и рассказывали, почти круглом мысу, обведенный невидимою, тихо поющей понизу водою. К нему от ближайшей церкви вела узкая дорога, справа и слева по-прежнему обрывающаяся в белое молоко.

Вот вылез огненный краешек солнца, обрызнул золотом сказочные, плывущие терема и костры, и Варфоломей, замерший над обрывом, утверждаясь в сей миг в чем-то новом и дорогом для себя, беззвучно, одними губами, прошептал:

— Радонеж!

Потом, когда светлое солнце взошло и туман утек, открылось, что не так уж высок обрыв, и долина реки не так уж широка и вся замкнута лесом, и городок, как бы возникший из туманов, опустился на землю. Виднее стали где старые, где поновленные, в белых заплатах нового леса, стоячие городни. И костры городской стены, крытые островерхими шеломами и узорною дранью, вросли в землю, как бы опустились, принизились. Но ощущение чуда, открывшегося на заре, так и осталось в Нем. Осклизаясь на влажной от ночной изморози, а кое-где еще и непротаявшей, твердой тропинке, он сбежал вниз, к реке, и напился из нее, кидая пригоршнями ледяную воду себе в лицо, и загляделся, засмотрелся опять, едва не позабыв о том, что его уже, верно, сожидают дома. И правда, по-над берегом доносило высокий голос Ульянии:

— Олфороме-е-ей!

Он единым махом взмыл на обрыв и тут в лучах утреннего солнца разом узрел и стоящий на курьих ножках смолисто-свежий, изжелта-белый сруб, и в стороне от него грудящихся под навесом коров, что уже тяжело мычали, подзывая доярок, и веселые избы, и розовые дымы из труб, и румяное со сна, улыбающееся лицо младшего братишки с отпечатавшимися на щеках следами соломенного ложа, взлохмаченного, только-только пробудившегося, и заботную Ульянию, и мужиков, и баб, что, крестясь и зевая, выползали, жмурясь на яркое солнце, и залиvistое ржание коня за огорожею, верхом на котором сидел сам Яков, прискакавший из

лесу на встречу своего господина.

Звонко и мелодично ударили в кованое било в городке, и тотчас стонущими ударами стали отозвалось било ближней церкви. Грудь переполняло безотчетною молодой радостью — хотелось прыгать, скакать, что-то стремглав и тотчас начинать делать.

— Ауу! — отозвался Варфоломей на голос Ульянии и вприпрыжку побежал к дому, из-за угла которого — ему навстречу — уже выходил Стефан с секирою в руке, по-мужицки закатавший рукава синей рубахи. Начинался день.

Глава 2

Назавтра они всею семьей являлись волостелю. Внове и страшно было узнать Кириллу, что он, почитай, и не боярин уже, что несудимой грамоты на землю у него нет, что отвечать ему теперь по суду придет не перед князем, а перед волостелем, или наместником, Терентием Ртищем (и вот еще почему Ртищ не похотел ближе сойтись с бывшим ростовским великим боярином!

Неровня тебе тот, кого ты волен судить!) и что хоть он и вольный человек, муж, владелец холопов и земли, но когда выйдут последние льготные лета, придет ему и дани давать, яко всем, и мирскую повинность сполнять наряду с прочими, только что не в черносошные крестьяне записали его, а в вольные землевладельцы, и то благодетель великая!

И знал, и догадывал Кирилл, что будет именно так, а все надея была, глупая, тщеславная надея, что блеск прошлого величия, прежних заслуг на службе княжеской, когда он пребывал в нарочитом звании своем, что-нибудь да будут значить и здесь, на московской земле. Все оказалось тщетою, обольщением ума, марой. И приходилось принимать сущее как оно есть, полной чашей испивать горечь бытия.

Но надо было жить, и не просто жить, а начинать жизнь сызнова. И повелись труды неусыпные. «Неусыпные» не для украсы словесной, а в самом прямом и строгом смысле этого слова. Коротка весенняя ночь! Но и то в дому Кирилловом вставали до свету, до первых петухов, а ложились, когда уже багряные отсветы заката густели и меркали над отемневшей землей.

Мария твердою рукою взялась вести дом. Она еще подсохла, глубокие прямые морщины пробороzdили щеки. Когда и сколько она спала — никто толком не знал. Из утра, до петухов, она уже была на ногах, наряжала на работы, шила, пекла и стряпала, доила коров и кормила телят, сама пряла шерсть и лен, успевая в то же время надзирать за всем обширным хозяйством, видеть работу каждого, да и сверх того каждому находить когда строгое, когда и утешительное слово, ободрить, приласкать, успокоить: лечила ожоги, поила болящих травами, ободряла Кириллу, изрядно опустившегося и потишевшего на первых порах. А когда заглядывали то Юрий, то Онисим, то который ни то из Тормосовых или местных радонежан, умела и гостя принять, и не теряла ни перед кем повелительной осанки своей, паче мужа блюла гордость боярскую.

Казалось, именно про нее были сказаны слова о жене, день и ночь неустанно утверждающей руце своя на всякое делание благопотребное, а ум простирающей на служение мужу и Господу Богу своему.

Под ее строгим взглядом и мужики не теряли себя, рубили хоромы, валили лес, готовили пашню под новый посев, чистили пожни. Приходило работать секирою и тупицей, пешней и мотыгою, теслом и скобелем, молотом и сапожною иглою. Мяли кожи и сучили дратву, тачали и шили, гнали деготь, чеботарили и лили воск.

Не хватало людей, да и приказать, как прежде, нельзя было уже вольные смотрели поврозь, ладили отойти от господина жить в особину, слободскими землепашцами. Кабы не дружные усилия всей семьи, кабы не Стефан, развернувшийся на диво, не одюжил бы Кирилл и первого года своего в Радонеже, хоть и помогали ему, сильно помогали наездами Тормосовы, и Онисим не оставлял родича, а все же тем и самим несладко было попервости выставать внове на радонежской новине!

Стефан вьелся в работу свирепо. Он рубил, тесал, ворочал тугие стволы, сам ковал коней, сам щепал дрань на хоромы. Сухощав, высок и крепок, с серебряным крестом на распахнутой

груди, с огненным мрачным лицом, он круто и безошибочно вырубал чашею углы, проводя чертою, твердо брал секиру и в один дух, не останавливаясь, проходил весь ствол, выгоняя затем словно играючи бело-розовый смолистый паз; сам-один, бледнея от натуги, ворочал неподъемные деревья, лихо клал на мох, покрикивая на холопов, которые (те, что не покинули господина своего) слушались теперь Стефана беспрекословно.

Варфоломей любовался братом. Из всех сил, стараясь не отстать, спешил прежде слова исполнить любое его повеление. Не обижался, когда Стефан, принимая его работу, лишь молча, коротким кивком одобрял любовно и чисто вырубленный створ двух бревен или выглаженную до блеска Варфоломеевым топором колоду окна. «Где, как и когда навык брат все это делать? — восхищенно думал Варфоломей, из всех сил по Стефанову указанию уминая сыромятину в вонючей жиже широкого дубового корыта. — Откуда он знает мужицкий труд?»

Стефан частенько и ошибался, конечно, и творил не так и не то, и, наливаясь темною кровью, склоняя чело, подходил к Якову ли, или к кому из опытных мастеров просить о том, и другом, и третьем, но Варфоломей в юношеском обожании своем вовсе не замечал огрехов старшего брата, даже и тогда не чуял их, когда Стефан, наказав ему что-нибудь делать, являлся вечером, после целого дня старательной работы Варфоломея, и говорил угрюмо:

— Не так! Выкидывай все! Наново зачинай!

Первый раз это случилось с копыльями, которые Стефан неверно разметил, а Варфоломей по его указке наготовил целую гору, испортив заготовленное дерево. Копылья были слишком глубоко зарублены и не годились в дело. Стефан в молчаливой ярости ломал и швырял копылы об пол, а Варфоломей смотрел молча, жалея брата паче собственного загубленного труда.

Когда впервые пошли на пожар, Стефан, глянув искоса, повелел Варфоломею сурово:

— Лапти обуи! Сапоги погубишь!

Варфоломей переобулся без слов. В синем дыму, в сплошной горечи низового пожара, задыхаясь и кашляя, надрываясь над вагою, которой он выворачивал горелые пни и шевелил чадающие кострища, Варфоломей скоро оценил братнин совет. Ноге стало вдруг горячо, и, глянув вниз, он увидел в дыму свой собственный затлевающий лапоть. Воды не было, и пришлось долго совать и возить ногою по земле, прежде чем смолисто занявшийся лапоть окончательно потух.

В дыму точно призраки шевелились люди, открытыми ртами, словно рыбы, вытащенные из воды, хватали дымный воздух, кашляли, выжимая слезы из воспаленных глаз. Временами то тот, то другой, отшвыривая вагу, с руганью отбегал вон из пожара к близкому болотцу, там валился ничком в сырой мох, на несколько блаженных мгновений погружал обожженное лицо в холодную ржавую воду. Один Стефан, черный, страшный, с пронзительными белками глаз на закопченном лице, так ни разу и не ушел с пожарища. Скалясь, сцепив зубы, ворочал и ворочал вагою, кучами таскал мелкий сор, раздувая костры, обжигаясь, выпрыгивал прямо из пламени и снова, сбив и охлопав предательские искры с затлевающей свиты, кидался в огонь.

Окружный лес то совсем заволакивало дымом, и тогда крайние деревья словно висели в густом чаду, лишённые подножия своего, то дым прижимало на миг к земле повеявшим с вершин ветром, головы людей выныривали из тумана, свежий дух врывается в опаленные легкие, и снова тяжкая едущая мгла подымалась ввысь, заволакивая все окрест.

Варфоломей ворочал и ворочал, размазывая сажу и пот по лицу, временем поглядывая на Петра — не провалился бы невзначай в какую огненную яму.

Когда ставало немого, читал про себя «Отче наш» или свой любимый псалом: «Камо пойду от духа твоего, и от лица твоего камо бегу? Аще възыду на небо, ты тамо еси, аще сниду во ад — тамо еси, аще възму криле мои рано и вселюся в последних моря, и тамо бо рука твоя наставит мя, и удержит мя десница твоя!» Ад был похож на пожар, а спрятаться в глуби моря ужасно хотелось в такие мгновения, но после псалма как-то становилось легче: душа, а с нею и руки и тело обретали утерянную твердоту. Петя уже дважды уползал в лес — отлеживаться. Варфоломею очень хотелось того же. Но Стефан не уходил с пожарища, и, ломая себя, не уходил и Варфоломей.

Низилось солнце, темнело. Ярче горели костры. Просохшее дерево веселее занималось белым пламенем. В середине пожарища, где были навалены большие кучи пеня-колоды, ярел и ширился высокий, шатающийся под ветром огонь.

В какой-то миг на пожоге появилась мать, Мария. В горьком тумане, высокая и легкая, подошла к Варфоломею, словно видение, протянула берестяной жбан с квасом: «Испей!» Варфоломей пил захлебываясь, не в силах оторваться даже, чтобы передохнуть. Напоив среднего сына, Мария, шурясь и подвертывая голову от огня, двинулась дальше — искать Стефана.

Костры догорели и сникли только на рассвете. И до самого рассвета Стефан с Варфоломеем ворочали вагами костры, помогали огню, корчевали и стаскивали в кучи тлеющие сучья и тяжелые хвойные лапы, что, подсохнув, вспыхивали слепительными мириадами искр.

Стефан, — мало поев и едва соснув на лесной опушке, подстеливши свиту и завернув голову от комарья, — на заре снова был на ногах, и Варфоломей, оставшийся по примеру брата стеречь костры, у которого уже никаких решительно не оставалось сил — ни душевных, ни телесных, — тоже встал, шатаясь, с трудом и болью разгибая онемевшие члены, и, почти рыдая, побрел вслед за братом, тяжело ступая по горячему пеплу в огонь.

После пожоги не пришлось даже передохнуть, ни отмыться путем.

Подпирали иные заботы. Снова надобно было брать в руки топоры, ворочать камни, месить глину и ладить упряжь.

Варфоломей в тот день, как воротились с пожоги, лег было спать без обычной вечерней молитвы. Но и обарываемый сном, тихо скуля от боли, от сухого жжения опаленной кожи, все-таки поднялся, добрел до иконы и, встав на колени (ноги уже не держали), горячо поблагодарил Господа за данные ему силы к труду. И стало легче. Одолев себя, уж и разогнуться сумел, и твердо дойти до ложа, и солому перетряхнуть. Еще подумал, валясь, что сейчас, наверное, лицом напоминает Стефана, и — не додумал, унырнул в сон.

Назавтра брат, свысока глянув на обгорелые останки лаптей в руках у Варфоломея, процедил — скорее себе самому, чем Варфоломею:

— И лапти плести надо уметь самому! — Подумал, поджав рот, повелел: У Григорья возьми новую пару, завтра пахать идем!

Поздно вечером Варфоломей пробрался в челядню, где густо грудились в кухонном чаду и дыму останки Кирилловы холопы с женками и детьми, подсел к Тюхе Кривому, который как раз ладил берестяной кошел... Не говоря о том ни слова Стефану, сократив отдых и сон, Варфоломей за две недели выучился прилично заплетать и оканчивать лапоть, постиг прямой и косой слой, уразумел, как ловчее всего действовать кочедыгом.

Тюха не шутя похваливал боярчонка. У Варфоломея и верно был талант в руках. Каждое дело к тому же он начинал постигать старательно и не срыву, не стыдился, как Стефан, спрашивать и раз, и два о том, чего не понимал, и, отдаваясь работе, забывал думать о себе, не разглядывал себя со стороны, как другие, не гордился, но и не приходил в отчаяние от неудач.

Потому, верно, и получалось у него быстрее и лучше, чем у прочих.

Стефан подивился Варфоломееву уменью:

— С чего это ты?

— Сам же баял... про лапти... надо уметь... — смущенно отозвался Варфоломей. Повертев перед глазами пару лаптей, сплетенных братом, Стефан похвалил снисходительно чистоту работы. Варфоломей весь, до кончиков ушей, зарозовел, даже в жар бросило от Стефановой похвалы. Редко хвалил его брат! Еще и с того, что не замечал Варфоломей своих успехов в труде. И когда сравнился со Стефаном в плотницком уменье, не возгордился тем, наивно продолжая считать брата мастером, а себя всего лишь робким подмастерьем.

Петр, тот работал хоть и старательно, но без огня и надсады, не лез изучать каждое ремесло подряд. Когда братья брались за топоры и ваги, Петр чаще всего возил и растаскивал бревна конем. Когда Стефан или отец поручали ему какое дело, исполнял старательно сказанное, но не более того, а на брань улыбался покорно, не теряя обычного своего спокойствия.

Впрочем, Стефан к младшему брату и не придирался так, как к Варфоломею, с которым, уже и сам чуял, повязала их какая-то иная, большая, чем у обычных родичей, связь. Темными вечерами, обарываемый сном, он порою толковал Варфоломею о гностиках и тринитарных спорах, об Афанасии Великом и Оригене, объяснял, в чем заключалась ересь Ария, и как надо

понимать вочеловечение Христа, и что такое пресуществление в таинстве евхаристии.

Дом уже спал, уже задремывала сама Мария, раньше всех подымавшаяся на заре, а братья сидели, прижавшись плечами друг к другу, тело гудело от целодневного труда, а ум, освобождаясь от вязких пут суетности, уносился в выси духовных сфер. Звучали произносимые хриплым шепотом удивительные слова: «плирома», «эоны», «тварный свет»; перед мысленным взором проходили неведомые города из высоких затейливых хором, какие пишут на иконах, и жар протекшего летнего дня претворялся в жар далекой ливийской пустыни, где мудрые старцы свершали свой подвиг отречения от благ мирских.

Когда труд творится по принуждению или по тяжелой, приходящей извне обязанности, не овеванной духовным смыслом, не пережитой, как внутренняя, из себя самое исходящая потребность, тогда труд — проклятие и бремя. И тогда человек, обязанный труду, тупеет, что сказывается и во всей внешности его, в безжизненном, не то сонном, не то свирепом, выражении глаз, в тяжелом складе лица, в угрюмой согбенности стана, в культяпистости грубых, раздавленных работою рук. Но тот же труд, столь же и более того тяжкий порою, но пронизанный высшим смыслом, горней мечтою, творимый сознательно и по воле своей, — тот же труд, но понимаемый как подвиг, или завет предков, или дар Господень, враз изменяет значение свое, придает свет и смысл самому бытию человеческому, оправдывает и объясняет всю громаду духовных сущностей, творимых в веках разумом людским. Ибо только знающий цену труду знает и истинную цену слову, подвизающему на труд и подвиг. Пока еще сохами ковыряли горячую землю пожоги, морщась от пепла, что клубами вздымался из-под ног и лошадиных копыт, а рало то и дело цепляло за корни дерев, и дергался взмыленный конь, храпя и приседа на круп, Варфоломей, в плечах и коленях которого не прошла еще боль недавней огненно-дымной работы, не чувал ничего, кроме истомы телесной да редких мгновений радости, когда рало шло, взрыхляя чистую землю, пока очередное полусгоревшее корневище не останавливало коня, и приходилось рывком выдирать тяжелое рало из земли, перемешанной с пеплом, и вновь, налегая на рукояти сохи, вгонять его в лесную нетронутую целину. Не чувал ничего, кроме усталости, он и вечером, возвращаясь домой и зная одно: пока не свалился в постель, надобно омыть тело и сотворить молитву Господу. Но вот окончили пахать, собрали и сожгли останки коряги и корни. Легкий дождик, спрыснув пожогу, прибил пепел и тлен, и настала та святая минута, когда пришло сеять в землю зерно.

И как осуровели, каким внутренним светом наполнились лица! Как торжественно насыпали в кадь и в пестери припасенную рожь, как крошили в кадь с семенным зерном сбереженный пасхальный кулич, и ставили свечи, и священник читал молитву, обходя кадь с рожью, — это все было с вечера. А наутро, прибыв на пожогу еще по росе, старики Онтипа и Тюха, а с ними Яков со Стефаном (молодого боярина созвали из уважения), разувшись и повесив себе пестери на плеча, пошли, перекрестив лбы и пошептав молитвы, по вспаханному полю, одинаковым движением рук разбрасывая сыпучие струи зерна. И следом за ними, мало пождав, двинулись две конные упряжки с деревянными боровами, одну вел Варфоломей, другую Петр. И хоть пожога была не близко от дома, но и Кирилл с Марией к пабедью тоже явились на поле, когда уже земля, разбитая боровами, лежала, ровная, на большей части бывшей пожоги, грачи и вороны с криком вились над пашнею, норовя ухватить незаборонованное зерно, и мужики, намахавшись вдосталь, уже заканчивали сев. Потом шли к телегам, и Тюха толковал Стефану как равному, что тот крутовато заносит длань, надобно поположе, тогда ровнее ляжет зерно и не будет огрехов. Варфоломею в самом конце работы тоже дали немного побросать зерна, и он с замиранием сердца, хоть и неумело еще, взмахивал рукою и кидал разлетающуюся в воздухе горсть семян, всюю кожей ощущая творение чуда: чуда воссоздания нового бытия из семян предыдущей жизни. «Знай же, не умрет зерно, но прорастет! А упавши на почву добрую, даст сторицею»...

Вечная тайна! Вечный оборот бытия. Все тот же и всегда новый круг воссоздания творимого. Не так же ли точно и Творец силою вышней любви постоянно творит и обновляет земное бытие? И тогда во всем, что вокруг и окрест нас, — Его дыхание, Его воля и тайна великая!

Теперь минувшая пожога уже не гляделась страшною, и прерывистый, царапающий землю ход сохи получил оправдание свое. Творя — воссоздавай, и будешь творить по воле

Господней!

Вечером все вместе сидели за праздничным столом. Вот и засеяна первая пашня на здешней стороне, первый корень пущен в землю новой родины!

Глава 3

Ладным, согласным перебором стучат топоры. Стефан с плотником Наумом и младшим братишкою Варфоломеем рубят новую клеть, торопятся успеть до покоса.

Парит. Облака стоят высокими омертвелыми громадами, не загораживая яростного солнца. Земля клубится, исходит соками. Лист на деревьях сверкает и переливается в дрожащем мареве. Окоем весь затянут прозрачною дымкой.

Все трое взмокли, давно расстегнули ворота волглых рубаш. Волосы мокрыми космами ниспадают на разгоряченные, опаленные солнцем лбы. Бревна истекают смолою. Топоры горячи от солнца — не тронь. Чмокает и чавкает свежее дерево. Боярин и мужик молча, враз, подхватывают топорами бревно, круто, рывком, оборачивают (давно выучились понимать друг друга без слов) и тут же с двух концов наперегонки зарубают чашки. Варфоломей торопится разложить ровным рядом мох по нижнему бревну. Урядив свое, тут же хватается за топор, изо всех сил гонит крутую щепу, вычищая паз. Готовое дерево тут же усаживают на место. Стефан мрачен, досадливо щурит глаза, прикусывает губу, зло и твердо врубает секиру, что означает у него какую-то настырную муку мысли, и Варфоломей отбрасывает пот со лба тыльной стороною ладошки, отдувая с лица долгую прядь льняных волос, коротко и преданно взглядывает на брата, недоумевая — чем же так раздосадован Стефан? Из утра уже обратали восемь дерев, и клеть, гляди-ко, растет прямо на глазах!

Наконец Стефан разгибается для передыху — сухощавый и высокий, в отца, просторный в плечах, — легко вгоняет секиру в бревно, обтирает чело рукавом и слегка кивает Науму, который тотчас, соскочив с подмостий, проворно забирается в тень за грудую окоренных бревен. Сам Стефан медлит, оглядывая вприщур поставленный на стояки сруб, и роняет сквозь зубы не то брату, не то самому себе:

— Единственная дорога — монастырь! Не прибежище в старости, не покой, а подвиг! Да, да, подвиг!

Варфоломей вперяет взор в лицо брата — строгое, загорелое докрасна, резкое и прямое, словно обрубленное топором ото лба к подбородку, в его углубленные, огневые, обведенные тенью глаза.

— Фаворский свет? — переспрашивает с надеждою, — как на Афоне?! (Про Фаворский свет он может говорить и выслушивать бесконечно.) — Стефан!

— спрашивает он робко. — Ты ведь мне так и не дотолковал того, как надобно деять, чего там у их... мнихов афонских?

— Чего тут уведашь... В лесе живем! — рассеянно отвечает Стефан и присовокупляет досадливо:

— О чем тут, в Радонеже, можно узнать!

— Научи меня греческому! — застенчиво просит отрок.

Стефан остро взглядывает на брата, отводит взор и покачивает головой:

— Недосуг!.. Трудно... — Он опять было берется за секиру, подкидывает ее в руке, что-то поправляет легкими скупыми ударами носка.

Солнце встает все выше и уже приметно истекает из середины своей тяжелою тьмой. Вот край высокого облака легко коснулся солнечного круга, пригасив и сузив жгучие лучи. В густом настое запахов смолы, пыли, навоза почуялось легчайшее, чуть заметное шевеление воздуха. Хоть бы смочило дождем!

— Благо есть! — громко проговаривает Стефан, втыкая в ствол блеснувшее лезвие секиры. — Благо есть, — повторяет он, — что все так окончилось! Роскошь, палаты, вершники впереди и назади, седла под бирюзой, серебряные рукомои... На кони едва ли не в отхожее место!

Варфоломей слушает раскрыв рот, забыв в руке недвижимый топор. Не сразу уразумел, что Стефан бает про ихнюю прежнюю жисть.

— Роскошь не надобе человеку! — режет Стефан, ни к кому не обращаясь, горячечным взором следя пустоту перед собой. Варфоломей даже дыхание сдерживает, мурашками по коже поняв, что брат намерил сказать сейчас что-то самонужнейшее, о чем думал давно и задолго.

— Господь! В поте лица! — Стефана распирает изнутри, и слова выпрыгивают оборванные, словно обугленные, без начала и связи. — А мы все силы — опасности себя от тяжести! Облегчить плеча, от поту опастись! На том камени зиждем, что и сам тленен и временен! Алчем тех сокровищ, что червь точит и тать крадет! И на сем, тленном, задумали строить вечное!

Московляне правы, что отобрали у нас серебро!

— Срам, что, пока не свалит на тебя беда, сами не можем! Слабы духом!

Надо самим! Нужно величие жертвы! Да, в монахи! — продолжал он яростно, с жутким блеском в глазах, — взять самому на себя вериги и тяготу большую и тем освободить дух! От роскоши, от гордости, от похвал, славы — ото всего!

Тогда! У зришь свет Фаворский!

И сыродцы нынѣ терзают Русь из-за нас! Нам, нам, русичам, надобно сплотить себя духовно! Чел ты слова Серапионовы? Мы, днесъ, «в посмех и поношение стали народам, сущим окрест!» Единение! А затем — дух святой возжечь во всех нас! Вот путь! Для сего — и прежде — очистить себя от скверны стяжательской! Дьявол взыскует плоть, Господь — дух! И это должны мы! Бояре! Мужики — они еще не вкусили благ, а мы, отравленные ими, должны сами себя изменить! Хватит сил духовно, — сумеем поднять всю Русь! Все прочее — тлен. Слова не нужны. Нужны дела! Подвиг! На Руси пропала вера в подвиги!

Когда поднялась Тверь — громили Шевкала, ты еще мал был, — знаешь, я шатался по торгу. Собралось вече. И все знали, что надо помочь! И никто, понимаешь, никто! Первым чтобы. Как старшина, мол, бояре как? Как набольшие меня? И — предали! На поток и разор ордынский предали тверичей!

Я тогда уразумел, понял: дух! Духом слабы! Не силою! А в училище нашем, в Ростове, споры о тонкостях богословских, что там сказал Несторий... Что бы то ни, а — сказал! А мы — повторяем только!

И Дмитрий Грозные Очи! Бесполезная смерть в Орде. Как я его понимал тогда! Преклонялся! Героем считал! Подвижником... А быть может, и он... вовсе... от бессилия...

Подвиг! Идти вопреки! Знаешь, ежели бы вдруг разрушились деревни и словно от мора некоего народ побежал в города, стеснился в стенах, забросив нивы и пажити, я бы сказал тогда: паши землю! Но не опускайся долу, не теряй высоты духовной! Знай, что и там, на пашне, творишь ты не живота ради, а ради духа животворящего твоего!

Но народ жив! Он как раз в деревнях, на земле, вот здесь, окрест нас.

Нужен подвиг духовный, надобен монашеский труд! Совокупление в себе Духа Божьего! Фаворский свет! Это огонь, от коего возгорит новое величие Руси!

Стефан замолк как отрезал. Варфоломей глядел на брата не шевелясь.

Путь был означен. Им обоим. И — он знал это — другого пути не могло быть.

— Стефан! — спросил он после долгого молчания, — что нам... что мне, — поправился он, зарозовев, — надо делать теперь? Укреплять свою плоть для подвига?

— Человек все может и так... — устало возразил Стефан. — В яме, в училище, в голой степи, в плену ордынском годами живут люди! Выдержать можно много... любому... когда нет иного пути! Сильна плоть! Важно самого себя подвигнуть на отречение и труд, важно... да ты все знаешь и сам! Стефан вздохнул, вновь берясь за рукоять секиры. — Наума покличь!

Варфоломей единый незримый миг медлит, обернув к брату пронзительный взор, и прежде, чем соскочить с подмостий, выговаривает серьезно:

— Я с тобою, Стефан! Что бы ни сталося впредь, я с тобой!

Глава 4

Истекает Филиппев пост. Близится Рождество. Земля плотно укутана в толстую белую шубу. Метет. Серебряные струи со звоном и шорохом обтекают углы клетей. Весь Радонеж в белой мгле. Кони под навесом жердевой стаи сбились в кучу, прячась от ветра, греют друг

друга. Темной, убеленной ветром громадою высится терем Кирилла, обширный, в две связи, поставленный на высокий подклет. Третьелетошние бревна уже посерели и потемнели от вьюжных ветров и косых дождей. Снег, набитый ветром в углубленья пазов, подчеркнул и выкруглил белою прорисью каждое бревно. Челядня, поварня, амбары и клеть прячутся и тонут в дыму мятели. Едва-едва проглядывают соседние избы и огорожи. Редкий огонь мелькнет в намороженном слюдяном оконце, редко откроется дверь. Кому охота в такое непогодье высовывать нос из дому?

Вся семья Кирилла в сборе, кроме Варфоломея. Он из утра уехал за сеном. В первой, проходной, горнице терема, где разместились четыре семьи старшей дружины Кирилловой, горит одинокий светец. Бабы прядут, судача о своем. Дети залезли на полати, сопя, возятся друг с другом в темноте. Яков с Даньшею лениво передвигают шахматы по доске. Разговор о том о сем, но все больше как-то задевает Терентия Ртища — наместнику надобны люди, и многие ростовчане уже заложились за боярина, даже один из бывших Кирилловых холопов подался на сытные московские хлеба.

— Нашему бы господину от москвитов какую волостишку на прокорм... пряча глаза, роняет Даньша. Рука его замирает в нерешительности, наконец двигает по доске грубую кленовую фигуру. Яков, сощурился, переставляет лодью, бормочет, словно бы про себя:

— Прошло время!

Его самого, отай, презывали в дружину Терентия, о чем Даньше пока ведать не надлежит. «А ни лысого беса нам не дадут!» — думает он сокрушенно, пока еще по привычке не отделяя себя от господина своего.

— Ни лысого беса не дадут, устарел наш боярин! — произносит он почти вслух, забирая лодьей супротивничьего коня.

Во второй горнице, за рубленою стеною, за закрытою дверью — Кириллова семья. Потолок в саже и здесь: топят по-черному. Но ниже досок — отсыпок стены и лавки выскоблены дожелта, и в двух стоянцах теплются высокие свечи.

Мария, как по всякой день вечером, шьет, привычно и споро орудуя иглой. Кирилл, примостясь рядом, у той же свечи, щурясь и отводя книгу далеко от себя, перечитывает жития старцев египетских. (К старости стали сдавать глаза: вдаль хорошо видят по-прежнему, а вблизи все расплывается и двоится.) Стефан у второго стоянца тоже погружен в чтение — изучает греческий синаксарий. Петр плетет силки на боровую птицу. Старая нянька сучит льняную куделю, мотает готовую нить на веретено. Голова у нее слегка трясется. Тихо. Слышно, как, огорая, потрескивают свечи в стоянцах. Мария, круто склонив чело, замирает с иглою в руке, слушает жалобный голос ветра за стеною.

— Должно бы уж Олфоромею быть! С кем уехали-то?

— С Онькой! — отрывисто отвечает Стефан. — Дороги замело, почитай, совсем...

— Вьюжная зима, — подает голос Ульяния, — коням истомно, поди!

— Доедут! — заключает Стефан и вновь утыкает взор в узорные строки греческого письма. Мария, с некоторою тревогою поглядев на старшего сына, вздыхает, переводя речь на иное:

— Онисим даве баял, князь Иван Данилыч будто опять в Орду укатил...

Кирилл отрывает покрасневшие глаза от книги, с трудом возвращаясь к тутошнему земному бытию. Трудно думает, шепчет что-то про себя, морща лоб.

— Надобе Алексан Михалычу... — Не dokonчив, прислушивается:

— Не волки ле?! Вьюга, не ровен час... Наши-то!

Стефан подымает голову, угрюмо кидает:

— Сиди, отец! Я выйду, послушаю. Заодно коней гляну! — Он стремительно встает, глубоко нахлобучивает шапку, на ходу набрасывает на плеча овчинный зипун. Скоро хлопает наружная дверь. Кирилл по-прежнему прислушивается и не понимает: не то это ветер в дымнике, не то и вправду далекий волчий вой? Ему как-то почти все равно, где сейчас находится какой князь, даже и чем окончится пря Москвы с Тверью, а всего важнее воротится ли благополучно Варфоломей из лесу?

Мария тоже прислушивается, но не столько к вою ветра, сколько к своим скорбным мыслям, — видно по горькой прямой складке губ, по взору, недвижно устремленному в

пустоту.

— Хлева надо рубить по весне, и повалушу, — произносит она наконец, с каких животов? Холопов всех распустил, дитю и приходится одному биться в лесе в экое погоды!

— Не путем баешь, жена! — укоризненно отвечает Кирилл, помедлив. Христос не велел роботити братью свою... По-Божьи надобно...

— Дети! — восклицает Мария с тихим отчаяньем. — Кабы не дети! Петя вон мужиком растет, Олфоромей когда что самоуком ухватит у Стефана, а так-то... Ростила, ночей не спала... В крестьяне пойдут?

Петр подымает взгляд, готовный, светлый. Молчит, но ясно и так: и пойду, мол, что такого? Не ссорьтесь только из-за меня!

— Почто перебрались сюда, третий год бьемся... — бормочет Мария, склоняясь над шитьем. — Ни почету, ни службы княжой. Люди уходят, который доброй работник, ты всякому вольную даешь! Осталась, почитай, одна хлебоаять!

— Яков есть! — веско замечает Кирилл.

— И Яков уйдет! — с безнадежным отчаяньем восклицает Мария.

— Яков не уйдет! — убежденно и строго, сводя хмурью все еще красивые седые брови, возражает Кирилл. Мария коротко взглядывает в укоризненные очи супруга и еще ниже склоняет голову с белыми прядями седины, что предательски выглядывают из-под повойника.

— Прости, ладо! — винится она вполголоса. — Чую, не то молвила...

Токмо... В Ростове хоть Стефана выучили... А здесь — одни медведи! Умрем в одночасье...

— Господь не оставит детей, жена! Все в руце его! — вздыхая, отмолвливает Кирилл. Подумав, он добавляет:

— Премного величахуся, красно хожаху, в злате и серебре! Гордых смиряет Господь...

— Ты ли величался! — Голос Марии звучит глубоким лебединым горловым переливом, ломается и тонет в молчании. (Любимый, ладо, жалимой, неталанливой мой! — досказывает за нее тишина.) Снова хлопает настылая дверь. Стефан появляется на пороге, кирпично-красный с мороза.

— Трофим опять коням сена не задал! — громко и возмущенно говорит он с порога. — Пристрожил бы ты его, батя! — Он скидывает настылый зипун, вешает шапку на деревянную спицу. Пробираясь к столу, роняет, словно бы невзначай, для матери с отцом:

— До ночи не воротят, поеду встречу.

Вьюга воет. В оснеженных крохотных оконцах, прорубленных всего полтора бревна и затянутых пузырем, смеркает короткий день.

Но вот наконец на дворе скрипят долгожданные сани. Слышно, как фыркают кони. Петр со Стефаном оба срываются с мест и наперегонки, ухватывая зипуны, вылетают из терема. Тут уже в синих сумерках грудятся возы. Кони тяжело дышат, шумно отфыркивают сосульки с морд. Мокрая шерсть в кольцах, закуржавела от инея. Варфоломей с Онькой, оба по уши в снегу, шевелятся у возов. — Припозднились! Пробивали дорогу! — весело объясняет сизый Варфоломей прыгающими губами. Его всего трясет, но покрасневшие, исхлестанные снегом глаза сияют гордостью победы. Ведь ему пришлось несколько часов подряд по грудь в снегу пробивать дорогу коням, и на последнем выезде лопнул гуж, и он, срывая ногти, развязывал — и развязал-таки! — застывший на морозе кожаный узел, и передергивал гуж в хомуте, и затягивал вновь немеющими на холоде окровавленными пальцами. И все-таки довез, дотянул, не бросив ни которого в пути (как ему советовал Онька и как, приходя в отчаянье, подумывал было он и сам), все четыре груженные воза, и теперь уже все позади, и братья сгружают сено, и выползают холопы на помощь, и Чубарый, что шел передовым, по грудь угрязая в сугробах, и храпел, и бился в хомуте, и прыгал заячьим скоком, грозя оборвать всю упряжь, тоже не подвел, возмог — выстал, вытащил-таки! А сейчас стоит кося глазом и поводя боками, и тепло и небольно прихватывает Варфоломея большими зубами за рукава и стылые полы зипуна, тычется мордою в руки и грудь Варфоломею, соскребая об него сосульки с усов и губ.

— Балуй, балуй! — радостно бормочет Варфоломей, распрягая коня, а тот сам, сгибая шею, помогает стащить хомут с головы и, освобожденный от сбруи, переступив через оглобли, сам, волоча уздечку, уходит в загон к сбившимся в кучу коням. Варфоломей догоняет Чубарого,

сует ему в рот оставшийся в мошне огрызок хлеба, и пока конь, благодарно кивая головою, грызет, снимает заледенелую узду. Здесь, за бревенчатую стеною терема, уже не так резко сечет ветер, от коня пышет жаром, и Варфоломей на минуту прижимает ладони к потной и мокрой шее Чубарого, чуя, как живит конское тепло одеревенелые пальцы...

Скоро сено убрано, дровни затащены под навес и все четыре лошади распряжены и поставлены в стаю. Оживленно переговаривая, работники расходятся по клетям. Синяя ночь надвигается на зимний Радонеж. И так славно сейчас сидеть дома, в тепле, у огня! Так славно, сотворив молитву перед трапезою, греть руки о глиняную латку с горячими постными щами, так сладок душистый ржаной хлеб, который Варфоломей по раз-навсегда заведенной привычке не глотает торопливо, давясь кусками, как бы ни был голоден, а долго и тщательно разжевывает, пока весь рот не наполнит слюной и пока хлеб не превратится в нежную кисловатую кашицу, которая уже как бы сама проникает в горло — так жевать научили его за много лет добровольно принятые на себя посты.

— Стефан, ты мне обещал сегодня сказывать про Василия Великого? спрашивает он вполголоса брата, отрываясь от еды.

Стефан кивает.

Снова хлопают двери. Вся облепленная снегом, румяная, сияющая, нежная в своем пуховом платке и шубейке, забегает Нюша, Протопопова внучка «Анна Юрьевна», как полушутя зовет девочку по имени-отчеству деинка Онисим, — ойкает, ласково и звонко произносит: «Хлеб-соль!» — и таратористо передает то, с чем ее послали родители, сама озорными глазами оглядывая по очереди всех троих братьев, что сидят за столом, и каждый по-своему — Стефан снисходительно, Петя радостно, а Варфоломей застенчиво — невольно отвечает на ее улыбку. Замечает кирпично-красное, замороженное лицо Варфоломея, строит ему в особину милую рожицу, но тут же, не выдержав, прыскает в ладошку и, увильнув подолом, с залившимся хохотом убегает вновь в синий холод, только щелк намороженной двери словно все еще хранит, замирая, незаботный девичий смех.

Глава 5

Минуло Рождество. По деревне ходили со звездой, славили младенца Христа. И тотчас затем заходили по Радонежу ряженные в личинах и харях, с хвостами и рогами, плясали, изображая чертей, таскали бесстыдного «покойника» из дому в дом, «проверяли» визжащих девок. Варфоломей от ряженных спасался на чердаке. Даже Нюша «Анна Юрьевна», не могла его выманить оттуда. Он один только и не ходил, кажется, в личине по зимним улицам, перепрыгивал через сугробы, под огромным, затканым голубыми алмазами звезд небом.

На Крещение устраивали йордан — пешали прорубь в речке в виде большого креста; бабы свекольным соком окрасили ледяные края, и сверху, с горы, дивно было глядеть на темно-алый, с бурлящею в глубине темной водою ледяной крест и цветную толпу радонежан по краям, веселыми криками приветствующих храбрецов, что, перекрестясь, кидались нагишом или в одних рубахах в ледяную воду и тут же выпрыгивали, красные, словно ошпаренные, торопливо влезая в шубы и валенки.

На Масленой, так же, как и в Ростове, катались по улицам на разукрашенных лентами и бубенцами конях. Гадали и крестились, бегали в церковь и к колдуну. Жизнь текла причудливой смесью верований и суеверий, своим, неуправляемым потоком, притекавшим из прошлого и уходящим в иные, будущие века... И по книгам, по учительным словам Иоанна Златоустого, узнавалось, что то же самое было и встарь, и всегда, быть может... Так что же — должен отринуть он этот мир, с гаданьями и колдовством? Проклясть, яко древние манихеи? Или принять все как есть, согласиться и на ведовство, и на нечистую силу, заговаривать кровь у знахарок и просить домового не гонять и не мучить по ночам лошадей?

На Масленой произошло одно событие, не такое уж и важное самое по себе, но заставившее подростка Варфоломея впервые самостоятельно задуматься о праве и правде и о том, как непросто и порою неожиданно разрешается то и другое в окружающем его земном бытии.

Радонежанин Несторка, конский барышник, на своем караковом жеребце обогнал в

состязаниях праздничную упряжку самого Терентия Ртища, наместника.

Конь у Несторки был и правда дивный. Варфоломей живо помнил конские бега, разубранные упряжки, цветную толпу орущих, свистящих, машущих платками и шапками радонежан, гривастых, широкогрудых коней в узорных уборах, сбруи в наборной меди и серебре, расписные легкие сани, ездовых в заломленных шапках, в красных развевающихся кушаках, вихри снега из-под копыт, и то, как седоки, обгонявшие соперников, скаля зубы, приподымались в санях, словно сами готовясь полететь вослед сумасшедшему конскому бегу... И как в тот миг, когда сани победителя начинали обходить чужие и морда скачущего коня в пене и блеске удил выдвигалась все больше и больше наперед обгоняемой упряжки, а переборы конских ног и просверк копыт сливались в одно сплошное, едва различимое мелькание, — лавиною нарастал и ширил дружный крик со сторон: «Надда-а-ай!». И на крике, на сплошной волне, под бешеный звон колокольников вырывалась вперед победоносная упряжка, и уже седок, выпрямляясь в рост, сам орал и вопил, и гнал, слившись с конем и повозкой в единый катящийся клубок, в снежном вихре к победной мете.

Несторка пустил своего каракового на третий заезд. Легко обогнав шестерых соперников, он скоро приблизил к упряжке Ртища и начал обходить ее на виду у всех, у въезда в Радонеж. Наместничий возчий попробовал было не поддаться (прочие гончики уже остались далеко позади), даже начал вилять, не давая пути. И тут-то Несторка, издав свой знаменитый разбойничий посвист, выжал из коня все и еще раз все, караковый жеребец наддал, словно у него выросли крылья, и, мало не раздробив сани о сани, черной молнией пронесся под носом игреневого наместничьего иноходца, уже в виду церкви вылетев вперед, на простор укатанной ровной дороги, и тут еще наддал под пронзительно-режущий Несторкин свист, а барышник в сумасшедшем беге коня еще и сумел оборотить лицо, прокричав сопернику обидное, так что тот аж сбрусвянел, бешено и безнадежно полосую бока своего опозоренного скакуна...

А потом, пока вываживали взмысленных коней, Несторка, оглядывая лихим бесшабашным глазом ликующую толпу, хвастал, заламывая шапку, смачно сплевывал на снег, ставши фертом, руки в боки, и сам Терентий Ртищ подъехал к нему, улыбаясь и хмурясь одновременно, прощая продать каракового, а Несторка отрицательно тряс головой, с беспечною удалью, через плечо, отказывая самому хозяину Радонежа, под веселый смех и поощрительные возгласы со сторон:

— Не отдавай! Нипочем не продавай! Ай да Несторка! Ай да хват!

И наместник, набычась, сердито вздев плетъ, отъехал посторонь, пристыженный смердом.

Вечер и еще день барышник взапуски хвастал конем, а еще на завтра молоньей пролетел слух, что Ртищ отобрал жеребца у Несторки, и не серебром, ни меною, а за просто так: явились наместничьи люди, связали барышника, чтоб не ерепенился, и свели жеребца к Терентью во двор.

Несторку, который запил с горя, жалели все. Варфоломей по старой памяти прибежал к отцу с просьбою как-то помочь, вмешаться, усовестить Терентия Ртища...

С детских лет, мало не задумываясь о том, видел Варфоломей, как приходят к его батюшке мужики из села и даже горожане, купцы и ремесленники, а он, важный, изодев праздничные порты, садится в точеное креслице и посуживает их споры и жалобы друг на друга. Отца считали праведным и на суд его никогда, кажется, не обижались. (Самого отца в те поры судить мог только князь.) Бывало, что и мелкие вотчинники обращались к Кириллу как к думному боярину ростовского князя за советом и исправою.

Кирилл ставил жалобщиков одесную и ошую себя и давал им говорить по очереди, останавливая, когда спор переходил в брань или взаимные угрозы.

Отец подолгу и терпеливо выслушивал тех и других, посылал слухачей проверить на месте, как и что, ежели дело касалось споров поземельных, и решал-таки дело всякий раз к обоюдному согласию тяжущихся.

И хотя знал, ведал Варфоломей, что ныне нет у родителя-батюшки той власти, и даже сам он должен по суду отвечать перед наместником, а все казалось: как же так? Отец ведь! Никак не укладывалось новое их состояние у него в голове... И только дошло, когда Кирилл, подняв усталый взор от книги, скупно и строго отверг Варфоломеев призыв:

— Ноне не я сужу! Дела те наместничьи, ему и ведать надлежит. А наместник единому князю повинен. Так вот, сын! — Он вздохнул, утупил очи, повторил тише:

— Так вот... — И уже отворотясь, примолвил:

— И не думай о том, не тревожь сердца своего...

Варфоломей вышел от отца повесив голову. Не думать, однако, он не мог. У него мелькнула сумасшедшая мысль — поговорив прежде с Несторкою, идти самому на Москву, просить милости у великого князя. Хотя и плохо понимал он, как возможно ему, отроку, минуя тьмочисленную стражу, предстать пред очи великого князя владимирского.

Барышника он застал у дяди Онисима, в людской, и тотчас понял, что никакой разговор с ним сейчас невозможен. Несторка был до предела, до положения риз пьян. Поминутно ваяясь на стол, размазывая рукавами по столешнице хмельную жижу, он белыми, невидящими глазами обводил жило и в голос, перемежая ругань икотой, костерил почем попадая Терентия Ртища.

Онисимовы смерды гыгыкали, слушая барышника, подливали ему пива, которое тот не столько пил уже, сколько выливал себе на колени и грудь, ухмыльчиво подзуживая его на новые и новые излияния.

Варфоломею на его первые горячие слова, сказанные, что называется, с разбегу (не узнавши, верно, молодого боярчонка), Несторка ответил длинною замысловатою руганью, в коей среди матерных слов был упомянут и суд княжий, и Терентий Ртищ, и сам великий князь московский.

— Дурак он, Терентий твой (было добавлено и зело неподобное определение к слову дурак), х...ый наместник! Коня отобрал! Ха, ха, ха!

Пушай подавится моим конем, мозгяк! Да я бы на евонном мести! Да всех...

В рот...! Бабы там, девок энтих, — табунами бы шли! Которую захочу! Тотчас ко мне на постелю! Стада конинные! Порты! Рухлядь! Серебро! Вы, вси!

Ползали б передо мною на брюхах!

— Ползали, ползали! — охотно, подмигивая Варфоломею, отозвался один из кметей. — Да ты испей! Авось и сам до дому-то доползешь!

— А што! Доползу! Пра-слово... Да я! Да ему... — И снова полилась заковыристая матерная брань.

Варфоломей уже не мог слушать долее гнусной похвальбы пьяного барышника. Выйдя на волю, он почуял, что желание брести на Москву и искать там Несторкиной правды из него улетучилось.

Возможно, Терентий Ртищ был и прав, что поступил именно так! Во всяком рази, представив себе на миг обиженного Несторку на месте Терентия Ртища, Варфоломей почувствовал, как его определенно замутило.

Суд московский, скорый и не всегда милостивый, который творил в Радонеже наместник, быть может, отвечал больше воззрениям местных жителей на саму природу власти и был даже понятнее им, чем торжественные разборы дела, устраивавшиеся его отцом в Ростовской земле! Да похоже было, что и сам Несторка в глубине души признавал правоту наместника, ответившего насилием на глумливую выхвалу смерда. И что тогда должен делать и что думать он, Варфоломей, похотевший вступить за обиженного?!

Глава 6

Постоянно таскаясь в челядню, где он обучался всяческому ремеслу у всезнающего Тюхи, Варфоломей наслушался всякого. Уже и приметы, и наговоры, и значения вещих снов, и вера в птичий грай сделались ему ведомы. Узнавал он

— нехотя, само лезло в уши, — из речей, что вели при нем, нимало не стесняясь подростка, женки, кто с кем дружит, и кто на кого сердце несет, какая Фекла или Мотька к кому из мужиков бегают на сторону, и от кого родила дитю вдовая Епишиха, и для которого дела варит кривая Окулька приворотное зелье. Он все запоминал молча, не вмешиваясь ни в бабьи пересуды, ни в толковню мужиков, и, возвращаясь к себе в терем, открывая твердые доски книжного переплета, думал о том, как же теперь совместить, — не для себя, для них! — все это, слышанное только что, и высокие слова церковных поучений? Жизнь нельзя было ломать и корежить, это он уже постиг, скорее даже не умом, сердцем. И тогда — не самое ли достойное и мудрое, в самом деле, — монашеская жизнь? Рядом и не вместе. С миром, но не в миру. Для

постоянного, но не стеснительного руковоженья и наставительной проповеди Христовых заветов!

Верно, от этих непрестанных мыслей он и решился однажды на дело, едва не стоившее ему головы.

Про радонежского колдуна, по прозвищу Ляпун Ерш, давно и много говорили в городке. Водились за ним дела темные, нечистые, даже страшные дела: присухи, порчи молодых, насыльные болезни, порча коней и погубление младеней по просьбам гульбых женок... Но последнее, что всколыхнуло весь Радонеж, была гибель Тиши Слизня, доброго, богомольного мужика, что никогда и мухи не обидел, всем готовый услужить и помочь.

С Ляпуном они не ладили давно. Тиша лечил травами, пользовал скот, почасти ничего не беря за свои труды, и всем тем, а паче, своею настойчивой добротой, постоянно становился поперек разнообразных каверз Ерша.

Тут они вроде бы помирились, и даже положили вместе рубить дерева. А в самом начале Филиппева поста Тишу Слизня задавило деревом. Слух о том, что дело не так-то просто и что без Ляпуна тут не обошлось, сразу потек по городку. В лицо, однако ж, колдуну никто не говорил ничего, — боялись сглаза. И на рассмотреньи у наместника так и осталось: в погибели сам виноват, не поберегся путем.

Тюха, объясняя Варфоломею событие, ворчал:

— Дак, ково тут, сам! Посуди: эдак-то стоял Тиша, а эдак — Ляпун.

Тута дурак не постережется! Стало, прежде подрубил и свалил на ево, так!

Сходи сам, глянь. И дерева те не убраны, кажись, по сию пору.

Варфоломей не поленился отыскать дальнюю делянку, где произошло несчастье. Осмотрел роковое дерево, в самом деле не убранное до сих пор.

Тут, на месте, все казалось яснее ясного. Только со злого умыслу можно было так уронить дерево, не окликнув напарника. Люди Терентия Ртища явно поленились проверить все путем.

Домой Варфоломей возвращался задумчивый. Вечером, в челядне, прямо спросил Тюху, что ж он; получается, все знал, а не повестил о том наместнику?

— Ишь ты, борзый какой! — возразил Тюха, покачав головою. — Ляпун-то, знаешь, колдун, ево и не взять никак! Любой страже глаза отведет, а опосле житья не даст, мне ить из Радонежа бежать придет!

Когда в этот вечер Варфоломей выходил из челядни, сами ноги повели его в конец деревни, а там, по проторенной узкой тропке, к дому Ляпуна, нелюдимо утонувшему в глубоких декабрьских снегах. В сумерках уже смутно отделялась граница леса и неба. Ноги ощупью находили едва заметный человеческий след.

Кобель рванулся на железной цепи, яростно, с хрипом, взвыл, царапая лапами снег, когда Варфоломей, осклизаясь на оледенелых плахах крыльца и тыкаясь в темных сенях, нашаривал рукоять двери.

— Кого черт несет, мать перетак!

Дверь швырком отлетела посторонь. Ляпун Ерш вывернулся в проеме, дыша пивным перегаром, косматый, нелюдимо и остро вглядываясь в темноту.

Варфоломей еще не знал, что скажет или содеет, но тут, услыша брошенное в лицо:

— «Пшел!..» — с густым, неподобным окончанием, — попросту, не думая, отпихнул плечом хозяина и полез в жило, скудно освещенное колеблемым огоньком сальника.

Пахло кровью, паленою шерстью и кожевенным смрадом. Ляпун Ерш вцепился, было, в плечо, Варфоломею и так, вместе с ним, ввололся в избу.

То ли узнав боярчонка, то ли почуяв силу в госте, хохотнул:

— Аа! Ростовской, ростовской! Чаво, не куницу ли куплять хошь?

Клоня башку с павшею на глаза нечесаную космою волос, мерзко и блудливо улыбаясь, он сожидал ответа, сам загораживая гостю проход, в глазах копилась пьяная злоба.

— Ничего, — спокойно отмолвил Варфоломей. — Поговорить пришел!

— Так, так значит! Поговорить! А мне ентих разговорщиков не надоть! он качнулся, рукою нашаривая что потяжелее.

— Сядь, Ляпун! — возможно строже произнес Варфоломей. — Со мною ли, с Господом, а придет тебе говорить!

Ерш засопел, вскинул зраком, глумливо протянул:

— С Го-о-осподом?! Да ты не от ево ли, часом, идешь?

Лицо Варфоломея начало наливаться темным румянцем. Глаза отемнели.

Настал тот миг тишины, который приходит перед боем или взрывом бури.

Перед ним, в глиняном светильнике, прыгая, мерцал огонек, неровно выхватывая из темноты то грубый стол, заваленный обрезками кожи и шкур, деревянными и железными скребками, небрежно сдвинутой к краю прокопченной корчагой с варевом и полукраюхой черного хлеба, то — пузатую, глинобитную печь, то полицу с глиняной и медной утварью, то развешанные над головою в аспидной, продымленной черноте сети, то груды копыльев и полуободранные барсучьи туши на полу.

Решась, словно кидаясь в прорубь (все, что хотел сказать допрежь того, вылетело из головы), Варфоломей молвил, как бросил:

— Тишу Слизня ты убил?! — и — как словно от сказанного — загустел воздух в избе. Ляпун качнулся, проминовав чан с черною жижей и молча, страшно, ринул на Варфоломея, схватив его измаранными в крови руками за грудки. Варфоломея шатнуло назад и вбок, но он устоял и изо всех сил сжал, вывертывая запястья, руки Ерша. Минуты две оба боролись молча, но вот Ерш ослаб, руки его разжались, и он, в свою очередь отпихнутый Варфоломеем, отлетел до полу-избы.

— Уйди-и-и! — взвыл Ляпун и, сгребя первое, что попало под руку обугленную деревянную кочергу, — ринул снова на Варфоломея. Они сцепились вновь. Но теперь Варфоломей ожидал нападения. Схватя на замахе, и круто свернув вбок и книзу, он вырвал кочергу из рук Ерша, и, — ринув его так, что тот, отлетев за кадь, не удержался на ногах и сел на пол, — грянул двумя руками кочергу о край кади, переломив пополам сухое дерево, и кинул обломки под порог. — Та-а-ак! — процедил Ляпун, звероподобно следя за Варфоломеем. — В моем доме меня же... Та-а-ак... — протянул он еще раз, круто вскочил на ноги и вдруг, вместо того чтобы вновь броситься на Варфоломея, принял руки в боки и захохотал.

— Да ты чево? Чево? — сквозь булькающий, взхлеб смех выговорил он, чево надумал-то? Будто я? Ето я, значит, Тишку убил? Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! он захохотал вновь и так звонко, что у Варфоломея на мгновение — только на мгновение, — шевельнулась неуверенность в душе: а вдруг все, что баяли про колдуна, обычный сельский оговор. Но тут он заметил, что глаза у Ерша отнюдь не смеются, а зорко и колюче высматривают. И он сделал — поступив, впрочем, вполне безотчетно, — самое правильное: не ответив ничего и не усмехнувшись в ответ, стоял и ждал, прямо глядя в лицо Ляпуну, а тот все хохотал, натужнее и натужнее, и уже видать было, что совсем и не до смеха ему, и, почуяв, наконец, что более продолжать не след и что незваный гость все одно ему не поверил, он вдруг круто оборвал смех, примолвив с прежнею яростью:

— Ну, вот што, глаздырь! Потешил меня, а теперя ступай отсель, пока я пса с цепи не спустил! Ну?! — рывкнул он, шагая к Варфоломею. Варфоломей поднял правую руку, примериваясь схватить колдуна, в свою очередь, за воротник.

— Ты убил, — повторил он сурово и тихо, — и должен покаяться в том!

— Тебе, што ль, сопливец? — возразил, шурясь, Ляпун и вновь взревел:

— Вон! В дому моем!! Вон отселе!!! — И — кинулся вдругорядь. Но тут Варфоломей, изловчась, рванул его к себе за предплечье и, развернув на прыжке затылком к себе, ринул в дальний угол, в груды копыльев. — А, так... ты так... Ну, постой, погоди... — бормотал Ерш, возясь на полу, не поворачивая лица к Варфоломею, а руками лихорадочно ища какое ни на есть оружие.

— Оставь, Ляпун! — возможно спокойнее сказал Варфоломей. — Меня не убьешь, да и я не с дракою к тебе пришел.

— Не с дракою? — лихорадочно возразил Ляпун, стоя на коленях и не оборачиваясь. — Не с дракою! А хозяина в ево дому бьешь! Да и небыль сплел на меня. Ково я убил?! — прокричал он, вскакивая и поворачивая к Варфоломею искаженное, едва ли не со слезами лицо. — Ково? Ну?! Ково? бормотал он, наступая на Варфоломея. (В руке колдуна заметил Варфоломей длинное сапожное шило).

— Тишу Слизня ты убил! — возразил Варфоломей и, сделав шаг вперед, метко схватил

Ерша за запястье:

— Брось! — Вывернутое шило со стуком упало и закатилось под кадь.

Обезоруженный, тяжело дыша, колдун угрюмо, исподлобья, давящим недобрым взглядом уставился на Варфоломея. Взгляд его именно давил, казалось, имел весомую тяжесть, и Варфоломей, вспомня, что бояли про дурной глаз Ерша, начал про себя читать Иисусову молитву. Минуту и больше пьяный колдун пытался взглядом утратить Варфоломея, пока наконец не понял, что молодой барчонок ему не по зубам.

— Молод, молод, — процедил он сквозь зубы, — а уже...

— Не пугай, Ляпун, — отмолвил Варфоломей, выдержав взгляд колдуна, не пугай! Покайся, лучше!

— Каяти мне не в чем! И ты мне — не указ! Мертвое тело — дело наместничье. К Терентию Ртищу иди, коли доводить хочешь. Токо прежде докажи, что я его убил, а не кто другой! Да его и не убили вовсе, а бревном задавило, слышь?

— Слышу. Ты убил. Был я на месте и дерева те глядел сам. И не скоморошничай передо мною! Ты убил, — отмолвил Варфоломей.

Вновь наступила тишина. Видать, Ерш молча обмысливал сказанное.

Наконец он поднял на Варфоломея обрезанный взгляд, молвив с кривой полуулыбочкой:

— А хошь и убил, не докажешь! — и опять наступила тишина.

— Ты сам должен пойти и покаяться в том! — твердо сказал Варфоломей. И не к Терентию Ртищу сперва, а к батюшке Никодиму, духовному отцу твоему.

Ляпун шатнулся, подумал, усмехнувшись задумчиво. Склонил голову набок:

— С тем и пришел ко мне?

— С тем и пришел, — как можно спокойнее отмолвил Варфоломей.

— Молод ты ищо! — возразил Ляпун, покачивая головою. Он уже заметно отрезвел. — Молод и глуп. Кто ж, по-твоему, сам на себя доводит? Ты хошь видал таких? Али, может, тово, в житиях чел? Дак и все одно, не твое то дело! Был бы мних, старец, куды ни шло! А таких, как ты, много ходит, да всем, поздно ли, рано, окорот бывает, вял? И не тебе, боярчонку, о правде баять да о душе! Ково за правду ту наградили и чем? Какая мне с того придет корысть? Петлю накинута да удавят! Всяк в мире сем за свою выгоду держит! Ты мне: покайся! А я тебе:

— не хочу! Вот и весь сказ! Ну и... иди... Иди, говорю, ну!

Варфоломей на мгновение растерялся. В самом деле, он не мних, не священник, и не его право — требовать покаяния от преступника. Но отступить было уже нельзя, да он и не собирался отступать, не затем брел сюда один зимнею ночью.

— Пойми, Ляпун, — сказал он возможно строже и спокойнее, — я знаю, что ты убил Тишу Слизня, и мог бы прийти не к тебе, а к наместнику. Я пришел к тебе, ревнуя о душе твоей, которая, иначе, пойдет в ад. Не важно, накажут тебя или нет. Сколько тебе осталось лет жить на этом свете? А там — жизнь вечная. И ты сейчас губишь ту, вечную жизнь, обрекая душу свою на вечные муки! Ты должен покаяться пред Господом и получить ептимью от духовного отца! Должен спасти свою душу!

— Дак тебе-то что! — выкрикнул Ляпун. — Моя душа гибнет, не твоя! Дак и катись к... — Он вновь произнес неподобные срамные слова.

— Я должен заставить тебя покаяться, Ляпун! — ответил Варфоломей.

Возможно мягче и спокойнее он заговорил о том, что знал и ведал с детства. О Господней благодати, о терпении и добре и о том ужасе, который ожидает за гробом нераскаянного грешника.

— Там ничего нет! Понимаешь? Ничего! Даже в котле кипеть, и то покажет тебе благом великим!

Он говорил долго, и колдун слушал его сопя, но не прерывая, сумрачно вглядываясь во вдохновенное лицо рослого отрока.

— Не понимаю я тебя, — молвил он, помолчав, когда Варфоломей выговорился и смолк. — Словно и не мних ты, а баешь — чернецу впору...

Омманываешь меня! — возвысил голос Ляпун. — Прехитро наговорил, а поди-ко!

— он вдруг сложил дулю и сунул ее под нос Варфоломею:

— Не хочу и не буду, не хочу! — забормотал Ляпун быстрою частоговоркой. — Сколь

душ изгубил, все мои, вот!

— Али доведешь?! — выкрикнул он, кривясь, заглядывая снизу вверх в отемневшие глаза юноши. — Доведешь?! — переспросил Ерш судорожно, — видал, што ль?! — выкрикнул он в голос.

— Почто ж ты человека боишься, выдавшего преступление твое, а Господа, который видит все с выси горней, а ангела своего, что за плечами стоит, не боишься и не покаешь ему? — сурово спросил Варфоломей. Крест-от есть на тебе? Перекрестись! — приказал он, возвысив голос.

Ляпун забежал глазами, поднял, было, руку, коснувшись лба, пробормотал:

— Чур меня, чур! Да ты юрод, паря, ей бо, юрод и есть! бормотал он, отступая к стене.

— Перекрестись, ну! — не отступал Варфоломей, — знаю про тебя все и зри! Не страшусь! И глаз твой дурной не волен надо мною! Господь моя крепость! — с силой продолжал Варфоломей. — Час твой пришел, уже, молись!

Ерш, не отвечая, вдруг упал на оба колена и сложил руки перед собой:

— Чур меня, чур! Господь... Владычица... Дивий старец, камень заклят, духи горние, духи подземельные...

— Перестань! — приказал Варфоломей, морщась, и сам стал читать молитву над склоненной головою Ляпуна. Тот вдруг согнул шею, весь затрясся, словно отходя от холода, забормотал неразборчивее, быстрее, слышалось только: «Свят, свят, свят...»

— Где у тебя икона?! — спросил Варфоломей. — Помолим вместе Господа, а после дойдешь со мною в дом церковный!

— Пойду, пойду... — бормотал Ляпун, все ближе подползая на коленях, пока Варфоломей, отворачиваясь от него, отыскивал глазами в красном углу чуть видный отемненный лик какого-то угодника. Став на колени и через плечо оглядев колдуна, Варфоломей повелел ему:

— Повторяй! — И начал читать покаянный канон. Сзади доносилось неразборчивое бормотание.

— Яснее повторяй! — приказал, не оборачиваясь, отрок.

Страшный удар по затылку ошелолил Варфоломея. Перед глазами разверзлась беззвучная, все расширяющаяся серая пелена и в эту сыпучую пелену, в муть небытия, рухнул он лицом вперед на враз ослабших ногах.

Что-то — то ли молодая кровь, то ли промашка Ляпуна, — спасли Варфоломея. Сильный удар лицом о мостовины пола тотчас привел его в чувство. Вскочив, еще мало что понимая, и безотчетно оборотясь, он узрел, словно в тумане, безумные глаза Ляпуна и вздетый над его головою топор.

Рассуждать было некогда, следовало или кинуться в двери и бежать, бежать стремглав, спасая себя от смерти, или... В какую-то незримую долю мгновения он узрел и дверь, и расстояние до нее, измерил мысленно путь от крыльца до калитки и в следующую долю мгновения кинулся к Ляпуну и вцепился руками в топориче вознесенной для очередного удара секиры.

Рванув, он вырвал было топор из рук Ерша, но тут же его шатнуло, волна слабости пробежала от закружившей головы к ногам, и в ту же секунду топор вновь оказался в руках у Ляпуна. Собрав всю свою волю и силы, не позволяя убийце отступить для нового замаха, Варфоломей вновь вцепился в скользкое от крови топориче, и началась страшная, молчаливо-яростная борьба, борьба воистину не на жизнь, а на смерть. И только тяжкое сопение да неуклюжее топтание сплетенных тел нарушали давящую тишину.

Едва переступая немеющими ногами, Варфоломей доволочся до середины избы и приник к тяжелой кади с вонючей жижей, в которой квасилась кожа.

Ляпун сейчас был сильнее его, и Варфоломею, чтобы удержаться на ногах, надо было опереться о что-нибудь. Однако и тут его выручила прежняя выдержка. Одолев слабость в ногах и не позволяя себе ни одного лишнего движения, Варфоломей, крепко обнявши топориче, за которое отчаянно дергал Ляпун, начал постепенно отдавливаться секиру вниз.

— Пусти! — хрипел Ляпун, — пусти... Брошу... Слово...

— Не бросишь... Сам пусти!

— Вот хрест... Пусти, ну!

Ляпун изо всех сил рванул топор на себя, не видя, что Варфоломей зацепил лезвие за край кади.

— Пусти! Уйду... Пусти!

— Ты... убийца... Тебе... не будет спасения, понимаешь? Отдай топор!

— говорил меж тем Варфоломей, надавливая на рукоять.

— Убьешь!

— Не трону... Дурень... Оставь топор... Богом клянусь, не трону я тебя!

Он одолевал-таки. Ляпун, не отпуская рукояти, клонился все ниже и ниже и вдруг, выпустя топориче из рук, стремглав ринулся в угол и распластался там по стене.

— Пощади!

Варфоломей стоял, еще не понимая своей победы. В голове звенело. От крови промокло все — и свита, и рубаха. Теплая жижач сочилась у него по спине и груди. Он поднял топор. Сжал изо всех сил скользкое топориче и, не отводя взора от побелевших, полных смертного ужаса глаз Ляпуна, сделал к нему шаг, и другой, и третий. В углу, наискосок от них, стояла большая изрубленная колода для мяса. И Варфоломей, продолжая глядеть прямо в лицо Ляпуну, изо всех сил (тьма на миг опять заволокла очи) вонзил топор в колоду, погрузив светлое лезвие почти до рукояти в щербоватое дерево.

В ушах все стоял и ширился звон. Ноги онемели, и чужилось — стоит наклониться, и предательская тьма охватит его и увлечет вниз, в небытие.

— Помни, Ляпун, — сказал он отчетливо и громко, — из утра надоть тебе быти у священника и покаяти во гресех своих!

Ерш все так же пластался по стене, недоуменно смаргивая, с безмерным удивлением и страхом взглядывал то на Варфоломея, то на угрызшую в колоде секиру. «Почто не убил?» — казалось говорил его взгляд.

— Помни, Ляпун! — повторил Варфоломей, кое-как нахлобучивая шапку на разрубленную голову. Рывком открыв дверь (его опять повело головокружением), Варфоломей вывалился в темень ночи, на холод и мороз, сошел, не сгибаясь, по ступеням и, не обращая уже внимания на беснующегося пса, деревянно зашагал прочь от предательской избы.

Ноги повели его к дому, но на середине пути он остоялся, чуя озноб и колотье во всем теле, и повернул вспять. Казать себя матери в этом виде нельзя было. Петляя по тропинкам осклизаясь, почти падая, Варфоломей добрался до избышки знакомой костоправки Секлетей и уже тут, почти теряя сознание, торопливо плел что-то, пока старуха, ворча, стаскивала с него кровавый зипун с рубахою, осматривала и обмывала рану на голове, жуя морщинистым ртом и покачивая головой.

— Эдак-то и не падают, парень! Туточка без топора, аль бо секиры не обошлось... Ну, молци, молци!

Лежа ничком, уже в полусознании, чуял он, как бережно возится Секлетей над его раной... Домой он прибыл уже перевязанный, с туго замотанною головою, в чужой рубахе, в кое-как обмытом от крови зипуне.

Стараясь не показываться на глаза матери, пробрался в темноте в угол, на свое место, и, горячо прошептав: «Господи! Благодарю тя за спасение! Яко благ еси и человеколюбец, и весь вся тайная души человеческой...» провалился в сон, в жар, в полубредовое небытие...

Скрыть от всех свою рану ему, конечно, не удалось, хотя о том, что совершилось, он так никому и не проговорился.

— Упал затылком о топор! — Вот и все, что из него выудила мать.

Вызывали лекаря с наместничьего двора, рану вновь промывали и зашивали (Варфоломей тихо скрипел зубами, было много больнее, чем давеча в избе Ляпуна и у Секлетей).

А потом он лежал горячий и безвольный, и кружилось, и плыло хороводом перед очами, и плакала мать, и Нюша прибежала и сидела рядом, вздрагивая от тихих слез и трогая прохладными пальчиками его воспаленное чело, и ему было хорошо-хорошо от ее касаний и от такого открыто-неложного страха за него.

На все вопросы о том, что с ним произошло, Варфоломей или упрямо повторял первую пришедшую в голову ложь, либо отмалчивался. Кажется, только один Стефан и догадал, в чем

дело. На третий или четвертый день кто-то из холопов принес весть, что невестимо исчез колдун, Ляпун Ерш.

Заколотил дом и пропал неведомо куда. Варфоломей со Стефаном как раз разговаривали. Первый — лежа, второй — сидя на краю братней постели.

Варфоломей умолк и насторожил уши. Подняв глаза, он увидел внимательный взгляд Стефана и смущенно отвел взор.

— Это ты его... довел? — хмуро, процедив сквозь зубы, спросил Стефан, внимательно оглядев перевязанную голову младшего брата. Варфоломей смолчал. Стефан задумался, слегка ссутулив плечи.

— Видишь, с ними, с такими, по-христиански нельзя. Тут нужна власть, закон. Иного не понимают. Темные они!

— А как же — первые — христиане — обращали — язычников? — медленно ворочая языком, выговорил Варфоломей.

— Там иное! — Как же можно сравнить: неведение истины или нежелание ее знать! Ежели кто сам обещался дьяволу, того уже светом истины не просветишь... А ты, никак, Ляпуна обращать в христианство надумал?

— Я упал... — нехотя оттолкнул Варфоломей.

— Ну, дак не падай больше! — грубо возразил Стефан, обрывая разговор.

— Матерь исстрадалась совсем!

Впрочем, пролежал Варфоломей недолго. Здоровая природа взяла свое. А Ляпун и верно пропал из Радонежа и до времени боле о нем не слыхали.

Глава 7

Мать как-то обмолвилась, сидючи за шитьем.

— Скорей бы Стефана оженить, да и вас с Петром тоже! Мы с отцом старые уже, уйдем в монастырь. Дом без хозяйки — сирота!

— Я, мамушка, о женитьбе не думаю! — оттолкнул Варфоломей. — Хочу послужить Господу!

Мария поглядела внимательно, перекусила нитку.

— Гляди, сын! В монастыри уходят больше в старости, к покою, опосле трудов мирских... — Подумала еще, помолчала, добавила тише:

— Ну, как знаешь, не неволю.

О женитьбе Варфоломей и вправду не думал. Он рос, вытягивался, становился шире в плечах, огрубело лицо, явилась юношеская, проходящая к мужеству, неуклюжесть. Но все уходило в силу рук и в пытливость ума.

И Нюше, внучке Протопоповой, он отвечал вполне чистосердечно, когда она, подсаживаясь к нему, глядела, как Варфоломей большими руками ладил по просьбе девушки тонкую берестяную коробочку для иголок и ниток, и заглядывала любопытно, и невзначай касалась его плечом, и влажными пальчиками трогала загорбелые длани юноши («Какие у тебя руки большие!»), удивляясь, как это он такими большими пальцами выплетает и узорит столь тонкую крохотулю? И, поглаживая его словно бы рассеянно по запястью, выпрашивала вполголоса:

— Правда ли, что ты пойдешь в ченцы?

Варфоломей, сосредоточенно действуя кочедыгом, кивает головой:

— Да!

Нюша хмурит бровки, словно облачко набежало на ясный небосклон, замирает на миг и вновь начинает ластиться:

— Расскажи чего-нибудь! — просит она. И он, не отрывая глаз от дела, сам любясь своим мастерством, начинает вполголоса рассказывать: про старцев египетских, Герасима и льва, девушку, прожившую неузнанной в мужском монашеском платье, про Алексея Божьего человека... А она сидит, взглядывая искоса на него, примолкшая, и клонит голову, изредка вздыхая, а то вновь начнет молчаливо водить теплым пальчиком по запястью Варфоломея, то щиплет, дурачась, светлый пух бороды, а то захохочет, недослушав, вскочит, убежит, поворотя

от двери, позовет лукаво:

— Бежим в горелки играть!

С Нюшей ему было хорошо и покойно. Теплело внутри и хотелось так и сидеть рядом, бесконечно что-то делая, и чтобы она дурачилась, и выпрашивала, и тепло дышала в ухо, водя соломинкою по шее, и — ничего больше! Решению его идти в монахи Нюша никак не могла помешать. Так он думал. Да так, до поры, и было на деле. Плотское не волновало пока, не мучило Варфоломея. Быть может, еще и потому, что он с детства установил для себя строгую, полумонашескую жизнь: очень мало спал, умеренно ел и непрестанно трудился. Все, чем будущий Сергий впоследствии изумлял братью свою, все его многообразные умения были приобретены им теперь, в эти радонежские годы.

В марте валили деревья, возили лес на хоромы. Возили помочью, самим бы и не сдюзить было. Тормосовы подослали людей и сами помогли. С родней-природою всякий труд в полагоря!

Когда обтаяло, на дворе уже высилась груда окоренных, истекающих смолою бревен, только катать и рубить, и уже руки чесались в охоту взяться за отглаженное ладонями до блеска темное топорщице и повести ладным перестуком спорую толковню секир.

Снова зеленым пухом оваяло вершины берез, вновь стройные девичьи хоры потекли над рекою. На Троицу завивали березку, парни угощали девиц пряниками, а те их отдаривали яйцами; и снова ладили упряжь, пахали и сеяли, вновь чистили пожни, выжигали лес под новые росчисти. Хозяйство устраивалось, крепло, и все же для боярской семьи Кирилловой это был путь вниз.

Через лето, осенью, когда собрали урожай, свезли и обмолотили снопы и засыпали хлеб в житницы, ушел Яков. Честно ушел, простясь и оставя после себя налаженный порядок в доме. Ушел к Терентию Ртищу, наместнику.

— Воин я! — объяснял Яков старому Кириллу. — Место дают старшого, буду в дружине, там, авось... И парень у меня растет, куды его?

— Христос с тобою, Яша! — отмолвил Кирилл. — Не корю! Мне, видно, уже в монастырь пора, а тебе — гляди сам!

— Тимоху, батюшка, выгнал я, лодырь он, да и на руку нечист. Ты его назад не бери, горя примешь! — напутствовал своего господина Яков. Даныша, коли не уйдет, будет тебе вместо меня. Да и Стефан ноне уже с понятием. Прости, боярин! — Яков рухнулся в ноги. Кирилл поднял его, поцеловались трижды. По-хорошему, по совести расстались. И все-таки это было бедой. Рушился дом. Вместо прибытков, доходов и кормов оставалось все меньше слуг, наваливало все больше работы на плечи сыновей, и — где там научение книжное! Посев, покос, жнитво, молотьба, навоз, дрова, сено... А выйдут льготные годы? Прибавят сюда дани-выходы, кормы, повозное, та же ордынская дань, мирские тяготы... Каково-то будет Стефану — нравный, гордый! И вовсе сыны ся обратят в крестьян! А случись пора ратная, не иначе идти им простыми кметями, в том же городском полку радонежском броней — и тех нет у его сыновей!

Кирилл давно начал сдавать, а тут одряхлел как-то сразу. Быть может, не столь от трудов тяжких, сколько от безнадёжности этих трудов. И хозяйство порушилось бы, кабы не дружная помочь Тормосовых, кабы не Онисим, что, схоронив в одночасье жену и младшего своего, не шутя прилеплялся все боле и боле к семье Кирилловой.

Помочью молотили снопы. С умолота пировали в доме Кирилловом. И вроде бы не много лет прошло с тех, прежних, ростовских застолий, а как изменилось, как опростело все! И уже не в шелку, а в простой посконине сидят за столом вчерашние знатные мужи ростовские, и серебро со стола, почитай, исчезло почти целиком, простая, глиняная да деревянная посуда стоит перед ними. Да и блюда попроще, без иноземных, привозных яств и питий. И уже не двоезубою серебряною вилкою, а просто рукою ухватывает жаркое с деревянной тарели Тормосов, кромсает засапожником гусиную ногу и смачно хрустит ею — так, как обык на домашних пирах с холопами и прислугой. И речи ведутся простые — про урожай, жнитво, умолот, а о том, что творит в Орде Иван Данилыч или Александр Тверской, разве пару раз и

упомянут только. Онисим, бывало, ввалится, громогласно начнет вещать, что творит там, наверху, в Москве, куда поехал великий князь владимирский да кого вызывают на суд к хану, — рассказывает, а словно все то уже и не трогает взаболь. Иные заботы у всех на уме: не вымерзло б яровое, не залило бы покосов водой, да почем сало, говядина, кожи? Нынче легота вышла, приходит и дани давать, и на тот же ордынский выход опять собирать серебро!

Но и другое сказать: проще, сердечнее стало застолье! После работы с цепом, после страды совместной, теснее и ближе становится круг не позабывшей друг друга ростовской родни. Ветшает, уходит в небылое боярская слава и роскошь минувших времен. Являют иные, дражайшие, сердечные связи. И пока живы они, пока уработавшиеся на помочах веселые родичи, пропарясь в бане, вместе сидят за праздничным столом и поют, любясь друг другом, и смеются и шутят, и черпают ковшами темное пиво из круглой ведерной братины, и готовы друг за друга, почитай, и самих себя отдать, — до тех пор ничто еще не окончилось и не изветшало на земле ни для них, ни для всего народа русского! Так точно ли рушит, точно ли вниз упадет Кириллов боярский дом?

Што ни в полюшке пыль, пыль, Курева-а-а стоит!

Што ни в полюшке пыль, пыль, Непогодушк-а-а-а!

Доброй молодец, доброй молодец, Доброй молодец в перелет летит, В переле-е-ет лети-и-и-т...

Под ем добрый конь расстилается-и-и...

Поет мать. Поет Онисим, подперев, по обычаю своему, голову обеими руками. Поет, понурясь, отец. Высоко ведут братья Тормосовы, и песня, про гибель молодца в далекой степи, торжественной грустной красотой наполняет праздничный терем, уводя в иные миры, в далекие страны и в выси горные...

Глава 8

Да! Незримо отделились, отодвинулись от них в далекое далеко княжеские труды и печали боярские. Иные труды и печали иные тревожат днесь вчерашних ростовских бояр, а теперешних радонежан. Простой изначальный труд на родимой земле заботит их ныне более всего.

О том, что тверской и московский князья вновь поехали в Орду на суд ханский, повестил проезжий княжой гонец, но ни тревог, ни надежд прежних известие это ни у кого не вызвало. А про казнь Александра Тверского с сыном Федором в Орде в Радонеже и узнали-то только в канун Рождества.

Но не всегда, не во всем и не у всякого отдаление гасит наовсе работу разума. Освобожденная от пут суетливой властительной суеты мысль воспаряет порою ввысь, к горным основам бытия, и тогда, издавека, все видится и крупнее и четче, и за кипением преходящих страстей возможен разглядеть мыслящий ум главное, великое и нетленное, к которому даже и величайшие из событий земных относятся всего лишь как узорная бахрома к ризам святительским или как пена к пучине бушующих вод.

Вновь и опять валят лес на новые хлева и хоромы. Дневные труды закончены, холопы ушли, и только Стефан с Варфоломеем задерживаются в лесу.

Снег сошел, но земля еще дышит холодом, и чуть солнце садится за лес, начинает пробирать дрожь. Стефан сидит на поваленном дереве сгорбясь и отложив секиру, накиннув на плеча суконный охабень. Варфоломей — прямо него, кутаясь, как и брат, в сброшенный давеча во время работы зипун. Он вырос, возмужал, оброс светлою бородкой и толкует со Стефаном уже почти как равный, хотя Стефан по-прежнему побивает его усвоенной в Ростове ученостью.

Гибель тверских князей в Орде — вот что вызвало на этот раз спор и толковню братьев. Еще днем во время работы, прерываясь для отдыха, обсуждали они: надобна ли была эта яростная, почти полувековая борьба Твери и Москвы для блага Руси Великой? Не лучше ли было без спора подчиниться сильнейшему? Или такая готовая покорность силе развращает власть и спор городов нужен был ко благу страны? И кто сильнейший? И в чем сила? И может ли сила сочетаться с правдою, и как и когда?

Вряд ли, служи они оба на дворе княжеском, приходило бы в голову братьям обсуждать

между собою все эти глубинные основы бытия!

Сейчас, оставшись с глазу на глаз со старшим братом, Варфоломей спрашивает со страстной настойчивостью у Стефана:

— Откуда зло в мире? Пусть там, наверху, это нужная борьба за вышнюю власть. Ну, а зачем, скажи, Терентий Ртищ отобрал за спасибо коня у Несторки? Зачем, ради какой злобы, Матрену Сухую заколдовали на свадьбе, и с тех пор баба сохнет день ото дня и чад приносит все мертвых? Когда Ляпун Ерш убил Тишу Слизня, знали об этом все и молчали, потому что боялись дурного глаза Ляпуна, а отнюдь не своей совести! А когда у Ондреянихи летось сгорел двор, то никто ей не восхотел помочь в беде, кроме нашего бати да Онисима, и только потому, что Ондреяниху облыжно считают колдовкой!

В конце концов, не так и важно теперь, кто был прав и кто виноват в княжеском споре, а вот откуда зло в мире? Откуда само зло! Вечная рознь братьев-князей, убийства, неправый суд, жестокость, бедность, леность, зависть, болезни и, паче всего, равнодушие людское! Что должен думать и творить верующий? Как все это согласить с благодатью Божией? Ведь Господь злого не творит! Не должен творить!

— Чти Библию! — передергивая плечами и хмурясь, устало отвечает Стефан. — Всякий иудей скажет тебе, что Господь и награждает и карает за несоблюдение заповедей своих. Коли ты беден, нищ, наг и болен, и не успешен в делах, значит — наказан Господом! Коли богат, славен, успешлив, значит — взыскан и любим Богом!

(Варфоломей очень ясно представляет себе этого иудея, в его черно-белом полосатом талесе, усевшимся на омшелый пенёк, будто на камень в пустыне Синайской.) — Это неправда! — горячится Варфоломей, — этого не говорил Христос!

(Иудей, измышленный им из пятен лишаев и бород белого мха на суковатом дереве, в этот миг пренебрежительно отворачивает лицо и, выпятив нижнюю челюсть, произносит надменно:

— Что ваш Христос!) — Так я-то и молвил им! — взрывается Стефан. — Еще там! В Ростове! В училище! Бог Израиля и Бог Евангелия — разные боги!

Один жесток и темен — «темное облако и смерч огненный», другой светел и милостив, и сам есть свет предвечный!

Один дал закон, другой — благодать.

Один карает жезлом железным, верным велит обрезание и убийство побежденных: другой запрещает то и другое и зовет к милосердию!

Первый предписывает месть, второй — прощение кающегося...

Один пасет избранный народ, народ Израиля, обещая ему в награду всю землю; другой принимает всех равно в лоно свое, обещая верным не земные блага, а небо — жизнь вечную! И милостив он настолько, что сына едиnorodного послал на крестную муку во спасение людское! «Не судить мирови, но да спасется им мир». Вот так!

И фарисеям, книжникам, рек Иисус: «Отец ваш дьявол, и вы похоти отца вашего хотите творити... Несть истины в нем... Яко лжец есть и отец лжи!»

О том же и митрополит Илларион глаголет в «Слове о законе и благодати»...

И более того скажу! Аврааму и Моисею наверняка являлись разные боги!

И ежели хочешь, Иегова — это огненный демон или даже сам дьявол, соблазнивший целый народ! Народ, некогда избранный Богом, но позже соблазненный золотым тельцом и принявший волю Ялдаваофа, отца бездны!

Думал ты о ветхозаветных заповедях? К чему речено, что прежде рождения человека предначертано всякое деяние его и даже каждый волос его сосчитан Господом? Что защищает закон? Мертвую косноту зримого бытия, и только! Спорь, кричи, воинствуй! Но ежели до рождения предуказаны все дела твои, то нет ни греха, ни воздаяния, ни праведника, ни праведности, есть лишь избранные, — но тому ли учил Христос?

Как создан мир? Помнишь, я тебе, еще младеню сушу, баял о том? Да и создан ли он?!

— Да, да! Создан! И Бог, создав мир, опочил от дел своих! — кричит, голосом Стефана, призрачный иудей в полосатом талесе. — И промыслом Божиим предначертано сущее прежде всех век!

— Нет! — кричит Стефан в ответ иудею, — Бог творил мир «прежде век», и потому творит его вечно! Несвершенно творение! И мы сами творцы, и Бог живой и творящий, и

можно, и должно ждать чуда, и перемен, и вмешательства Божия, и милости горней! Отсюда и приход Христа! Разве вочеловечение Сына Божия не есть акт творчества, изменяющий мир? А второе пришествие?

Когда Христос в силе и славе придет карать злых и мертвые восстанут из гробов? Как же можно помыслить свершенным этот земной, тварный мир?!

Чему учил нас Христос? Не вдобавок к прежним десяти заповедям, а вместо них дал он свои две, всего две! Заповеди Нового Завета! «Возлюби Господа паче всего на свете и ближнего своего — яко самого себя!»

(Призрачный иудей совсем расплылся, стал почти невидим, в узорах косматых мхов, облепивших поверженный древесный ствол.) — Не сам ли Спаситель, — кричал Стефан, — ниспровергал мертвую косноту обрядов иудейских, веля совершать моления втайне, в келье своей?

Не он ли с бичом в руках изгонял торгующих из храма? Не требовал ли он, как в притче о талантах, ото всякого деяния прежде всего? Не воскрешал ли он в день субботний? Не простил ли грешницу? Не проклял ли древо неплодоносное, не дающее смокв? Не заповедал ли он каждым поступком своим, что несть правила непреложного, но есть свыше данное божественное откровение и закон Господней любви? И не он ли, не сам ли Христос указал на свободу воли, данную человеку отцом небесным?

Да! Мы свободны в поступках своих, и с каждого спросится по делам его!

А они мне в ответ: «Ересь Маркионова»... Мол, грешно даже мыслить так о Ветхом завете... Грешно мыслить! А совсем не мыслить разве не грешнее во сто крат? Да, «покаяние» — это передумыванье! Думать и передумывать учил нас Господь!

Стефан умолк, и Варфоломей в сгущающейся тьме холодного молчаливого леса (солнечные лучи уже ушли, уже начинала тускнеть и бледнеть палевая полоса заката, и мрак незримо подступал, окутывая стволы) вновь увидел полосатый талес и надменно выпяченную челюсть бухарского иудея, что с презрением взирал на христиан, не могущих согласить себя друг с другом и с Богом своим...

— Ересь Маркионова... — задумчиво повторяет Варфоломей.

— Да! — отзывается Стефан. — Маркионова ересь... Был такой, единый из гностиков, Маркион, отвергавший Ветхий завет... Гностики, видишь ли, не считали мир прямым творением Божиим, а манихеи персидские, те и вовсе начали утверждать, что видимый нами мир — это зло. Порождение дьявола.

Беснующийся мрак! Мрак, пожравший свет, заключенный в телесном плену и ныне жаждущий освобождения. И надобно разрушать плоть, губить и рушить этот тварный мир, чтобы выйти туда, к свету... Вот, ежели хочешь, и ответ на твой вопрос! Зло в мире потому, что сам мир — зло. И убивая, насилая, обманывая друг друга, люди сотворяют благо. Так учат богумилы болгарские, близки к ним и павликиане отвергающие святые таинства...

(Богумил должен быть одет в долгой болгарской сряде, похожей на русскую, а взгляд его, наверно, пустой и страшный — нельзя же ненавидеть мир!) — Мир не может быть злым, раз он создан Господом! — отвечает Варфоломей болгарину, покачивая головой. — Погляди! Мир прекрасен и светел! Зачем же иначе Христос рождался здесь, в этом мире, и в человеческом обликии?

— Гностики утверждали, что тело Христа было эфирным, призрачным, и никаких мук он испытывать не мог, — возражает богумил.

— Неправда! Скажи, Стефан, ведь это даже не могло быть правдою, да?

Если бы он не чувствовал, то это была бы та самая «лжа», порождение дьявола! «Нас ради человек... Страдавшая и погребенна»... — сказано в символе веры! Не будь муки крестной не было бы и самого Христа!

— И незачем ему было бы являться в мир! — подсказывает Стефан угрюмо.

Оба надолго замолкают, слушая засыпающий лес и следя как ночная мгла беззвучно и легко выползает из чащоб, окутывая своею незримою фатою вершины дерев. — Хочешь! — вновь нарушает молчание Стефан, пожимая плечами. — Прими учение латинян, что дьявол — это падший ангел Господень, за гордыню низринутый с небес. И что он тоже служит перед престолом Господа. Слыхал, что объяснял лонись проезжий фрязин? У них когда отлучают от

церкви — дак клятвою передают человека в лапы дьявола! У них все стройно, у латинян. С рук на руки, так сказать...

Варфоломею легко представить себе ученого фрязина. Через Радонеж постоянно проезжают купеческие караваны, и тогда все подростки выскакивают за ворота, поглазеть на чужеземную справу, на бритый или окладистые, крашенные хною бороды, сборчатые кафтаны, халаты, тюрбаны, береты, шляпы с перьями, на чудные одежды немецких, датских, персидских, бухарских, татарских гостей...

Ученый фрязин в плаще и плоской, точно блин, широкой шапке, в коротких исподних портах садится, откинув плечи и опершись о рогатый сук, точно в прямое высокое кресло с узорной спинкою, и тоже бормочет что-то свое в сгущающейся темноте.

— Союз Господа с дьяволом я принять не могу! — громко возражает Варфоломей.

— А по учению блаженного Августина, — подсказывает Стефан, кивая с кривою усмешкой на неподвижного фрязина, — каждому человеку заранее начертано Богом: погибнуть или спастись. Заранее! Еще до рождения на свет!

Он тоже был манихеем в молодости, Августин блаженный! Есть темные души, уготованные гибели, и есть те, кого Господь прежде век назначил ко спасению. И переменить своей судьбины не можно никому! (Фрязин важно склонил голову в своем смешном широком колпаке) — Вот почему они и сошлись. — Стефан, не оборачиваясь, кивнул в сторону призрачных иудей с фрязином. — На предопределении!

Пелагий возражал Августину, так Пелагия проклинали! Никто не хотел в тогдашнем Риме исправлять самого себя по заповедям Христовым! Всех устраивала судьба, заданная до рождения, да еще к ней купленные у Папы индульгенции!

Думаешь, почему мы с католиками теперь не в одно?! Из-за символа веры только? Из-за «filioque» пресловутого? Как бы не так! Это древний спор, с самых ветхозаветных времен! Спор о предопределении! Спор о заповедях Христовых! О свободе воли и о том. Бог или сам человек должен отвечать за злые поступки свои! Наша православная церковь каждому дает надежду спасения, но и каждого предупреждает: не споткнись!

Варфоломей молча склоняет голову. Об этом они с братом толковали досыти, и не раз. И пусть ученый фрязин, окутанный темнотою ночи, изрекает свои непреложные истины, пусть ропщет иудей и отрешенно молчит мертвоглазый болгарин, для коего весь мир — греховное порождение сатаны.

Бог добр, премудр, вездесущ и всесилен!

— И все-таки ты не ответил мне, Стефан, откуда же зло в мире?

— Есть и еще одно учение, — отвечает голос Стефана из темноты, — что зла в мире и нету совсем. Попросту мы не понимаем всего, предначертанного Господом, и за зло принимаем необходимое в жизни, то, что ведет к далекому благу! «Горек корень болезни лечит». Вот как, словно в споре Москвы и Твери о княжении великом. Может, убийства Александра с Федором и тут ко благу грядущего объединения Руси?

— «Отыди от меня, сатана!» — возражает Варфоломей предательскому темному голосу, — ты ли это говоришь, Стефан? Зло есть зло, и всякое зло, раньше или позже, потребует искупления! И в молитве Господней речено:

«Избави нас от лукавого!» Выходит, однако, дьявол постоянно разрушает всемогущество Божие? Как это может быть, Стефан? Я должен знать, с чем мне иметь дело в мире и против чего бороться!

Правда ли, что, не явись Христос на землю, люди уже давно погибли бы от козней дьявольских, злобы и ненависти друг ко другу?

И почему не погибнет сам дьявол, творец и источник зла, ежели он есть? Как помирить необходимость зла с всемогуществом божьим?!

— А как помирить свободу воли с вмешательством Божиим в дела земные?!

— отвечает Стефан вопросом на вопрос. — Думаешь, так уж глуп был Августин со своим предопределением? Не-е-ет, не глуп! Надо допустить одно из двух, или свободу воли, или... всемогущество Божие!

— Стефан, ты смеешь противопоставить Творца творению своему?

— Пойми! Создав пространство вне себя, Бог сам себя и ограничил, ибо находится вне,

снаружи. Следовательно, Он не вездесущ.

— Стефан, я чувю в мире присутствие Божие везде, и всегда и всюду!

— Чуешь «присутствие в мире», — вот ты сам и ответил себе Варфоломей!

Но дальше. Создав необратимое время. Господь не может уже содейть бывшего небывшим. Следовательно, Он не всемогущ.

— Ты искушаешь меня, Стефан!

— Создав души, наделенные свободной волей, Он не может, не должен мочь предугадывать их поступки! Следовательно, Он и не всеведущ!

— Стефан, что же ты тогда оставляешь от величия Божия?!

— Любовь! — звучит голос Стефана из темноты, как последний призыв, последняя надежда к спасению.

— Любовь! — яростно повторяет Стефан. — Это так, именно потому, что Он добр! Ибо ежели бы Он был вездесущ, то Он был бы и в зле, и в грехе, а этого нет!

— Этого нет... — эхом откликается Варфоломей, начиная соглашаться с братом.

— Это так, потому что Он милостив! — возвышает голос Стефан, — ибо если бы Он был всемогущ и не исправил бы зла мира, то это было бы не сострадание, а лицемерие!

— Это так, — кричит Стефан, — потому что если бы Он был всеведущ, то Он знал бы и злые наши помыслы, и люди не могли бы поступить иначе, дабы не нарушить воли Его! Понимаешь?! Но тогда за все преступления должен был бы отвечать Господь, а не люди, которые всего лишь исполнители воли Творца!

Бог добр, следовательно, не повинен в зле мира сего, а источник зла сатана! — Стефан, чуть видный в темноте, отирает лицо рукавом. Он весь в холодной испарине.

— Значит, — медленно спрашивает Варфоломей, — ты признаешь силу сатаны, Стефан?!

— Да!

(«Да!» — эхом повторяет болгарин-богумил. «Да!» — гортанно вторит ему иудей. — «Нет!» — произносит ученый фрязин:

— «Сатана подчинен Господу!») — Да! — продолжает Стефан. — Но ежели сатана сотворен Богом, то вновь и опять вина за его деяния — на Господе.

— Этого не должно быть! — твердо возражает Варфоломей призрачным собеседникам.

— Да, этого и не может быть! — подтверждает Стефан. — И, значит, сатана не тварь, а порождение небытия, и сам — небытие, нежить! Я это понял давно, тогда еще... «Эйнсоф» — тайное имя бога каббалы, он же и есть дьявол, или сатана. Но «эйнсоф» означает пустоту, бездну, ничто!

— Сатана действует! — возражает Варфоломей. — Может ли несущее сущее быть бытийным, действенным? Я не спорю с тобою, Стефан, я просто спрашиваю: как это можно понять?

— Да, сатана действует. И, значит, небытие может быть действенным, бытийным... погоди! Но не само по себе! Небытие незримо влияет на нашу свободную волю, как... ну, как пропасть, как боязнь высоты, что ли!

Использует необратимость времени (страх смерти!), сочится через разрывы в тварном пространстве; короче, находит пути именно там, где Господь добровольно ограничил себя.

Те люди, животные или демоны, кто свободною волей своею принял закон сатаны, становятся нежитью и теряют высшее благо — смерти и воскресения на Страшном суде. Ибо тот, кто не живет, не может ни умереть, ни воскреснуть.

Смерть сама по себе не зло, ибо за нею идет новая жизнь. Зло и ужас вечное жаждание, вечная неудовлетворенность, без надежды на конец. Это и есть царство сатаны!

— Но мог же Господь предвидеть... заполнить... или и вовсе уничтожить пустоту?

— Да, а как ты без пустоты представишь движение?

Он и уничтожит. На Страшном суде. И тогда наступит полный покой.

Конец времени.

— Значит, пока жива земля, всегда будет зло, и всегда, непрестанно и неустанно надобно побарывать лукавого?

— Всегда!

— Любовью и верой?

— Правдою. Сила зла только во лжи! — восклицает Стефан со страстною силой. — Ложью можно преодолеть ход времени — не того, Господом данного прежде всяких век, а времени в нас, в нашем разумении! Ложью можно доказать, что и прошлое было не таким, каким оно сохранилось в памяти и хартиях летописцев! Оболгать святых и опозорить мертвых героев; внушить, что те, кто отдавал душу за други своя, искал в жизни лишь низкой корысти... Даже доказать, что бывшего как бы и не было совсем!

Ложью легко обратить свободную волю в несвободную, подчиненную маре, мечтам, утехам плоти и прочим прелестям змиевым... Да попросту внушить смертному, что все совершается помимо воли его, по непреложным законам предопределения!

Ложь созиждит великое малым, а малое содеет великим; ложь сотворяет бывшее небывшим, а небывшее награждает призрачным бытием на пагубу всему живущему!

Знай, что наивысший святой сатаны — Иуда, предавший учителя! Тот, кто следует примеру Иуды, свободен даже и от греха, ибо все, что он творит, надо звать благом. Эти люди пребывают по ту сторону добра и зла. Им позволено все, кроме правдивости и милосердия! И они долго живут... Здесь на земле. У них ведь нет вечной жизни!

— Меня сейчас посетила ужасная мысль, Стефан! Не мнишь ли ты, что наш князь Иван Данилыч тоже...

— Ты хочешь, чтобы я здесь, сидючи в этом лесу, приговорил к смерти или жизни вечной великого князя московского? — невесело усмехнулся Стефан.

— Нет, Олфоромей, не мыслю! — подумав, ответил он. — Мнится мне, князь Иван строго верует в Господа и, творя зло, ведает, что творит. Надеюсь на то. Верую!

— Веришь ли ты тогда, что покаянием можно снять с души любое бремя и избегнуть возмездия за злые дела на Страшном суде?

— Об этом знает только Господь! Не в воле смертных подменять собою высший суд и выносить решения прежде Господа... В сем, брате, еще одно наше расхождение с латынскою ересью!

И запомни, Олфоромей, дьявол всегда упрощает! Он сводит духовное к тварному (мол, тварное важнее, первее духовного, да и вовсе оно одно существует на свете), сложное к простому, живое к мертвому, мертвое к косному, косное раздробляет в незримые частицы, и те исчезают в «эйнсофе», в бездне, в пустоте небытия!

Только силою пречестного креста спасена земля от уничтожения злом и ныне готовится к встрече Параклета, утешителя, который идет к нам сквозь пространство, время и злобность душ людских, идет и вечно приходит, и вечно с нами, и все же мы чаем его повседневно и зовем в молитвах своих!

Это тайна, не открытая нашему скудному разуму.

Стефан кончил, как отрубил. Наступила звенящая тишина.

— Стефан, ежели ты прав, — медленно отвечает Варфоломей, — и я правильно понял тебя, то борьба со злом заключена в вечном усилии естества, в вечном духовном творчестве, ежели хочешь, да и в вечном борении с собою? И еще все-таки в любви, в сострадании ко всему живущему!

Иначе, без любви, я не могу помыслить себе духовного подвига. И еще, наверно, в неложной памяти о прошлом... Так я понимаю твои слова о правде и лжи?

Но ты так и не сказал мне твердо, брат мой! Зло первее всего от нашей свободной воли или от сатаны? Должно ли прежде укреплять себя в Господе?

Или, прежде всего, молитвами отгонять нечистого?

— Ты хочешь спросить, прав ли, что собираешься в монастырь?

— Я не об этом хочу спросить тебя, Стефан! — с упреком перебивает Варфоломей. — Путь мой давно означен! Мне вот здесь, теперь, сидя в этом лесу и на этом древе, перед ликом всего того срама, что ныне творится на русской земле, надо понять, виноваты ли прежде всего люди, сами русичи, в зле мира? И не только теперь, а и через века и века, на кого ляжет вина в бедствиях родимой земли? Ведь ежели зло, это действенное «ничто», как ты говоришь, то только от смертного зависит не дать ему воли!

Стефан медлит. И лес молчит и тоже ждет, что скажет старший на заданный младшим вечный и роковой вопрос.

— Да, виновны! — глухо отвечает наконец Стефан. — Ежели ты так требуешь ответа... Но, Господи! — роняет он с болью, закрывая лицо руками.

— Пощади соплеменников моих! Так хочется найти причину зла вовне самого себя!

В этот-то миг громко хрустнула ветка под чужую ногу. Оба брата враз и безотчетно вздрогнули. Незнакомец, фрязин по виду, — верно, из купеческого каравана, давеча заночевавшего в городке, легко перешагнул поваленное дерево, выступив сквозь призрачную фигуру иудея, и уселся на коряге, напротив них, прямо на колена растаявшего богумила, усмешливо и быстро оглядев того и другого спорящих русичей.

Непрошенный гость был высок, худ, с длинным большелобым лицом и слегка козлиною, похотною складкою рта. Темную, поблескивающую одежду незнакомца нельзя было рассмотреть в сумерках.

— Достойные молодые люди! — воскликнул он высоким скрипучим голосом.

— Вы так шумите, что я, неволею, выслушал все ваши ученые рассуждения и решил присоединиться к беседе. Вы! И вы также! — он слегка, не вставая, поклонился братьям, каждому в особину, — говорили тут о-о-очень много любопытного! Но, увы! Должен и огорчить, и успокоить вас обоих! Дьявола вовсе нет!

(Только после подумалось Варфоломею, почему ни он, ни Стефан не спросили незнакомца: кто он и откуда, и почему так хорошо понимает русскую молвь, и как очутился в лесу, в отдалении от Радонежа? Теперь же оба невольно и безвольно заслушались диковинного гостя своего.) — Я попытаюсь примирить ваши недоумения! — начал незнакомец. — Вам, конечно, неведомо учение божественного Эригены? Да, да! Британского мниха, — кстати, соплеменника любезного вашим сердцам Пелагия, — изложенное им в сочинении: «De divisione Nature» — «О разделении природы». Неизвестно? Так вот, Эригена утверждает, как и вы, молодой человек, что Бог создал мир из самого себя. Но Бог слишком огромен! Это сама вселенная! Божественный мрак! Он, если хотите, кхе-кхе — потеет творением своим! И, конечно, вовсе не подозревает о созданном им мире! Возможно даже, будучи бесконечен, не имея ни начала, ни конца он не ведает и о своем собственном существовании!

Люди же, сотворенные Богом, и сами творят из разума своего виденья, мысли и — образы! (Гость повел руками округло, и Варфоломей подивился тому, какие у незнакомца длинные персты, и какие длинные ногти: верно, не работал ни разу!) — Вы сами, молодые люди, только что весьма приятно сочиняли, или создавали! — поправился он, — мысленный мир. Из тварного и временного производили духовное и вечное! Ибо идеи, «образы вещей», как говорил великий Платон, вечны! Да, да! Идеи, они суть ваши создания! А весь окружающий нас мир, увы, ничего не творит, а лишь ждет приложения сил человека! Каковое приложение сил и порождает иногда, гм-гм! некоторые неудобства, или даже жестокости, или то самое «зло», причина которого так заинтересовала вашего братца, кажется, если не ошибаюсь? И вы, достойные молодые люди, я вижу, не тратили тут времени даром, а создавали... Гм! Ну, не создавали, а рубили, рушили, то есть творчески изменяли окружающий вас мир, — «сотворенное и нетворящее», как говорит Эригена!

Вопросите себя: зло ли вы приносили миру или пользу? Быть может, лес станет еще гуще расти на этом месте сто лет спустя? А быть может, тут образуется с годами зловонное болото? Во всяком случае, лес вам необходим, а значит, была причина, из которой проистекает следствие, а из него новая причина и так далее. Все обусловлено в мире, молодые люди! Все имеет необходимую причину свою! Зачем же вмешивать кого-то. Бога или Дьявола, или возлагать ответственность на самого человека за то, чему причиною неизбежные и вечные законы бытия? Не надо казнить себя и отыскивать какое-то действенное зло в мировых событиях, молодые люди! Не надо! Лучшее лекарство от ваших бед — полное спокойствие совести! Произнесите только:

«сие от меня не зависит», — и вы почувствуете сразу, как вам приятно и просто станет жить!

И последнее! — незнакомец наклонился к ним и понизил голос до шепота:

— Последнее, что называет удивительный Эригена в ряду четырех стихий, образующих мир, это души покойников «несотворенное и нетворящее», по вашим словам «нежить», а точнее мертвецы, уходящие назад, в божественный мрак, и особенно любезные Господу! Ибо нет ни рая, ни ада, ничего нет, и нет никакого Дьявола и мире, ибо Бог, как вы сами недавно изволили

заметить, злого не творит! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! — Раскатился он довольным хохотом, окончив свою речь и видя смятенное недоумение обоих братьев. И тотчас, словно большая птица с криком и тяжелым хлопаньем крыльев, ломая ветви, пронеслась по темному лесу и исчезла во тьме. Только замогильный мяукающий крик филина жалобно прозвучал в отдалении.

— Стефан! — воскликнул Варфоломей, первым пришедши в себя. — Что это?

Кто это был, Стефан? — требовательно спросил он.

Но мрачен и дик был взгляд Стефана, и ничего не ответил он на братний призыв. Варфоломея словно облило всего загробным холодом. Вздрыгнув, он прошептал:

— Господи, воля твоя!

Рука, которую он поднял, чтобы перекреститься, словно налилась свинцом, и ему с трудом удалось сотворить крестное знамение.

Мрак уже вовсе сгустился. И деревья стояли тяжелые и сумрачные, сурово и недобро остолпяя вечных губителей своих.

— Стефан! — позвал Варфоломей в темноту. — Почему ты не сказал ему сразу: «Отойди от меня, сатана»?!

Глава 9

Так и не удалось Кириллу на новом месте поправить свои дела господарские. Семья все больше опрощалась. Да и Тормосовы, да и Юрий, сын протопопов, и сам Онисим, некогда думный боярин ростовский, все они стали тут, в Радонеже, простыми вотчинниками, рядовыми держателями земли. Все прочее зависело от рабочих рук, деловой сметки, въедливости в труде. Этими добродетелями, слава Господу, сыновья Кирилловы обижены не были. Трудились все, ежегодно подымали новые росчисти, и по труду в доме есть и достаток, и хлебный запас.

Чередой проходят Рождество, Святки, Масленая, Пасха, Троица с качелями и хороводами, пахота, сев, покос, жатва хлебов. А годы идут, и та самая Протопопова внучка, Нюша, что с озорными смешинками в глазах почасту забегает в Кириллов терем и теребит Варфоломея, то упрашивая его что-нибудь сделать ей, то выманивая на улицу, начинает чиниться, не бегают вприпрыжку уже, а плавно выступает, трепетно опуская ресницы, и хорошеет день ото дня.

Стефан начинает вдруг невесть с чего хмурить чело при Нюшиных приходах, безотчетно строжеть, а затем — тяжело и молча гневаться на себя за что-то, непонятное Варфоломею. Старшие словно и не замечают ничего. Не замечает, не понимает ничего и Варфоломей. Он так сроднился, так сжился с их общим, как думалось ему, ладным согласием: дружбою с Нюшей и общим со Стефаном решением о пустынножительстве, что ничто мирское, казалось ему, уже не должно бы было коснуться ни его, ни Нюши, ни тем паче брата Стефана. Прозрение пришло к нему неожиданно, в один летний вечер, и потрясло Варфоломея до самой глубины естества, до тяжкого, неисходного отчаяния.

Он возвращался с корзиной из лесу. Низилось солнце. Уже багряные, схожие со старинным золотом столбы вечерних лучей, пробившись понизу сквозь мохнатый заплот могучих елей, легли на черничник и травы.

Пламенно-темные стояли на закате стволы деревьев. Варфоломей невольно замедлил шаги, следя тот миг, когда алые светлы, багрец и черлень угаснут и сиреневый холод, легкая, обоймет небеса и наполнит туманом кусты. На опушке, прямо заката, стояли двое, и Варфоломей не сразу узнал Стефана с Нюшей, а признав, остоялся растерян и застыл.

Стефан стоял высокий, тонкий в закатном огне, непривычно-неуверенный, круто склонив чело и судорожно комкая пальцами кожаные завязки плетеного пояса, а Нюша — в вечной позе всех любимых, чуть наклонившая голову, покорная и загадочно-недоступная, с цветком в рассеянных и чутких пальцах, слегка отклонив задумчивое лицо от закатных лучей, вся уже словно овеванная бархатною лиловою голубизною наступающей ночи.

Варфоломей глядел, выпустив корзину из рук, и не шевелился. В нем не пробудилось ревности (это чувство было еще и чуждо ему), но зато поднялась глубокая обида на брата, что предал то высокое, о коем говорил он сам и о чем Варфоломей мыслит теперь самой глубиной души. Обида и горечь, горечь одиночества захлестнули его, словно волною. Он отступил, еще

отступил, стараясь не хрустнуть веткою, не выдать ничем своего невольного присутствия тем двоим, на закате. Отступил еще и еще, и, поворотясь, пустился бежать стремглав прочь, в лесную глухомань, с ослепшими от слез глазами, не разбирая уже ни дороги, ни преград на пути...

Варфоломей бежал по лесу, и ветки хлестали его по лицу. Бежал отчаянно, надеясь хотя устать, но сильное сердце не давало одышливости, и чуть только он останавливался, застывал, внимая красному гаснущему пламени заката меж еловых стволов, как тотчас перед его мысленным взором вставали те двое: брат с опущенной долу головою и Нюша в задумчивом ожидании, с забытым цветком в руке... И в нем тотчас подымалось волною отчаяние на измену брата и Нюши, и он опять пускался бежать через корни, коряги, кочки и водомоины, спотыкаясь, падая, обрывая рубаху и лицо о колючие ветви, сбивая пышные, с болотным запахом, папоротники, и с надрывным отчаянием чуял, что беда бежит вместе с ним, не отступая ни на шаг. Смеркалось. Уже угасли последние потоки расплавленного дневного светила, уже мохнатые руки туманов поднялись из болот, и глухо вдалеке ухнул филин, и он все бежал и шел, шатаясь от горя и усталости, и снова бежал, неведомо куда и зачем.

Наконец сами ноги привели его на высоту, на сухую горушку, и тут, упав в жесткий брусничник и белый мох, он затрясся, исходя звучными в ночной тишине одинокими рыданиями. Неведомо почему, безотчетно, русич даже и так вот, чтобы упасть и завывать от горя, выберет место высокое, «красное» место из тех, которые исстари зовут «ярами», в честь древнего славянского бога-солнца Ярилы, выберет высоту и выйдет на высоту. Не память ли то о гористой прародине далеких пращуров, с которой, разойдясь широким разливом по равнинам Руси, все равно выбирали русичи для поклонения солнцу (и выбирали, и насыпали сами!) высокие крутые горушки, где и водили хороводы в Ярилину честь? И позже хороводы водили всегда на «горках», и любовь к высоте осталась, хотя и в том, что церкви Божии ставили на местах высоких, красных, на холмах и крутоярах великих русских рек. Да и селились на высоте, предпочитая ходить вниз к реке за водою, лишь бы оку была открыта неоглядная ширь земли и небес.

На таком вот пригорке, с коего, верно, открывалась днем замкнутая чередою лесов уединенная долина, а теперь лишь сквозистая тьма облегалась окрест, и лежал Варфоломей, затихая в рыданиях, лежал и думал, успокаиваясь понемногу и начиная смутно понимать, что потеряно далеко не все, что измена брата еще ничего не изменила в его, Варфоломеевой, судьбе, и от мыслей о Стефане и Нюше, он, неведомо, обратился к тому, чей великий пример всегда и во всем предстоит мысленным очам христианина.

Исус ведь был, хотя и сын Божий, в земном бытии своем такой же, как и все, человек. И как человек сомневался в назначении своем, страдал, мучился (наверное, как и я сейчас!). И молил даже: «да минет меня чаша сия!» — в последнюю ночь, оброшенный (ученики и те заснули, несмотря на просьбу учителя!). И муку принял один... Словно знак, завещанный грядущему! Что же, значит, и всякий смертный может повторить путь Спасителя от начала и до крестного конца? Может и — значит — должен? И вот зачем и почему Христос и вочеловечился, родился, страдал, молил и погиб на кресте! И поэтому можно! — Он даже приподнял голову, ослепленный вспыхнувшей мыслью, безотчетно вперяясь в окрестный мрак. — Можно и должно! Должно быть равным Христу, это не гордыня, а требование Божие!

Быть равным Господу! В трудах, в скорбях (не в чудесах, конечно, то уже была бы гордыня!), в повторении — вечном, как таинство святого причастия, в вечном повторении крестного пути!

Теперь он увидел и широту ночного окоема, и игольчатую бахромку лесов на закатной, охристо-желтой полосе, поразился тому, как близко увиденное сейчас к тому, что не по-раз снилось ему ночами. Вот, в такой же лесной пустыне, на таком же холме! И пусть Стефан... Только поможет ему... Пусть он будет для него Варфоломеем, словно Иоанн Предтеча. А Нюшу он будет любить. И беречь, раз ее любит Стефан! Она ведь не виновата ни в чем!

Снова прокричало в отдалении. Сизые руки туманов тянулись уже к вершинам елей, и бледно-желтое мертвенное сияние осеребрило вершины.

Всходила луна.

Глава 10

До самой свадьбы Стефана Варфоломей виделся с Нюшей с глазу на глаз всего один раз. На людях она то гордо проминовывала его глазами, то хохотала, начинала дурачиться, словно девочка... То вдруг замирала, испуганно глядя в пустоту.

И уже не становилось тайною, что дело идет к свадьбе, и уже пересылались родичи, — только бы уже стало и помолвку объявить в церкви, и заваривать пиво...

Варфоломей шел по заулку над речкой с удочкой в руках и связкой ивовых прутьев, и тут неожиданно повстречал Нюшу. Оба стали враз, как вкопанные. Словно и не видели доселева один другого, словно сегодняшним еще утром не пробежала Нюша мимо него по-за церковью, даже не поглядев на Варфоломея, не выделив его из негустой толпы парней... А тут, как нарочно, и вокруг никого не случилось, и — не пройти, не пробежать, гордо задрав нос, и дышится уже неровно и жарко, как после игры в горелки... Что содеять и что сказать? Как бы лучше было им и вовсе никогда не встречаться!

Она дернулась, хотела пройти — и остоялась, совсем рядом — вот, только бы за руки взять. Варфоломей, Стефан — оба они сейчас сплелись, перемешались, перепутались у нее в голове.

— Здравствуй! — тихо промолвил он, лишь бы что-то сказать, и чуя, как у него сохнет во рту и ноги наливает мутная слабость.

— Ты... — начала было Нюша, подняла на Варфоломея ждущие глаза, потупилась снова и вновь подняла (да не молчи ты, не молчи, когда кричать в пору!). Он же — только смотрел на нее, словно бы издалека-издалека, с дальнего берега.

— Ты... — спросила Нюша с отчаяньем в голосе. — Ты... правда... во мнихи пойдешь? И не женись никогда?

— Да. — И торопливо, чтобы она не сказала чего лишнего, договорил: Я все знаю, Нюша. И желаю тебе счастья.

— Да? А я... я... — она вдруг зарыдала, некрасиво уродуя губы, — а я... я... я... я боюсь! — наконец выговорила она и вдруг, сорвавшись с места, стрелой побежала с плачем по заулку.

Варфоломей чуть было не кинулся вслед. Но девушка, словно угадавши его движение, зло и резко отмахнула рукой, и он остался на месте, словно пришитый, лишь глазами следя за удаляющейся фигуркой в хлещущем по ногам долгом сарафане... Верно, так и надо! Так и должно было стать. И Стефан, наверное, прав. И Нюша тоже права. У него, у Варфоломея, своя стезя, и идти по ней он должен только один. Как древние старцы египетские! И не должна Нюша становиться схимницей. Какие у нее грехи? Росла, играла в горелки, хороводы водила по весне, вместе с подружками гадала о женихах...

Он закрывает глаза и вновь видит Нюшу. Не ту, что убежала сейчас, вся в слезах, а другую, далекую, прежнюю.

Жаркое лето, они сидят вдвоем на обрыве над рекою. Сухо шелестит на склоне трава. Нюша, привалясь к его плечу, заплетает венки.

— Мне хорошо с тобой! — незаботно произносит она... Хорошо... И слова повисают, словно трепещущие синие стрекозы над бегучей водой... Мне тоже хорошо... Сказал, или только подумал тогда? Прошло, миновало...

Еще одно воспоминание: он играет на жалейке. Нюша слушает. Они вдвоем пасут овец. Когда это было? Давно уже! Но он помнит и место то, за деревнею, на той стороне, и большую бабочку с глазчатым узором на крыльях, что тихо вынырнула из леса и, ослепленная солнцем, вцепилась в Нюшин платок, да так и застыла, расправив крылья, дорогим небывалым украшением.

— Убей! — сказала Нюша вздрогнув. — Нельзя. Она живая, — возразил Варфоломей. — Погляди, как красиво!

Лучше всяких камней самоцветных. — Он осторожно снял платок и показал Нюше недвижимую, распростертую бабочку. И они долго, голова к голове, разглядывали лесное чудо... Когда это было? Туман. — «Мне было очень хорошо с тобой!» — шепчет Варфоломей в пустоту...

А в другой раз... Она попросила его рассказать ей про Марию Египетскую. Варфоломей очень любил этот рассказ и очень живо представлял себе все: и жару, и сухие камни пустыни, и тень человека, убегаящую от путника все дальше и дальше в пески... И будто сам слышал звук ее ломкого тоненького голоса, звук речи отшельницы, отвыкшей от людей, почерневшей и иссохшей, словно живые мощи, с долгими седыми волосами, выгоревшими на солнце, как кость. И эти ее первые слова, о том, что она женщина и стесняется своей наготы. А потом строгий рассказ о греховной молодости, с юности, с двенадцати лет бескорыстное служение только одной плотской любви, а в двадцать восемь — обращение, и столь же безоглядный, сразу, безо всего, уход в пустыню, и далее — сорок лет одиночества в жаре и холоде песков, сорок лет ни одного лица человеческого; и сперва — грешные мысли по ночам, а потом — все легче и легче... Тело иссохло, одежда, какая была, истлела и свалилась с плеч. Сорок лет безоглядной любви к Господу и пречестной Матери его.

— Ты погнушаешься мною, я такая грешница! — сказала, а когда начала молиться, на целую пядь вознеслась от земли...

Нюша в который уже раз слушала это житие в передаче Варфоломея и молчала, и клонила голову, а потом спросила вдруг:

— А у тебя какие грехи, зачем ты идешь в монахи?

— Зачем? Молить Господа о спасении!

— Кого?

— Всех. Всех людей. Русичей, ближних своих! — ответилось легко, так бы ни Стефану, ни даже себе самому не сказал в иную пору... И вот Нюша уходит. Ушла. И можно открыть глаза и долго глядеть в пустой заулочек вдоль серых от дождей и непогод жердевых изгородей, обросших лопухами, чертополохом и кашкой...

Свадьбу старшего сына Стефана с Анною, внучкой Протопоповой, Кирилл с Марией решили отпраздновать шумно. Пекли и стряпали сразу на полгородка.

Пусть не было питий и блюд иноземных, зато своих наготовили вволю.

Кулебяки и расстегаи, целые полтеи дичины и баранины, копченые окорока пороссячи и медвежьи, птица и дичь, пироги, пряженцы, загибушки и шаньги, медовые коржи, многообразные каши и кисели, бычачий студень и разварная уха из отборных окуней и налимов, — не считая грибов, капусты, редьки, ягод лесных и лесных орехов, сваренных в меду... И хоть мисы и тарели были деревянные и глиняные, а не из серебра и ордынской глазури, — не хуже прежнего боярского получился стол! Мария, выходя в клеть, удовлетворенно озидала приготовленное изобилие, и двадцать бочонков янтарного пива, сваренного к свадьбе из отборного ржаного солода, тоже не должны были опозорить своих хозяев!

Дружками у Стефана были оба брата и младшие Тормосовы. Варфоломей, перевязанный через плечо узорным полотенцем, чуял то же, что и у всех, лихорадочное возбуждение, хоть и отказался опружить по ковшу пива, как предложил Тормосов перед тем, как ехать за невестой.

Свадебный поезд в лентах и бубенцах нарочито промчался, громокая, по всему Радонежу из конца в конец со свистом и улюлюканьем и уж потом, лихо заворотив, сгрудился у невестина дома, под смех, крики и возгласы конных поезжан выплачивая пивом и калачами воротную дань загородившим въезд парням и девкам.

Варфоломей втайне все боялся увидеть Нюшу. Но в многолюдстве, шуме и гаме, среди мелькающих лиц подружек, стряпей, вывожальщиц, родственниц и просто гостей и гостей, в колеблемом свете свечей, ее было трудно и рассмотреть. Ни за невестиным столом, ни в церкви ему так и не довелось увидеть Нюшиного лица близко-поблизку. И только уже когда молодых привезли в дом и сват ржаными пирогами, предварительно скусив кончики (не выколоть бы глаз молодой!), снял плат с Нюшиной склоненной головы, увидел Варфоломей ее разгоряченное, с пятнами яркого румянца, с широко распахнутыми глазами, счастливо-испуганное и растерянное лицо. Она едва ли кого видела, едва ли слышала что-либо отчетливо. Крики, песни, шум и возгласы пирующих — все летело мимо нее. Она вставала,

деревянню подставляла лицо под поцелуи Стефана (и Варфоломей был рад тогда, что ему надобно подавать и разносить блюда, а не сидеть против молодых, глядя на эти, стыдные перед чужими, обрядовые ласки, за которыми как бы означивалось то, о чем ему и думать даже не хотелось).

От духоты, шума, пьяного угара у него, чуть не впервые в жизни, разболелась голова, и, улучив миг, когда молодых наконец со смехом и озорными шутками повели в холодную горницу укладывать на ржаные снопы.

Варфоломей выскользнул на улицу, пробрался сквозь толпу глядельщиков, окружавших терем, и, увильнув на зады, оставшись один, вдруг, неожиданно для самого себя и непонятно о чем, заплакал так, как не часто плакал и в детстве. Рыдал, уцепившись руками за выступ амбарного бревна, вздрагивая, трясаясь, теряя силы и обвисая, трогая за чем-то поминутно ладонями колючие, подсыхающие репы, шмыгая носом, слыша, как горячие слезы с частым шорохом опадают на подсохший осенний лист...

Слезы, впрочем, так же вдруг, как начались, и окончились. Варфоломей вытер полотенцем лицо, подумав, что нельзя оставлять следов слез, постоял, приходя в себя, покрутил головою. От только что испытанного и вызвавшего жаркие слезы острого приступа одиночества все еще оставалось сухое жжение в груди.

Вспомнилось невпопад, как Нюша, испуганно приоткрывая рот, протягивала ложку, кормя Стефана за свадебным столом, и, верно, очень боялась не замарать ему лицо обрядовой кашей. А сама, когда ложка перешла в руки Стефана, решительно зажмурила глаза и рот открыла широко, словно галчонок... Он улыбнулся в темноте, еще раз решительно вытер слезы и пошел в терем...

Застолье продолжалось и еще день, и еще. Назавтра молодая мела горницу, выбирая дареные деньги из сора. На третий день всею свадьбой ходили к теще, на блины...

Вечером третьего дня Нюша столкнулась с Варфоломеем в сенях, нос к носу. Глядя на него сияющими, ослепленными глазами, прижимая ладони к вискам, протараторила:

— Ничего не понимаю! Наверно, счастливая! Только ты меня тоже не бросай, слышишь?

Неожиданно обняла, крепко поцеловала влажным ртом и тут же убежала прочь...

Она так изменилась за эти два дня, что Варфоломей, оставшись один, долго склеивал и никак не мог склеить образ той, прежней Нюши, и этой, нынешней...

Глава 11

Для Стефана с Нюшей по весне намерили срубить новый терем, пока же пополнившееся семейство Кириллово помещалось за одним столом, и только ночевать молодые уходили в клеть. Поэтому весь «медовый месяц» вся трудная притирка молодых друг к другу происходила на глазах у Варфоломея, рождая в нем то глухую боль, то недоумение. Неволёю приходилось наблюдать капризы и ссоры молодых, перемежаемые вспышками едва прикрытой чувственности, действительные и мнимые обиды друг на друга и то, как Нюша со Стефаном, сидя за общим столом, вдруг переставали замечать окружающих, и тогда взрослые отводили глаза, а за ними и Варфоломей с Петром старались скорее отвлечься чем-нибудь сторонним или затевали громкий разговор, лишь бы не видеть того, что происходило у всех на глазах между молодыми супругами.

Нюша еще плоховато стряпала; не умела приказать слугам, не справлялась со стиркою и шитьем. Стефан гневал, сводя прямые брови, и Варфоломей со страхом наблюдал, как жалко вздрагивают Нюшины губы, словно у обиженного дитяти.

Раз, во время одной из подобных размолвок, с глазу на глаз, Стефан ударил Нюшу, и та с криком выбежала из клетки, держась за щеку. Варфоломей как раз возвращался из конюшни. Вся кровь прилила ему в голову... К счастью, на крыльцо в этот миг вышла мать.

— Олфоромей! — позвала она. Он оборотил лицо на материн зов, но не двинулся. Голос Марии был необычайно строг:

— Олфоромей! — повторила она.

— Поди сюда!

Набычась, он двинулся к крыльцу.

— Помоги мне! — приказала Мария, и увела его в амбар, где Варфоломею пришлось ворочать и перекладывать по указанию матери какие-то кули и бочки. И лишь получасом позже, когда он порядком взмок от усиленной работы, Мария сказала ему:

— Ну, будет! — И повелела:

— Присядь!

Он сел на кадушку с топленным маслом, угрюмо утупя взор.

— Запомни, Олфоромей, — сказала мать, — никогда не встревай в чужую жизнь! В семье, меж мужем и женою, и не то еще бывает порой. Это очень трудно — всю жизнь прожить с человеком! У нас с родителем твоим тоже всякое бывало попервости да по младости лет. Иного и на духу не скажу. И все одно: он муж, глава! Жена не уважит, и сам себя уважать не станет супруг, и люди осудят, и всему дому настанут скудота и разор! Муж, хошь с рати воротит, суровый да темный, хошь из лесу, с тяжелой работы какой, хошь с поля, с пахоты, голодный да злой, дак и огрубит непутем, а ты пойми, приветь, накорми, успокой, выслушай со опрятством!

— Дак — вправе — и бить? — тяжко, словно ворочая камни, спросил Варфоломей.

— А об этом люди знать не должны. И еще скажу: добрая жена завсегда в доме госпожа. Дело супруга — дом обеспечить, дело жены — дом вести. Коли у тебя всего настряпано, да чисто, да тепло — и злой одобрееет. Но уж коли кормишь, можно и сдержать от худых-то дел! Иного и не позволишь супругу, а только чтобы он себя по-прежнему уважал и чадам чтобы был отец, глава!

Муж-от один на всю жизнь. И детям отец! Не отберешь их, маленьких-то, ни у отца, ни у матери!

Ты вот спроси, легко ли нам? Оногда и недоспишь, и куса недоешь, и болеть не позволишь себе! Супруг, чада — болеют, жена, мать — завсегда на ногах... С мужем прожить да воспитать детей достойно — тут те и монашеский подвиг, и ратный труд! Вон уж и на беседе, воззри: парни с жалейками да с домрами придут, а девицы — с пряжею да шитьем!

Варфоломей внимал, все так же опустив очи долу, и неясно было, чувствует ли, понимает ли мать? Тут только спросил, словно просыпаясь ото сна:

— Меньше работают мужики, чем бабы?

— Как ты, дак и не меньше! — отозвалась мать. — Мужской труд иной. На рать женок не пошлешь. Опять же поле пахать, лес валить, хоромы класть...

В извозе тоже женка не выдюжит... Вот так-то, сын! И потому в чужую беду никогда себя не мешай. Сами дойдут до ума. Стефан нравный, а Нюра еще молода. На Стефана, гляди, весь дом держится. Может когда и уважить ему молодая жена! Да и любят один другого. А у любимых каждая обида вдесятеро. И ты того не зазри. Не нарушай семью! Повидишь, сами собою снидут в мир!

— Мамо! — сказал Варфоломей, подымая строгие глаза:

— Весною, когда Стефану срубим дом, я ухожу в монастырь.

— Хорошо, сын.

Мария поднялась с заметною усталостью. Поднялся и он, укрощенный, но не убежденный.

Мать, однако, оказалась права. К вечеру Стефан с Нюшею помирились.

Быть может, он попросил прощения у нее. За ужином Нюша глядела на него вся лучась нежностью, то и дело лебединым движением руки трогала невзначай плечо Стефана, подкладывала ему лучшие куски, и в голосе ее слышался опять тот глубокий горловой перелив, который бывает только у счастливых и спокойных за свою судьбу жонков.

Но был ли счастлив Стефан? С Варфоломеем они не разговаривали.

Работали вместе и дружно по-прежнему, без слов понимая друг друга в труде, но сердечные тайны, и паче того замыслы грядущего, уже не возникали в их немногословных беседах и, казалось, вряд ли возродятся когда-либо вновь.

То, что он любил Нюшу, было слишком видно, и это несколько примиряло Варфоломея с изменою старшего брата. Но вот был ли он счастлив по правде, по-настоящему, до конца? Этого Варфоломей наверняка не смог бы утверждать.

Запратанная глубоко, на самое дно души, не могла же, однако, умереть в нем та жажда деяний, которая сжигала Стефана с отроческих лет? Что же он теперь собирается делать, что

вершить на жизненном пути? Или так и похоронит гордые замыслы своей юности в ежедневном, уйдет в семью, в детей, будет по крохам собирать, скапливать добро, чтобы где-то во внуках или правнуках войти в ряды рядовых московских вотчинников?

Когда Варфоломей видел, как Ньюша, лаская мужа взглядами, выгибается, показывая округлившийся стан, и ее маленькие груди зовуще натягивают полотно рубахи, ему становилось тошно и обидно за ту, прежнюю Ньюшу, исчезнувшую без остатка в этой теперешней, «бабьей» и земной. Тело ее казалось ему в такие мгновения потным и нечистым, и его охватывал настоящий ужас за Стефана: на что же он променял свои великие мечты?

Варфоломей кожей чувал за брата, что тот долго не сможет вести такую жизнь, и ждал беды, срыва, катастрофы. И когда понял, чего ждет, стал изо всех сил отдалять неизбежное. Заботливо помогал Ньюше справляться с хозяйством, незаметно для брата старался занять его какими-либо делами, подсовывал ему книги и просил настойчивее, чем прежде, растолковать неясное

— лишь бы не дать Стефану почувствовать гибельную душевную пустоту, которая (он понимал и это) рано ли, поздно, так и так настигнет Стефана и — что тогда?!

Святками, как-то неожиданно для многих, оженился младший братишка Варфоломея, Петр, на Кате, дочери местного священника отца Никодима, давней Ньюшиной подруге.

Вновь собирали свадьбу, варили и стряпали, гоняли по Радонежу на разукрашенных конях с колокольцами. Было много шуму, смеху, песен, давки и толкотни... И вот за столом в доме Кирилловом появилась вторая молодуха, веселая хлопотунья.

Катя оказалась толковой хозяйкой, ловко стирала, вышивала и штопала, вкусно стряпала, легко исполняя все то, что Ньюше давалось со значительным трудом. Казалось даже, что не она состоит при Петре, а Петр при ней, особенно когда Катя, словно старшая сестра, ерошила ему волосы, а Петр улыбался детскою довольною улыбкой.

Мать как-то обмолвилась: «два голубка!» И верно, на них приятно было смотреть. Во всяком случае, тут Варфоломей не чувал никакой внутренней тревоги.

Спали они в общей горнице, за занавескою, и, укладываясь, долго возились и хохотали, точно расшалившиеся дети.

Петру с дочерью отец Никодим обещал со временем отдать половину своего дома. Пока же все жили одной семьей, по-прежнему садясь трапезовать за один стол.

С Катиным приходом в доме сталолюдно и весело. Две невестки судачили взапуски друг с другом, решая какие-то свои, женские дела, вместе исполняли работу по дому, и то грозное, чего все время ждал Варфоломей, как-то отдалилось, утихло, почти исчезло на время с окоема семейной судьбы.

В марте стало ясно, что Ньюша ждет ребенка.

Глава 12

К дубовым ведрям с водою Варфоломей теперь не позволял Ньюше даже притронуться. Он всегда оказывался тут как тут, когда ей надо было отнести белье, или ночвы с мукою, или иное что, требующее усилий. И так же враз, как появлялся для помощи, он и исчезал, не позволяя Ньюше сказать себе спасибо. Варфоломей вел себя так, впрочем, не из одной только скромности.

За столом он старался вовсе не глядеть на Ньюшу. То бессмысленное, тупое выражение лица (словно бы все силы души истрачены и поглощены тем, что совершается там, внутри), которое появляется почти у каждой женщины в пору беременности и делает ее похожей на корову, козу или свинью (в зависимости от склада лица и тела), пугало Варфоломея все больше и больше. Эта сугубая поглощенность в животном естестве — тусклый взор, припухлые, жующие губы должна была разрешиться для нее небывалым ужасом. Так, по крайней мере, казалось ему.

Сама Ньюша вроде бы совсем не страшилась родов. Подолгу секретничала и хихикала с Катей, а на мужа глядела теперь с еще большим подобострастным обожанием. Проходили недели, и уже очень заметный холмик живота, худоба щек и голубые тени у глаз начали говорить о том, что срок близок.

Шла весна. Подтаивали сугробы. Рушились пути. Кони призывно ржали, катались по

мокрому снегу. Орали птицы. Влажные, пухлые облака плыли по синему, безмерному, омытому влагою и продутому весенними ветрами океану неба. В доме ладили сохи и бороны, чинили упряжь.

Справили Пасху. Уже земля вылезала из-под снежных покровов, и на сухих пригорках весело пробивалась молодая трава, когда московский гонец примчал в Радонеж известие о смерти князя Ивана.

Начались толки и пересуды. Калита — хорош он или дурен — был для всех залогом прочности бытия. Ни сколько-нибудь заметных войн, ни паче того татарских набегов при нем не бывало. Даже и жадные послы — бич поволжских городов — миновали вотчину князя Ивана при его жизни. И что-то будет теперь?

Давно так много и горячо не толковали о господарских делах в Радонеже. Онисим, вроде даже помолодевший, врывался в дом, тормозил Кирилла (старый ростовский боярин сильно сдал в эту зиму, совсем отошел от хозяйства, и все больше или лежал на печи, или читал божественное), кричал:

— Ноне суздальский князь, Костянтин Василич может велико княжение под себя забрать! Смотри-ко! Семен-от Иваныч молод, тово! И Костянтин Михалыч тверской туда ж поскачет, верно говорю! Понимай! Как бы на прежню не поворотило!

Кирилл слабо отмахивал рукою:

— Тебе, Онисим, износу нету! А я уж в домовину гляжу. Сыны, вон...

Теперича нам за москвитя надо стоять. Жизни наново не переделаешь, так-то...

Онисим недолго сидел, поддакивая медленной речи Кирилла, и вновь срывался, бежал узнавать, выехал ли князь Симеон в Орду и о чем толкуют на дворе наместничьем?

Варфоломей глядел ему вслед, дивясь и любуясь.

— Волнуется! — со вздохом говорил отец по уходе Онисима. Старо-прежне житье забыть не может! Пахать надо, вот что! И молить Господа, не стало б, невзначай, нахождения ратного!

— Он-ить, отец, не моложе тебя? — спрашивал Варфоломей.

— Годами-то я старее! Мне-ка, поди уж, постриги творили, когда он еще в колыбели лежал... Да и жил незаботно, сердца не долил никоторой печалью.

Век был таков: накричит, нашумит, а все не взыбь ему, все, словно шуткует!

— У деинки Онисима жена умерла, отец! — осторожно возражал Варфоломей.

— Да вот, поди ж ты... — отец вздыхал, и слегка дрожащею рукою вновь нашаривал и раскрывал толстый «Изборник» с узорными, писанными красною киноварью и золотом заглавными буквицами, а Варфоломей отправлялся в житницу, где хранилась семенная рожь. Для него за протекшие годы Радонеж стал настоящею родиной, и потому о своей судьбе и судьбе ихнего дома мыслилось ему неотрывно от судьбы князя московского. Что бы ни случилось теперь, получит Симеон Иваныч великое княжение или нет, отселе они никуда не уедут уже и разделят судьбу всего московского княжества!

А небо, промытое синью, огромно, а воздух свеж, как юность, и даже тому, неизбежному, что когда-то приходит к каждому ослаба сил, старость и смерть,

— трудно поверить в пьянящую пору весны, когда тебе девятнадцать лет!

Вновь зеленой фатою оделись березы. Вновь тяжелое рало вспарывает влажную, клеклую землю прошлогодней пожоги. Только руки нынче крепко, уже не по-мальчишечьи, держат рукояти сохи и рало послушно и ровно ведет борозду, не выпрыгивая, как прежде, из земли. И, любуясь собою, проверяя силу рук, Варфоломей слегка нажимает на темно-блестящие рукояти, чуя, по натуге коня, взрыхляемую глубину, и вновь отпускает, выравнивая, и послушное рало тотчас приподымается, все так же ровно, без огрехов и сбоев, разламывая влажное лоно земли.

Что бы ни решил хан в далекой Орде, о чем бы ни сговаривались князья, что сидят где-то там, за дубовыми стенами больших городов, в узорчатых теремах, или, как сейчас, едут в дали-далекие по рекам и посуху, — есть труд «в поте лица твоего», и радостно исполнять его именно так, чтобы горячие струи бежали по спине, и рубаха была — как выжми, и чтобы сила послушно играла в руках, и легко и просторно дышала грудь, и нечаянная радостная улыбка невзначай освещала лицо, открытое ветру и солнцу! И чтобы впереди был подвиг. Великий духовный труд! И каждая новая борозда невестимо приближает его к этому подвигу. Скоро!

Очень скоро! Ступай, сгибай крутовидную шею, конь! Тяни сильнее! И ты тоже мокр, мой товарищ!

И твои мышцы, как и мои, мощно ходят под атласною кожей. Ты добрый конь! И хозяева твои хорошо додержали тебя до весны, не дали исхудать, опаршиветь, потерять силы к весенней страде! Тяни, конь! Наклоняй морду, упирай сильнее в землю копыта свои! Вот и новая борозда! Уже половина поля рыхло чернеет за нами и полна жорких скворцов и грачей, что, суется и вереща, уничтожают сейчас разную насекомую нечисть, жуков и личинок. Погодите, птицы! Завтра начнем вас гонять, надобно сеять хлеб!

Тяни, конь! Ты, не ведая того, созидашь основу земного бытия! Ты и твой пахарь исполняете высокий завет, данный Господом: в поте лица (всегда в поте лица!) добывать хлеб свой, хлеб насущный, им же стоят княжения, царства и языки. Тяни, конь! В начале начал всегда является труд, созидание. Труд земной и подвиг духовный — двуединая основа истинного бытия. И этот юный пахарь скоро станет твоим молитвенником, земля русская!

Начались те дни великого напряжения сил, схожие с ратной страдою, когда мужики приходят с поля в грязи, поту и пыли и, едва ополоснувши лицо и руки, молча садятся жрать, и только отваясь от глиняной латки со щами и рыгнув, бросают сиплым от усталости голосом:

— Тот клин... у горелого займища... весь нонече довершил!

И жена, гордо подымая плечи, спешит с кашею, и дочь, чуть не в драку с сынишкою, торопясь наливает молока бате, и оба восхищенно взирают, как ест, двигая желваками, косматый отец. Клин у горелого займища довершен! А еще тетка Мотрия баяла, что до субботы тамо ему не управить! Чево! Я говорил! Нет, я говорила! Нет, я!

— Не балуйте, тамо! — И рассеянная тяжелая рука нашаривает юркие льняные головенки, которые торопятся теменем, носом, лбом прижаться к горячей отцовской ладони и с ней и через нее прикоснуться, притронуться к вековечному великому подвигу россиянина, взрастившему хлеб и обилие на трудной своей земле.

Варфоломей ухитрялся вечером, когда все валились от усталости с ног, еще натаскать воды, чтобы Нюше с Катей было легче с утра со стряпнею, после чего, прочитав вечернее правило, провалился в каменный, без сновидений, сон.

Нюше подошло родить, когда уже отсеялись, и подступало время покоса.

Как на грех, в доме не было никого, и ежели бы не Варфоломей, заглянувший со всегдашним: не надо ли чего? — невесть что бы и стряслось.

Завидя Нюшино лицо, покрасневшее, в крупном поту, точно усыпанное градинами, заслышав ее протяжные стоны, Варфоломей растерялся. Хотел было бежать за повитухою, но Нюшин крик:

— Олфера-а-а! Не оставляй меня, не оставля-а-а-ай! А-ой! Ой! А-а-ой!

— заставил его остояться. В голове лихорадочно напоминалось: что надобно, надобно что?! Воды горячей, много! — сообразил он — и скорей! В загнетке еще нашлись горячие уголья. Под непрерывные, то затихающие, то усиливающиеся стоны он раздул огонь, затопил печь, вдвинул прямо в огонь большой глиняный горшок с водою. Потом, сцепив зубы и стараясь ни на что не смотреть, развязал и распустил на Нюше пояс и завязки сарафана и исподницы, совершенно не понимая, как он станет принимать роды у нее.

«Васильиху надо! — с отчаянием думал он. — И в доме никого, ни отца, ни матери и ни единой бабы, все на огородах да в поле!» Двадцать раз намеривал он побежать за помощью, но Нюша, вцепляясь в него потной рукой и дико оскаливая зубы, мотая раскосмаченною головою, не отпускала Варфоломея от себя...

В самый, как показалось ему, последний миг в горницу ворвалась Катерина, за нею следом попадья, Никодимиха, и Варфоломей, к великому своему облегчению, был выставлен за порог, где его и нашла мать, Мария, в великом страхе и трепете.

Варфоломей так и не понял, когда же домой явился Стефан и когда, в какой миг, его самого снова позвали в горницы, где и показали крепенького, с красною, точно ошпаренной рожицею, уже умытого и запеленутого малыша.

Взглянув на постелю, он увидел прежде всего промытые страданием и счастьем огромные Нюшины глаза. Казалось, вся прежняя тонкая духовность, и еще что-то несказанное, неземное, воскресли в ней после перенесенных родовых мук.

Варфоломей стоял недвижимый, оторопелый и смотрел, переводя взгляд с роженицы на ребенка. Почему он был уверен, что Ньюша должна умереть?

(Больше того, знал, что так оно и будет!) И почему он и сейчас не чувствует, что ошибся в предвещениях своих?

Однако Ньюша была жива, и по робкой, счастливой улыбке, посланной ею Стефану (Варфоломей только теперь заметил старшего брата, стоявшего в головах постели), он понял, что все уже позади, и то, чего он так боялся в последние месяцы, вновь отошло, отодвинулось, исчезло, или почти исчезло, точно прошедшая стороною, в немом блеске далеких молний, так и не разразившаяся гроза.

Удивительно быстро и как-то между делом (покос был трудный, часто перепадали дожди, и приходило то стремительно сметывать, то опять рассыпать для просушки полусухие копны) Варфоломей научился обстирывать и обмывать Ньюшиного малыша, даже и купал его сам, в корыте, держа на ладони (и справлялся с этим ловчее юной матери).

Стефан снисходительно допускал такое вмешательство брата в свою семейную жизнь. Со временем, войдя во вкус, иногда и сам сваливал на Варфоломея докучные «бабские» заботы:

— Олфер! Помоги там! — произносил он, утыкая нос в книгу, и Варфоломей тотчас откадывал недошитый хомут и брался обихаживать малыша.

Ляльку для ребенка готовили оба брата: Стефан сколачивал остов, а Варфоломей вырезал узоры на ней.

Младенца, по обычаю, когда минуло сорок дней со дня родин, нарекли Климентом, в честь святого Климента равноапостольного.

Воскресшая Ньюша так привыкла к услугам Варфоломея, что подчас переставала даже стесняться его. Просила подать малыша, одновременно выпрастывая набухшую грудь из расстегнутого сарафана.

Глава 13

Осень. Срублены новые хоромы для Стефана с Ньюшей. Петр с Катериной перешли жить к отцу Никодиму. Безо споров поделены слуги, пажити и добро.

Опустел старый Кириллов терем. Когда-то тесный, рубленный всего в две связи, он теперь неожиданно оказался слишком большим.

Из Орды воротился князь Семен с пожалованьем. Великое княжение владимирское осталось за Москвой. Радонежане, старые и новые, вздохнули облегченно. Не знали еще, каков новый князь и как проявит себя, но так хотелось прочного, незамутненного княжескими ссорами и наездами ханских послов мира! По хотенью своему и князя Семена за глаза наделяли многими добродетелями: нищелюбив, справедлив, богомолен, трезвенен... Вскоре радонежская дружина, вкупе с переяславской, ушла в поход к Новгороду Великому. Туда же выступили владимирская, суздальская, ростовская и ярославская рати. Князь Семен, видимо, не шутя намерил продолжать дело отца. Общего ополчения, впрочем, не собирали, так что сыновья Кирилловы остались дома. Видно стало, что до серьезной войны дело все-таки не дойдет.

Варфоломею по осени пришлось ехать с хлебным обозом в Нижний Новгород, так что серьезный разговор с матерью отложился опять.

Воротился он с огрубевшим, иссеченным холодными ветрами лицом, повзрослевший, смутный от переполнявших его новых впечатлений и дорожных картин, в коих ему теперь предстояло разбираться на досуге.

Нищие на раскисших дорогах; грязь и дожди; купеческие байки о разбойниках, вырезывавших, по дороге к Мурому, будто бы целые караваны гостей торговых; дымные, вросшие в землю, крытые соломой избы; скирды хлеба; воронье на падали; бабы, что, сложив руку лодочкой, долго смотрят вослед обозу, словно провожая родных; короткие ночлеги, дорожная усталость и тоска; и вдруг, на круче Клязьмы, вознесенный громадою валов и царственною роскошью белокаменных соборов, потрясший его Владимир, про который он только лишь слышал до сих пор.

Он выстоял службу под величавыми сводами Успенского собора, побывал в Дмитровском храме, засунув нос и на митрополичий двор, откуда его, впрочем, довольно нелюбезно выгнали,

потолкался в торгу, наслушавшись разных разговоров и толков, нагладевшись на торговое многолюдство, уличную тесноту и — всегда резкое в огромном городе — сочетание выставленного напоказ богатства и нищеты. Уже здесь он увидел многочисленных татарских гостей, развалисто, словно хозяева, ходивших по городу, приметил и косые взгляды горожан, бросаемые на непрошенных гостей, и татарская «дань неминуемая», о которой каждую осень починали толковать в Радонеже, наполнилась для него новым глубоким смыслом. Страна с великим прошлым, некогда могучая и славная, была зажата и стеснена горстью сыроядцев чужой, бехметовой веры! Все, о чем с прискорбием говорили еще в детстве, во граде Ростове, все, о чем толковал ему брат и спорили взрослые в Радонеже, нет-нет да и возвращавшиеся к прошлому, недоумевая, почему с такой легкостью поганные завоевали страну? Все обрастало теперь плотью, зримо являлось взгляду и требовало действенных решений ума. Бродя по владимирскому торгу, Варфоломей живо вспоминал рассказы Стефана о давнем ростовском вече, так и не похотевшем помочь восставшей Твери. Он остро вглядывался в лица, гадая, как бы поступил на том ростовском вече этот мужик, и тот ремесленник, или этот вон рыжий купчина с толстенными ручищами и весело-румяным незаботным лицом? Пошел бы со всеми громить поганных или бежал бы впереди всех, спасая свою жизнь?

Как понимают сами себя, как чувствуют ближних своих все эти люди?

Вот боярыня, вылезши из возка перед лавкою гостя-суроужанина, надменно оглядывает толпу и кидает не глядя сунувшейся к ней нищенке медную монету ордынской чеканки, за которой та, падая в грязь, долго елозит, разыскивая деньгу под ногами прохожих, и, наконец найдя, удовлетворенно прячет куда-то за пазуху... А вот минуту спустя около той же нищенки останавливается баба, бредущая с рынка, и, улыбаясь, что-то выпрашивает ее, а та отвечает, пригорюнясь, покачивая головой, только и слышно:

«Милая!» — «И-и, милая!» — «А я, милая!»...

— А у нас летось и все погорело! — Доносит до него голос нищенки, уже значительно более бодрый, чем в начале разговора, совсем без плаксивости, словно делится с кумой деревенскими сплетнями. И наконец баба достает из торбы ножик и каравай хлеба, отрезает краюху и подает нищенке, и обе кланяются одна другой, и снова только и слышно: «Милая!» — «Да што ты, милая!». Женщины наконец расходятся, и нищенка украдкой мелко крестит поданную краюху. «Вот этот лепт — от Господа!» — думает, провожая ее глазами, Варфоломей.

Что может их всех собрать, сплотить воедино, заставить понять, что все они братья, единый народ, и никоторый никоторого не богаче и не беднее, как поняли это сердцем те две женщины, одна из которых поделилась с другою краюхою хлеба не выхвалы ради и не ради платной заслуги перед престолом Всевышнего, а только затем, что та нынче во временной трудноте, в беде, которая ее саму пристигнет когда-то или, поди, уж и пристигала не раз!

Здесь опять и наново утверждался Варфоломей в правильности избранного пути. Только молитва, дух Господень, только святая православная церковь возможет вновь собрать и съединить во взаимной любви многострадальный русский народ!

В Нижнем Новгороде Варфоломей, опять же впервые, увидел торговую мощь великого волжского пути. Ихний хлебный обоз, где был собран двухлетний запас не одного только Кирилла, но многих радонежан (хлеб посылали столь далеко, в Нижний, нарочито: чтобы выручить толику серебра на ордынский выход), показался лишь малою каплей, крохотной ниточкой среди тьмочисленных обозов, притекающих ежедневно и еженощно на великий нижегородский торг. Шум, рев, разноголосое мычанье и блеянье пригоняемых стад скотинных; конское ржание; нелепые, горбатые туши верблюдов и их покачивающиеся над толпою безобразные морды; разноязычный гомон тьмочисленной толпы, смешенье лиц и одежд; рабы и рабыни, выставленные на продажу... Величавый ход великой реки; скопление судов у пристаней — бокастых паузков, учанов и насадов, лодей и лодок, волжских «веток» и новгородских «ушкуев»; персидские, татарские, бухарские, фряжские и иные заморские гости, армяне и греки, аланы и черкасы, хазары, имеретины и готы, тверичи и новгородцы, торгующие в своих походных лавках рыбьим зубом, воском и многообразной узорной кованицей; груды товаров в рогожных кулях, бочонках, бочках, корчагах и ящиках, то под легкими навесами, то просто так наваленные на берегу...

Хлеб удалось продать (выменять на шкуры, обменяв последние, в свою очередь, на серебро) только на четвертый день к вечеру. Насколько удалась сделка, Варфоломей (торговались и считали старшие) не мог судить. От него требовалось теперь только одно: зашить в пояс причитающиеся ему рубли и серебряные диргеми и довести их сохранно до дому (что он и исполнил невредимым воротясь в Радонеж).

За четыре дня в Нижнем насмотреться пришлось всякого. Потрясло его, что русские продавали русских же рабов иноземцам. Как это могло быть, никто ему толком изъяснить не умел даже и сами рабы-полоняники. Кого-то выкупали из татарского полона, кого-то тут же и продавали вновь. Кто-то, быв холопом у своего боярина, попал сюда после разорения господина... В том, что свои продают своих, было опять нечто такое, против чего должен он будет когда-нибудь направить все силы своей души. Не должно христианину роботити братью свою! Вообще не должно! К чести русской церкви, что она запрещала держать холопов на землях своих. Но те рабы, те домашние холопы, свои, ближние, почти члены семьи, как у них в дому, — тот же Тюха Кривой, его старший друг и учитель в многообразных ремеслах, — что ж, после смерти родителя и он мог бы попасть сюда, на это всесветное торжище, и быть продану в дали дальние, в чужие земли, к языкам незнаемым: в песчаную Бухару, в степи ли, на Кавказ, за Железные ворота или еще дальше, за море Хвалынское, в сказочную Персию, в Египет, или пустыню аравитскую?!

И вместе с тем, какая сила во всем! Правы суздальские князья, что замыслили перебраться сюда, в эти недостроенные еще, раскидисто рубленные на горе бревенчатые твердыни, в гордый Кремник, вознесенный над торгом и великою, уходящей в далекие дали рекой. И пожалуй, не так уж и легкомыслен был деинка Онисим, кричавший, что суздальский князь сможет восхотеть схватиться с князем московским за великий владимирский стол! И этому, тут же подумал он, — не надо дать свершиться. Да будет единою исстрадавшаяся в которах княжеских Русская земля. Впрочем, в суете нижегородского торгова, подобная мысль и самому ему показалась предерзкою.

Как, в самом деле, справиться с этим кипеньем, напором и всесокрушающим движением? Чей голос не утонет и сможет быть услышан в реве, гуле и грохоте этой толпы? Трудно духовному потребна тишина великая. Из многошумной Александрии или Антиохии сирийской праведники уходили в безлюдье пустынь, дабы там наедине с природой и создателем события воспитывать и устремлять дух свой к подвигу отречения. И уже воспитавши себя, умудренные опытом пустынножительства, приходили проповедовать на стогны многошумных городов...

За два дня до отъезда ему удалось узнать о пригородном монастыре Вознесения Господня, основанном не так давно постриженником Киево-Печерской обители Дионисием, который сперва ископал себе пещеру, подобную киевским, и спасался в ней, пребывая в полном безмолвии.

Не медля нимало, Варфоломей направил свои стопы в монастырь, даже не придумав толком, о чем он станет беседовать с Дионисием, ежели тот восхощет принять незнакомого отрока.

Монастырек был невелик, церковь и кельи — новорубленные, из еще светлого, едва обветренного леса. С замиранием сердца вошел Варфоломей в ворота монастыря. Все было так знакомо, так сходствовало его тайным помыслам! Привратник, взглядевшись повнимательнее в лик юноши и улыбнувшись, сам спросил, словно бы догадав о намерениях гостя:

— К авве Дионисию?

Варфоломей молча кивнул, весь залившись жарким румянцем.

— Пожди мал час! — ответствовал привратник.

Шла служба. Варфоломей стал позади негустой толпы прихожан и начал горячо молиться. То ли место, где стоял монастырь, то ли душевное расположение Варфоломея были таковы, что он на молитве забыл обо всем на свете и был как во сне, так что, когда привратник тронул его за плечо, он не сразу сумел обернуться, понять, что его зовут, и прийти в сознание.

Дионисий, вероятно, приметил незнакомого юношу еще на молитве, во время богослужения. Во всяком случае, быстро оглядев гостя с головы до ног и, видимо, поняв, что перед ним далеко не простой паломник, что ходят по святым местам, сами не ведая, чего же ради, он пригласил Варфоломея к себе в келью, поставленную на скате горы, чрезвычайно простую, рубленную в две связи, из второй половины которой ход шел прямо в пещеру,

ископанную некогда подвижником для первого пристанища своего и служившую ему и поныне убежищем молитвенного уединения.

Дионисий был еще не стар, худ, горбонос, с пронизательным и острым взглядом, в котором тотчас угадывались ум, воля и сугубая твердота нрава.

Варфоломей, приняв благословение у старца и справясь с первым смущением, как можно кратче изъяснил, кто он и откуда и каковых родителей.

Дионисий удовлетворенно склонил голову, его первое впечатление об этом отроке подтверждалось — гость был еще менее прост, чем даже и сам умел помыслить о себе!

Скачками, словно падающая со скалы вода, разговор, затронув то и другое и третье, втек наконец в русло общих духовных интересов, и оба скоро поняли, что «нашли друг друга». Так люди близкого духовного склада и равной культуры по двум-трем невзначай брошенным замечаниям узнают один другого в толпе и тотчас находят и общие темы для разговора, и даже общие умолчания о том, что известно и понятно каждому из них и неведомо окружающей толпе.

По какой-то странной робости, или по скромности, Варфоломей до самого конца так и не признался старцу, что сам собирается в монастырь.

О чем они говорили в ту свою первую встречу, Варфоломей тоже впоследствии не мог связно припомнить. Впрочем, он больше слушал, чем говорил сам. Его всегдашнее немногословие сослужило ему и в этот раз добрую службу. Запомнилось только, что речь как-то вдруг повернулась к тому, о чем он так пытливо и страстно думал на протяжении всей дороги.

Скорби родимой земли, ее прошлое величие, величие ее пастырей духовных и долг праведника перед лицом днешной беды — вот то, что немногими яркими словами набросал пред ним Дионисий и что, словно клинок и ножны, так сходилось с его личными размышлениями.

Провожая Варфоломея, не посмевшего слишком злоупотреблять временем знаменитого подвижника, Дионисий тонко улыбнулся и заметил, что не говорит гостю «прощай», чая узреть его еще не раз, и, возможно, в новом облиии.

Варфоломей и здесь не признался в своих, почти угаданных Дионисием мечтах, только пламенно покраснел в ответ и, покраснев, похорошел почти девическою или, скорее, ангельскою красотою. Таким и запомнился Дионисию, не раз вспоминавшему потом, уже много времени спустя, о первой встрече с будущим радонежским подвижником.

Подъезжая к дому, Варфоломей думал только об одном: как скажет матери, что все сроки исполнились и ему теперь надлежит, не отлагая боле ни на день, ни на час, исполнить то, к чему он приуговаривал себя всю предыдущую жизнь.

Глава 14

Дома все было вроде бы по-прежнему. Только отец, встречая сына, почти не поднялся с постели, да мать, всматриваясь в его слегка загорбелое, решительное лицо, приветствовала Варфоломея с незнакомой ему ранее почтительной робостью. Выслушивая дорожные рассказы, она накрывала на стол, опрятно и быстро расставляла блюда, достала тарель с рыбным студнем, сама натерла редьки сыну и налила топленого молока.

— Ньюша и Стефан здоровы, все слава Богу! Баня истоплена. Поешь, помойся и ложись почивать. Утро вечера мудренее! — Тем и закончился их первый разговор.

Назавтра она, еще до прихода братьев с женами, сразу же после трапезы, сама увела его для разговору в светелку и, плотно прикрыв двери, усадив сына на лавку, а сама, севши прямо него на сундук, потупилась, разглаживая платье на коленях сухими, узловатыми руками, затрудняясь, с чего начать. Под ее пальцами повиделось, что и ноги у матери усохли, истончились совсем, и вся она, как вдруг бросилось в очи Варфоломею, высохла, олегчала, почти потеряв женскую округлость плоти.

Наконец Мария, справясь с собою, подняла глаза:

— Отец плох! Видишь сам, уж и встает с трудом! Все тебя сожидал... Ты потолкуй с им... Недолго ему с детьми говорить-то осталось...

Все было не то, и Мария вновь опустила глаза долу. Варфоломей молчал.

Он ее понимал, конечно, не мог не понять, с самого первого погляду, с того еще мига, как зашли в особый покой и уселись прямо друг друга беседовать.

— Ты видишь, мамо, сколь я ждал и терпел! А теперь уже ничто не держит меня. Братья избрали свои пути, а меня сожидает мой. И отец не должен зазреть. Не вы ли сами говорили, что я «обитель святой Троицы», и мой путь изначала — служить Господу! Отпусти, мамо! — говорило его молчание.

— Братья заходят? — спросил он. Мария кивнула головой.

— Оногда и Катерина забежит... Да што! Братья оженлись, пекутся ныне, как женам угодить! — тяжело отмолвила она. — Со стариками молодым трудно. Своя жисть... — не кончила. Варфоломей промолчал.

(Отпусти меня, мамо! Я был заботливым сыном тебе и отцу. Быть может, самым заботливым из сыновей. А сейчас — отпусти! Уже исполнились сроки. Ты знаешь сама! И птица вылетает из гнезда, когда у нее отрастают крылья, а я человек, мамо, и путь мой означен от юности моя! Нехорошо умедлить на пути предуказанном самим Господом!) — Ты, Олфоромей, печешься, како угодить Богови, это благая участь! Но подумай и о нас с отцом. Оба мы нынче в старости, в скудости и в болезнях!

Кого, кроме тебя, могу я просить? Сама бы... Без отца... прожила и за невестками! Голоса не возвышу уже и мира не нарушу в семье. А отец не может! Все блазнит ему господинство в доме... Не хочу, чтобы при гробе лет повздорил со своими детьми!

Молчит Варфоломей. (Мамо! Почто не Стефан и не Петр а я должен взвалить на плеча свои еще и сей крест и сию суетную ношу! Не уподоблюсь ли я жене нерадивой, умедлившей встретить жениха? Не сам ли Христос повелел бросить отца своего и мать свою и идти за ним? Думаешь ли ты обо мне, мамо? А ежели я не справлюсь с собою и, втайне, почну желать вашей кончины, твоей и отца, мамо? Того греха мне и Господь не простит!) — Ты не станешь ждать нашей смерти, Олфоромей! — возражает мать молчанию сына. — А жить нам осталось недолго. Дотерпи! Проводи нас с отцом до могилы! Опусть в домовину и погребь. Тогда и ступай, с Богом! А я и из могилы благословлю тебя на твоём пути! Припаду к стопам Господа нашего, да наградит тебя за терпение твое!

(Мамо! Тырываешь, мне сердце! Я должен уйти! Ты это знаешь сама.

Или я беспощаден к тебе? Или это юность моя так не может и не хочет больше ждать? Или я жесток пред тобою мать моя, рождающая и воспитавшая мя, и вскормившая млеко своим? Или я, как и прочие дети, будучи в неоплатном долгу у родителей своих, ленюсь и небрежу отплатить хотя малым чем долг свой при жизни родительской? Господи, подай мне знак, дай совет, как поступить в этот час!) — Я не понуждаю тебя, Олфоромеюшко. Токмо прошу! Не можешь — ступай с Богом. Простись токмо с отцом по-хорошему. Мы ить и одни проживем, с Господней помощью! Прости меня старую!

Она потупляется вновь, и Варфоломей видит, как вздрагивают худые материны плечи, как кривятся судорожно губы, сдерживая рыдание, как робкая слеза осеребляет ее ресницы...

(Ты не ведаешь, мамо, какой жертвы просишь у меня! Я уступаю тебе, но и сам боюсь за себя в этот миг. Выдержу ли без ропота этот последний искусу? Господи, владыка добра! Помоги мне днесь на путях моих!) — Хорошо, мамо. Я остаюсь, — говорит он.

Ему приходится поскорее поддержать мать, чтобы Мария не рухнула в ноги сыну своему.

Глава 15

Ближайшие два года не прошли совсем даром для Варфоломея. Отец был прикован к постели, братья и верно, как говорила мать, больше угождали женам своим, и на него пали те хозяйственные заботы, которые ранее исполняли Яков, Стефан, Даньша или сам боярин Кирилл. Ему пришлось-таки поездить и походить с обозами, неволею научиться торговать; много раз бывать в Переяславле, этой второй церковной столице московского княжества, где он даже завел знакомства в монастырских кругах; побывал он и в других, ближних и дальних городах — в Хотькове и Дмитрове, в Юрьеве-Польском и Суздале, спускался по Волге от Кснятина до Угличаполя. По крайней мере единожды довелось ему увидеть Москву, куда

Варфоломей попал в числе радонежан, вызванных на городовое дело. (Когда набирали народ, можно было и поспорить, — свободные вотчинники, в отличие от чернососных крестьян, не несли городского тягла, но Варфоломей не стал спорить. Ему самому было любопытно поглядеть стольный город своего княжества, а работы он не боялся никакой.) Москва, хотя и обстроенная Калитой и красиво расположенная на горе, над рекою, все же сильно уступала Ростову, Владимиру и даже Переяславлю.

Город, однако, был многолюден, а народ напорист и деловит: москвичи явно гордились своею столичностью. Варфоломей нашел время побывать в монастырях, Даниловом и Богоявления, обегал Кремник, благо они тут и работали, починяли приречную городьбу, и даже увидал мельком князя Семена, — молодого, невысокого ростом, с приятным лицом и умными живыми глазами.

Он шел в сопровождении каких-то бояр и свиты и слушал, кивая головой, то, что говорил ему забежавший сбоку, привзмахивая руками, седой боярин, сам же бегло окидывал взглядом строительство, и даже, остановясь невдалеке от Варфоломея, указал рукою одному из бояр на что-то вызвавшее его особое внимание. Передавали, что князь Семен только что воротился из Орды, где представлялся новому цесарю, Чанибеку.

Мелькнул и исчез пред ним кусочек той «верхней» жизни, со своими, неизмеримо важными, чем его собственные, трудами, успехами, бедами и скорбями. Важнейшими уже потому, что от них, от этих трудов княжеских, зависели жизни и судьбы тысяч и тысяч прочих людей — бояр, торговых гостей, ремесленников и крестьян. Что было бы сейчас со всеми ними, не прими Чанибек милостиво князя Семена? Верно, уже бы скакали гонцы по дорогам и в воздухе пахло войной!

Митрополита Феогноста, как ни хотелось ему, Варфоломей в этот наезд так и не видел. Баяли, что духовный владыка Руси все еще не воротился из Орды.

Пригородные московские монастыри, как и большие монастыри Переяславля — Горицкий и Никитский, вызывали в нем одно твердое убеждение: туда он не пойдет. Варфоломей даже затруднился бы сказать, почему именно. Верно, из-за той самой «столичности», которая тут упорно лезла в глаза: соперничества и местничества, тайной борьбы за звания и чины, страстей, связанных с близостью к престолу, которые он и не зная знал, — чуял кожей этот дух суетности, враждебный, по его мнению, всякому духовному труду.

Раз за разом ворочаясь из своих путей торговых, Варфоломей все больше убеждался в том, что его замысел: уйти в лес и основать свой собственный, скитский монастырь, есть единственно правильный и единственно достойный путь для того, кто хочет, не суетясь и не надмеваясь, посвятить себя единому Богу.

Между тем время шло. Кирилл все больше слабел и уже начал не шутя поговаривать о монастыре. Он бы, верно, и давно уже посхимился, да не желал оставлять Марию одну, а та тоже, давно подумывая о монастыре, не могла оставить одиноким своего беспомощного супруга. Им обоим не хватало какого-то толчка, быть может, внешней беды, дабы решиться покинуть мир.

У Кати с Петром появился ребенок, девочка, а вскоре обе невестки опять понесли, почти одновременно.

Варфоломей, который нынче нечасто встречался с Ньюшей, не сразу почуял приближение беды. Ньюша была уже на сносях, когда Варфоломей, встретив ее случайно у младшего брата (она пришла к Кате за какою-то хозяйственной надобностью), вдруг, неведь с чего, испугался до смертного ужаса. Да, лицо у Ньюши было слегка нездоровым, подпухло, под глазами появились отечные мешки, но не это перепугало Варфоломея. Она болтала, даже смеялась, пробовала подшучивать над ним, а глаза у нее в это время отсутствовали. В них, в самой-самой глубине зрачков, была пустота. Он решил, что это наваждение, пробовал стряхнуть с себя глупый страх и не мог. Что-то должно было произойти, возможно, то, чего он ждал тогда, два года тому назад, и просто ошибся во времени? Вечером этого дня он долго и горячо молился о здравии рабы Божьей Анны, но и молитва как-то не доходила до сердца на этот раз, не могла перебить тревожного ожидания беды.

Много лет спустя Варфоломей, к тому времени старец Сергей, так развил в себе эту способность угадывать грядущую человеческую судьбу, что уже ни разу не обманывался в

предчувствиях своих. Близкая смерть или тяжкое несчастье, увечье ли, плен, болезнь виделись ему заранее, как бы написанными на челе человека, и даже сроки несчастий он мог предугадать и называл довольно точно. (Свойство нередкое у людей тонкой духовной организации, хоть и не объясненное до сих пор наукой.) О своих предчувствиях Варфоломей не говорил никому. Только внутри себя во все эти последние месяцы как бы сжимался весь, собирался в комок, словно ожидая удара.

Сама Ньюша ничего такого не подозревала: была весела, ровна, хлопотливо готовила свивальники и сорочки будущему младенцу. Она уже и ходила тяжело, переваливаясь, точно утка.

Осенние ветры сушили и вымораживали землю. Сухой серый ольховый лист на утренниках хрустел под ногой.

Роды прошли благополучно, — так повестила ему Никодимиха (Варфоломей как раз возвращался из лесу). Безумная надежда на то, что он и ныне сумел ошибиться, билась в нем, когда он взбегал по ступеням Стефанова терема. Но с первого же взгляда на брата, на его потерянное, смятое лицо, на хмурую Катерину, что сидела ссутулясь у постели роженицы, Варфоломей понял, что дело плохо. Ньюша лежала вся в жару, румяная, почти красивая, и не узнавала никого. У нее тотчас после разрешения от бремени началась родильная горячка.

Прибежала мать, вызывали ворожею и Секлетею, знахарку. Больную обмывали, поили травами, заговаривали — не помогало ничего.

Гадали, что делать с младенцем (Ньюша опять принесла мальчика). То ли искать кормилицу, то ли выпаивать ребенка козьим молоком из коровьей титьки? Спор разрешила Катерина, сама недавно родившая, которая решительно унесла ребенка к себе:

— Выдумают, тоже, кормилицу! Кака еще и придет, поди их разбери! сердито проговорила она, — у меня самой молока хоть залейся! Надо — и троих выкормлю!

Потянулись томительные часы, дни, когда Ньюша была между жизнью и смертью. Жар наконец спал, и она пришла в сознание, но таяла, как свеча.

Женщины, сменяясь, не отходили от больной. Варфоломей, забросив все дела, тоже сидел у Ньюшиной постели в очередь с братом. Ему было тяжелее, чем Стефану. Он знал, что это конец.

Ньюша то плакала, то жаловалась, просила помочь, капризила, словно малое дитя. Несколько раз просила принести ребенка, даже брала на руки.

Слабым голосом прошала у Стефана:

— Как назовем?

Посчитав сроки, Стефан назвал несколько святых. Остановились на Иоанне.

— Ванятка! — тоненьким детским голоском прошептала Ньюша и попробовала улыбнуться.

Варфоломея она, когда он приходил, брала за руку и подолгу не отпускала, не позволяла отходить. А когда он сменялся, упрекала шепотом:

— Покидаешь, да?

— Стефан придет! — отвечал Варфоломей.

— Степан... — Ньюша прикрывала глаза.

День ото дня ей становилось все хуже. Похоже было, что и крестить ребенка придется уже без матери...

Варфоломей пытался всячески разговорить, успокоить Ньюшу, обещал скорое выздоровление. Она слушала, и непонятно было — верит или нет?

Верно, ей очень хотелось верить, что так и будет.

...В этот день Варфоломей припозднился с делами и, когда подходил к Стефанову дому, невольно ускорил шаги. Стефан стоял на крыльце и ждал брата.

— Тебя зовет! — выговорил он хмуро.

— Очень плохо? — спросил Варфоломей. Стефан, не отвечая, махнул рукою и пошел как-то вкось, деревянно шагая, в глубь сеней.

Ньюша лежала тихая-тихая, почти не дыша. Ему показалось даже, что она спит. Но Ньюша, заслышав шаги, тотчас открыла глаза.

— Ты один? — Варфоломей кивнул и уселся на скамеечку, рядом с постелью, на шаривая

исхудалые Ньюшины пальцы.

— Сейчас Катя придет, — сказала Ньюша без всякого выражения и замолчала. Пальцы ее были холодны и даже не ответили на его пожатие. Он вздумал было вновь утешать ее, но Ньюша слабо, как отгоняя муху, отмахнула головой и спросила, глядя мимо него, в пустоту:

— Скажи... Не обманывай только! Я умру?

Варфоломей склонился к постели, беззвучно зарыдав. Когда-то он так же точно не мог соврать умирающей маленькой девочке. Но сейчас ему было тяжелее во сто крат.

— Да, — прошептал он. Ньюша с трудом подняла руку и огладила его разметавшиеся кудри.

— Не плачь! — сказала она. — Мы встретимся с тобою там, да?

— Да! — захлебываясь слезами, не подымая лица, отмолвил он.

— Я была такая глупая! — задумчиво протянула она, — глу-у-упая, глупая! Больше такая не буду... Помнишь, ты мне сказывал про Марию Египетскую? Мне надо было вместе с тобою уйти в монастырь! Ну, не вместе, а где-нибудь рядом... И приходиться к тебе на исповедь каждый год. Нет, каждый месяц! Или лучше по воскресным дням... Ой! Кто там? — испуганно выкрикнула она, уставясь в темный угол.

— Никого нет! — отмолвил Варфоломей, невольно поглядев туда же.

Ньюша говорила все торопливее и торопливей и уже явно начинала заговариваться. Темно-блестящий взгляд ее сделался недвижен, а рука заметно теплела. У нее подымался жар...

Как давно это было уже! И словно все повторяется вновь: Стефан, испуганный, стоит за дверями, а она — девочка Ньюша — умирает у него на руках...

Хлопнула дверь. Катя от порога спросила:

— Жива?

— Жива еще! — помедлив, ответил Варфоломей и прошептал тихо, самому себе:

— Еще жива...

В комнату постепенно собирались женщины. Вошла мать. Потом попадья.

Ньюша бредила, взгляд ее сделался мутным, она уже вряд ли узнавала кого. Варфоломей встал и вышел на улицу. Стефан стоял в сенях и плакал, зарывшись лицом в Ньюшин тулуп.

Ньюшу обряжали вечером. Обмыли, переодели, положив на три дня в открытую домовину. Много суетились, много плакали. Приходил, ведомый под руки, отец. Мелко покачивая головою, говорил с покойницей как с живой, в чем-то упрекал, за что-то хвалил ее. Приходили Ньюшины подружки, родственницы и матери подружек. Дьячок из церкви читал над Ньюшей часы.

Дома варили кутью, готовили поминальную трапезу. Катя сердито раскачивала колыбель с маленьким Ванюшей, приговаривала ворчливо:

— Етот-то будет жить! Ишь, голосина какой! Беда, матки нету на тебя, пороть-то тебя будет некому!

Варфоломей наклонился над колыбелью (младенец тотчас затих и зачмокал ртом) и осторожно поцеловал крохотный лобик. В этом ребенке теперь осталась ее душа...

Когда колоду с телом уже опустили в могилу, засыпали землею и, утвердив крест и разделив кутью, разошлись, Варфоломей задержался на погосте. Отойдя в сторону, он поглядел на небо. Холодное, оно еще хранило отблеск угасшего солнца, и легкие, лилово-розовые облачка, просвеченные вечерними лучами, прощально сияли над землей, прежде чем потускнеть и раствориться в сумерках ночи.

«Я была такая глупая, больше не буду!» — донесся до него тихий голосок. Оттуда? С высот горних? Или с погоста?

Оглянувшись, он заметил вдалеке высокую фигуру Стефана, что брел, шатаясь, в сторону леса. Варфоломей догнал брата, тронул за рукав. Стефан оглянулся, глаза его почти безумно сверкнули.

— А-а, это ты!

— Идем домой. Ждут, — выговорил Варфоломей. Стефан поглядел слепо, двигая кадыком, силясь что-то сказать. Наконец разлепил тонкие губы:

— Перст Господень! Судьба... Должен был сразу... Разом... Все оставить... Оставить

мир... Должен был уйти в монастырь... Да! Да! За дело! Поделом мне! Поделом! Поделом! Боже! — выкрикнул он, давясь в диком смехе и рыданиях, — почему ее, а не меня?!

Варфоломей силой увел его с погоста.

Глава 16

Стефан ушел в монастырь сразу же, как отвели сороковины по Ньюше. Дом и добро передал Петру, ему же с Катей вручил на руки обоих младенцев. Смерть Ньюши и уход Стефана осиротили семью. Отец сразу сник, начал забываться, почасту сидел, уставя глаза в пустоту, и что-то шептал про себя. Мать перебирала какие-то тряпки, доставала старинные выходные порты из сундуков, молча прикидывала, думая свою, тайную думу. Единожды сказала, без выражения, как о решенном:

— Мы с отцом уходим в монастырь. К Стефану, в Хотьково. Там и женская обитель недалеко.

Варфоломей этого ждал и потому только молча склонил голову.

— Вот, сын! — прибавила Мария, усаживаясь на край сундука и бессильно роняя руки на колени, — вот, сын... Живешь, живешь, собираешь, копишь, а для чего оно? Все истлело, изветшало, исшало, как и мы с родителем твоим!

Чаю, недолго уже и проживет старый... Да и мне без него незачем больше жить. Скоро освободим тебя, Олфоромеюшко! Ты уж потерпи...

Варфоломей сделал безотчетно самое верное: подошел к матери и молча приник к ее плечу. Больше они об этом не говорили.

Вскоре в доме началась деловитая суeta прощаний, сборов, вручения вольных грамот последним оставшимся холопам. Уходя в монастырь, Кирилл отпускал на волю всех.

Отбирали что поценнее на продажу, на вклады в монастыри — последнее серебро, рухлядь, иконы и книги. Как мало оставалось от прежних ростовских богатств боярина Кирилла! Насколько богаче были они в своем старому дому, уже разоренные, уже приуготовившиеся к переезду в Радонеж! И какою ненужною суетою выглядели все эти скудные осенние сокровища боярской семьи! Жизнь кончается, и кончается все. Ничего не унесешь с собою. Ничего или почти ничего не оставишь от себя на земле! Все почнет рассыпаться прахом, стареть и ветшать прямо на глазах. И лучше, много лучше поступить по обычаю, раздав одежды нищим, а драгую утварь — церкви, на помин души.

То, что надобно человеку, он всегда создает сам. Не потому ли и Христос заповедал не скапливать богатств тленных, кои червь точит и тать крадет?

Варфоломея мать благословила семейною иконою Богоматери. Отец вручил ему образ Николая Мирликийского. Несколько служебных книг, труды Василия Великого — вот все, что оставалось ему и с чем он вскоре уйдет в монастырь.

Варфоломей сам отвозил родителей в Хотьково. Сам передавал вклады и договаривался с игуменом.

Отец, принявши постриг, вскоре слег и уже не вставал. Брат, с которым он поместился вместе в келье, ухаживал за Кириллом Господа ради, отказавшись от предложенной Варфоломеем платы.

Стефан также почасту сидел у отца. Два монаха, отец и сын, они почти не разговаривали друг с другом, разве Кирилл просил подать воды или помочь поправить взголовье. Оба молчали, каждый о своем. Так же молча Стефан вставал по звуку монастырского била, когда начиналась служба, и Кирилл молча кивал ему, разрешая уйти. Только раз как-то и спросил Стефан, с отдышкою, глядя в потолок:

— Тута останесси? Али куда на Москву, может? — и в голосе просквозила робкая надежда на то, что сын, в коего Кирилл вложил некогда все силы своей души, все-таки не посрамит чести семьи, достигнет, достигнет, хотя бы и на духовном поприще, достойных их прежнему боярскому званию высот.

Стефан понял невысказанную мысль отцову, кивнул, отмолвил кратко:

— Может быть. Подумаю, отец. — Не хотелось огорчать старика, хотя сейчас, после смерти Ньюши, всякие мысли о суетном преуспении покинули голову Стефана, и хотел он —

так, по крайней мере казалось ему самому только одного: уединения.

Варфоломей навещал родителей изредка. Надо было опять пахать, снова сеять, вести ненужное ему хозяйство, хотя бы ради того, чтобы отец с матерью могли умереть в покое, не заботясь тем и не гадая о домашних делах, и чтобы после всего передать дом и землю Петру непоругенными.

Осенью он отвез в монастырь два воза с обилием: хлебом, мясом, рыбой и разнообразною овощью. Отец был уже очень плох, и смерти его сождали со дня на день. Варфоломей рассудил, довершив домашние дела, воротиться в монастырь и пожить тут, послушествуя, до кончины родительской.

Земля уже подмерзла. Конь весело бежал по отвердевшей дороге, и первые белые снежинки, нерешительно порхая над землею, садились ему на ресницы и щеки, тут же истаивая и превращаясь в крохотные капельки воды, когда Варфоломей возвращался в монастырь. Всю дорогу он волновался: застанет ли отца в живых? И только ступив на монастырский двор, увидел, что не опоздал. Отлегло от сердца.

Из кельи отца как раз выходила худошавая высокая монахиня — сиделка.

Вглядевшись, он узнал мать. Поклонился ей в ноги (чуть было не бросился на шею). Мария всхлипнула; крестя сына, выговорила:

— Иди скорей, отходит! Вчера соборовался уже.

Кирилл с трудом признал Варфоломея. Взгляд его становился мутен, руки, беспокойно перебиравшие одеяло, уже плохо слушались старика.

Прошептал:

— Петюня где?

— Послезавтра приедет, — коротко отмолвил Варфоломей, тотчас понявши про себя, что младший брат уже не застанет отца в живых.

Кирилл начал отходить к полуночи. Умирал тихо, только два-три раза и вскинулся, всхлипнул беспокойно. Дыхание все слабело и слабело и наконец остановилось совсем. Варфоломей закрыл глаза отцу. Скрипнула, отворяясь, дверь кельи.

— Уже? — спросил Стефан.

— Уже, — помедлив, отозвался Варфоломей.

Стефан стал рядом, и оба начали читать заупокойный тропарь:

«Со духи праведных скончавшихся душу раба твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбец!

В покоищи твоем, Господи, идете вси святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба твоего, яко един еси Человеколюбец!

Ты еси Бог, сошедший во ад, и узы окованных разрешивый, сам и душу раба Твоего упокой!

Едина чистая и непорочная Дево, Бога без Семене рождающая, моли спастись души его!

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков...»

Отца хоронили истово, соблюдая весь сложный чин монашеского погребения. Отпевал родителя сам игумен. Сколько здесь было неложного уважения к покойному, сколько благодарности за нескудный вклад в монастырь, Варфоломей не стал гадать.

Мать слегла тотчас после погребения отца. У нее ничего не болело, но она почти перестала принимать пищу и тихо угасла, недотянув двух дней до Рождества. Похоронили ее на монастырском кладбище, рядом с отцом. Упокой, Господи, в высях горних души усопших рабов Твоих, Кирилла и Марии, и дай им вкусить за все их труды земные, вечный покой!

Варфоломей оставался в монастыре до сорокового дня. «Закрыв глаза родителям и покрыл их землею, со слезами» — как и обещал матери. Справил все полагающиеся службы и требы, устроил вечное поминовение: «Украсил память их панихидами и литургиями, и милостынями ко убогим и нищим» сказано в Епифаньевском житии.

Когда он уезжал из Хотькова, стоял один из тех теплых дней позднего февраля, в которые кажется, что уже наступила весна: подтаивает снег, обтекают и звонко ломаются сосульки на южных свесах крыш, и в воздухе веет тонким обманным ароматом прозябания.

На душе была светлая радость. Не потому только, и даже вовсе не потому, что радость пристойно испытывать христианину, проводив любимых своих в жизнь вечную из этой,

временной, полной страстей и печали земной жизни. И не потому, что ему было только лишь двадцать два года и в воздухе обманно пахло весной. Нет! Он вспоминал сейчас мать такую, какую она была в его раннем детстве, и отца иного, высокого и еще полного сил, — словно бы сейчас, сбросив с себя изветшавшую плоть, они становились вновь, и уже навечно, прекрасны и молоды. И похоронены они были пристойно, и оплаканы детьми, и отпеты, как надлежит христианам, и упокоены в гробах на кладбище, а не зарыты кое-как при дороге, как зарывают иного бедолагу, которого нужная смерть пристигнет в пути.

Пристойно, даже торжественно закончен круг жизни. И теперь только Превышний Творец станет ведать дальнейшую судьбу своих усопших рабов. Окончен круг жизни достойно прожитой, в постоянных, неусыпных трудах и постоянном преодолении несовершенств и немощей плоти. И от сознания того, что круг их земной юдоли наконец завершен, на душе и была светлая радость покоя. Светло смотрелись подтаявшие, притихшие леса, уходящие в вечерний сумрак, светло и ясно гляделось небо над примолкшей землей.

Настанет весна. Осядет снег. Братия заботливо поправит сырые холмики недавних захоронений. Посохнет, посереет земля. Затравенеют могилы.

Высокие былинки станет покачивать ветер, ведя свои, еле слышные, разговоры с травой...

Он поднял голову. На вечернем небосклоне выцветал гаснущий бледно-охристый свет, а сверху, на отемневшей синеве неба, зажглась одинокая звезда.

В этом мире у него теперь не осталось уже никого, кроме Господа.

— Виждь! И прими меня в волю свою! — прошептал Варфоломей, подымая чело, на которое неживою тенью упал вечерний гаснущий отблеск зари.

Дорога в монастырь, дорога, по которой он медлил пойти ради них, дорогих сердцу его существ, давно задуманная дорога, на коей его вновь обогнал Стефан, лежала наконец-то открытою перед ним.